МЕНДЕЛЬ

Борис Володин

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

- МЕНДЕЛЬ
  - Борис Володин
  - 1. ПАТЕР ШРАЙБЕР ПОПАДАЕТ В ИСТОРИЮ
  - II. МИРСКАЯ СЛАВА
  - ГРЕГОРА-ИОГАННА МЕНДЕЛЯ
  - Ill VOVEO ET PROMITTO
  - IV. СТО ФЛОРИНОВ ОТСТУПНОГО
  - V. РЕМЕСЛО СПАСЕНИЯ ДУШ
  - VI. КАК ПИШУТСЯ РЕКОМЕНДАЦИИ
  - VII. СВЯТОЙ АВГУСТИН И АВГУСТИНЦЫ
  - VIII. ПОРОХ ДЛЯ ФИНАЛЬНОГО ВЫСТРЕЛА
  - IX. ГЛОТНУВ ВЕНСКОГО ВОЗДУХА
  - БЕССМЕРТИЕ».
  - X. КТО ВЫ, ГРЕГОР МЕНДЕЛЬ?
  - XI. «БРЮНН, 8 ФЕВРАЛЯ». «БРЮНН, 8 МАРТА»
  - Заседание Ферейна естествоиспытателей.
  - Заседание Ферейна естествоиспытателей.
  - XII. ЗВЕЗДЫ СМОТРЯТ СВЕРХУ ВНИЗ
  - XIII. «ПОКА ДЫШУ…»
  - ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ГРЕГОРА ИОГАННА МЕНДЕЛЯ
  - БИБЛИОГРАФИЯ
  - 2, 1863. S. 99-321.
  - ИЗДАНИЯ ТРУДОВ МЕНДЕЛЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
  - ВАЖНЕЙШИЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
  - О МЕНДЕЛЕ И ЕГО НАСЛЕДИИ
  - ОТ АВТОРА
- notes
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

МЕНДЕЛЬ

Борис Володин

(Vita aeterna)

1. ПАТЕР ШРАЙБЕР ПОПАДАЕТ В ИСТОРИЮ

Сперва — начало.

Он родился в Силезии — там, где берет свое начало Одер (Одра).

Зеленые отроги Одерских гор и Моравских Бескид и долина меж ними, в которую Одер, сбежав с плато, поворачивает, чтобы течь на север, вбирая ручьи и речушки, — эта часть страны в ту пору называлась Кулендхен, по-немецки «Коровья земелька». Чехи — исконные здешние жители — называли и называют ее «Краваржско», что означает то же самое. Правда, один краевед писал, что название так переводить нельзя — оно, мол, происходит от княжившего здесь рода Краваров. Но другие не соглашались и говорили, что фамилия произошла от названья земли — ведь ее писали даже потом «фон Краварн» (то есть «из Краваржска»).

Не так уж велика эта земля: километров сорок с востока на запад да около тридцати с севера на юг, но чуть ли не вся европейская история прошла через нее.

К северу от Краваржска, у самой польской границы, — старинный город Опава, более трех веков называвшийся по-немецки Троппау. К западу от нее — Оломоуц, именовавшийся по-немецки Ольмюц. Эти города знамениты. У их стен происходили битвы. В них были резиденции — постоянные и временные — герцогов, королей, императоров и епископов. В них подписывались почетные дипломатические трактаты и позорные договоры. Потому-то они давно вошли в историю. Войдут они и в это повествование (правда, по другой причине).

А в западной части Краваржска — маленький город Одры. До немецкой колонизации он назывался Винанов, потом Одрау, по названью реки. Человек, которому посвящена книга, родился в часе ходьбы — меньше чем в старой миле [1] от Одры. Деревня Хинчицы, где он появился на свет, тогда, в 1822 году, тоже называлась на немецкий лад — Хейнцендорф. Под сенью австрийской «кайзерлихе унд кёниглихе» — «императорско-королевской» — короны все называлось на немецкий лад.

Соседнее с Хинчицами приходское село Дольне Вражны — в нем костел, где венчали, крестили и отпевали, — было тогда Гросс-Петерсдорфом.

Моравия и Силезия были «Statthalterei Mahren und Schlesien» — моравско-силезским штатгальтерством, наместничеством.

Столицу Моравии Брно — город, где прошла вся сознательная жизнь человека, о котором книга, — называли Брюнном,

Чешским королем вот уже три века непременно числился очередной австрийский император — так же, как российский числился царем «царства Польского» и князем «великого княжества Финляндского».

…Почти всю европейскую историю помнит маленькая земля Краваржска.

Через нее прошла на Оломоуц и дальше, к венгерской земле, страшная батыева рать, а позднее нуманы, и тысячи чехов и поляков были убиты или угнаны на невольничьи рынки. На пустовавшие земли, на пепелища сожженных деревень маркграфы переселяли колонистов-немцев, крестьян из своих западных ленов. Но земля Краваржска, видимо, долго оставалась по преимуществу чешской, и, когда по дорогам Моравии загрохотали кованые телеги таборитов, Одры сделался одним из опорных пунктов гуситского воинства. Это отсюда гуситы нападали на владения ольмюцкого епископа, отсиживавшегося в замке Шаумбург. Отсюда наносили удары по разноплеменным крестоносцам.

Здесь в шестнадцатом веке распространилось лютеранство, а потом свирепствовала чума, а спустя несколько десятилетий свирепствовали рейтары Фердинанда Габсбурга и польского короля Сигизмунда. Они пришли восстанавливать истинную католическую веру вместо истинной евангелической и гуситской. Восстанавливали жестоко, ибо речь шла о внушении убеждений. И восстановили.

И чтобы искоренить до конца всякую — и религиозную и народную — оппозицию, насадили иезуитские и капуцинские монастыри, пожгли чешские книги и протестантские библии, заменили все исконные названия на немецкие. Все подданные Священной Римской империи германской нации — так именовалось тогда австрийское государство — должны были подчиняться одному порядку, молиться по одному обряду, говорить на одном, на немецком языке.

Единый порядок насаждался твердой рукой. Привилегии, когда-то бывшие у крестьян-немцев, ликвидировали. Барщину драли со всех одинаково, не разбирая национальности, — до шести дней в неделю. Кроме барщины — оброк и налоги даже на могилы, на собак и на собранные в лесу грибы. Сверх налогов донимали рекрутчиной. А сверх всего в восемнадцатом веке сначала бродила по здешним местам вольная дружина Андреаса Шебесты, потом чума и трижды пруссаки — в силезскую, в Семилетнюю и в «картофельную» войну.

Крестьяне Кулендхен не раз бунтовали. Бунты подавлялись жестоко. Но императрице Марии-Терезии все же пришлось издавать патенты, по которым барщина не должна была быть более трех дней. И хоть она издавала эти патенты не раз, их снова пришлось трижды издавать ее сыну императору Иосифу II, дабы как-то сдержать крестьянские бунты и оберечь хозяйство страны от полного разорения.

Потом император Иосиф II крепостную зависимость отменил, и крестьяне стали лично свободны. Жениться могли по своему усмотрению. Могли уезжать в города и заниматься ремеслами. Все могли. У них только земли не было. Им ее не передавали. Они ее пахали. Они даже как-то продавали и покупали друг у друга наделы, но при этом по хитрому австрийскому земельному праву наделы оставались собственностью помещиков. А потому ив девятнадцатом веке крестьяне Кулендхен, все — и немцы, и чехи, и «бауэры», то есть сидевшие на закрепленном в вечную аренду наделе земли, и «хальббауэры», то есть испольщики, и «гертлеры», не имевшие поля владельцы лишь дома с садом и огородом, и безземельные «хойслеры», «домкаржи», у которых и домик-то был уже без сада, и, наконец, полная голь перекатная, бобыли-«хюттлеры», «хижинщики», если перевести дословно, то есть поденщики, батраки, которым давался за труд лишь хлеб да кров в принадлежащей помещику развалюхе, — все они в те годы, чем и как бы ни добывали они хлеб для себя, обязаны были отрабатывать для благоденствия графини Марии Трухзес-Цаль-Вальдбург, или же сиятельного графа Лихновского, или же на императорской инфантерии полковника графа Иозефа Коллоредо по полтора дня «FuBrobot» — пешей барщины, и по полтора дня «Robot mit dem Pferde» — барщины конной.

Досталось кулендцам-краваржцам и в девятнадцатом веке.

Три императора: два католика — французский злодей Бонапарт и свой, в отцы родные богом данный, христианнейший, обожаемый, Священной Римской империи монарх Франц и еще. один, увы, православный, не истинной христианской веры союзник отца родного, российский император Александр — избрали ближние поля под театр, на котором были разыграны знаменитейшие в истории действа, включая и аустерлицкую трагедию.

Для бауэров, гертлеров, хойслеров, хюттлеров, как для немцев, так и для чехов, эти спектакли равно обернулись рекрутчиной, реквизициями, постоями и, наконец, просто шествием разноплеменных мародеров, считая и родных австрийских. А напоследок, как водится, еще эпидемией сыпняка.

Русские, австрийские, французские, польские конные и пешие

полки проходили то на Запад, то на Восток, то снова на Запад, и так до 1815 года, пока не кончились наполеоновские войны.

Кроме того, то под Гогенлинденом, то под Ульмом и здесь вот, под боком, при Аустерлице, и во многих более мелких сражениях, и затем — спустя восемь лет, в 1813-м — под Лейпцигом, в расписанной историографами, художниками слова и кисти «Битве народов», иные из парней «Коровьей земельки» — как немцы, так и чехи, онемечившиеся и недоонемечившиеся, — исправно складывали свои головы за доброго государя Франца, так несправедливо разжалованного Бонапартом — навязавшегося еще после этого ему в зятья! — из императоров Священной Римской империи в императоры просто австрийские — подумать только!… Нет, парни из Одрау, из Гросс-Петерсдорфа и Хейнцендорфа просто-таки с рвением и радостью отдавали свои жизни и за попранную честь и за благоденствие обожаемого монарха, ко всему еще столь подло злодеем-родственничком лишенного сразу и Иллирии, и Галиции, и Северной Италии, и прирейнских областей. Из хинчицких жителей, например, остался ради этого под Лейпцигом Иозеф Швиртлих.

Но не всем же умирать, иные уцелели.

Уцелел Иозефов свояк Антон Мендель. И в той трехдневной лейпцигской бойне уцелел и в последующих сражениях тоже. И в 1817-м вернулся к родным пенатам.

Пенаты числились в волостном кадастре как «надел в 30 иохов [2] и крытый черепицею дом с садом под нумером 58».

Надел этот был для Хейнцендорфа не из маленьких, а из наибольших: в деревне числилось 72 дома и 102 семьи, и на них приходилось всего 665 иохов посредственной пашни и 155 иохов луга. Впрочем, размер в 30 иохов надел приобрел уже к концу 30-х годов после десятилетнего полновластного хозяйствования Антона.

Дом и надел, видимо, при несколько меньших размерах поля, были приобретены отцом Антона, Валентином Менделем. Судьба менделевского рода в прошлом была изменчивой, ибо, как свидетельствует один достоверный источник, она человеками играет.

Самый первый из известных в роде Менделей — Мартин Мендель жил в горной деревушке Весзидель (по-старочешски село называлось «Весь Сидельны», то есть «Стольное село»; видно, там когда-то давно была резиденция местного князя).

Мартин в весзидельских книгах был записан «гроссбауэром», «большим хозяином», зажиточным крестьянином. Но у потомков его хозяйство из рук поплыло. И вряд ли по нерадивости — шестидневная барщина, войны да эпидемии могли разорить при

любом трудолюбии и бережливости.

…Кстати, в церковных книгах фамилию Мартина менявшиеся в приходе пасторы (Мартин был лютеранином) писали каждый по-разному. Один писал «Менделе». Другой — «Мендтле». А при смерти написали «Мандула» — славянскую фамилию. Да в их деревне почти все жители были славяне — чехи и поляки.

Сын Мартина и женат был на чешке, на Катарине Ондре. Мартинова старшего внука звали Вацлав Мендель, а другого звали Ржига (то есть Грегор).

Вацлав-то и переселился в Хейнцендорф из Весзиделя — недальний это был переезд: за милю, если не меньше. Что его толкнуло на то — неизвестно. Известно лишь, что Вацлав Мендель числился уже просто бауэром, а наследники — старший сын и старший внук — и поля-то не имели. Они владели только лишь домиком и садом, отмеченными в кадастре несчастливым тринадцатым нумером. А среди младших в своем поколении детей и внуков Вацлава были даже и полные бобыли-хюттлеры, тот же Ржига Мендель.

Лишь правнук Валентин сумел выбиться: возвысился вновь до прадедова состояния, перебрался из старого дома с садом в новый уже и с садом и с наделом.

А при Антоне надел увеличился и перешел из аренды в полную собственность главы семьи, и Антон Мендель стал не просто бауэром, а бауэр-грундбезитцером, то есть землевладельцем.

Однако, несмотря на успешное восхождение по социальной хинчицкой лестнице, до самого 1848 года Мендели были обязаны отрабатывать летом полтора дня в неделю «пешую барщину» в господском саду и господских полях и полтора дня «барщину конную», а зимою валить деревья, очищать их и вывозить из леса, принадлежавшего императорской инфантерии полковнику графу Иозефу Коллоредо. — так же, как и все прочие.

Антону Менделю было двадцать восемь лет, когда он вернулся с солдатчины.

Он был мужик сильный и работящий.

И как все в их роду, он был хороший садовник, умевший искусно, будто ласкаючи, подрезать и прививать яблони. И пасечник он был еще.

И обладал к тому же серьезным характером: если что решал, то от своего не отступался. Папаша Валентин мог быть спокоен, что в руках первенца — Антон был старшим из сыновей — хозяйство не захиреет.

Все к тому и шло.

Добрым католикам господь бог повелел в свое время

жениться, чтобы добрые католики множились, аки песок морской. Правда, лютеране, кальвинисты, англиканцы, православные и мормоны считают, что бог предписал эту работу им, а иудеи и магометане — что им, а язычники — что им, и не один господь бог, а многие господа боги. Атеисты — неверующие, в свою очередь, говорят про Законы Природы.

Женился Антон Мендель через год по возвращении.

В деревне было всего семьдесят два дома, и в них всего сто две семьи, и все — одни Мендели, Блашке, Калихи, Кунчеры, Касперы, Фучики, Швиртлихи, Шиндлеры.

Все были напрочь привязаны к своим наделам, домикам с садом и без сада, опутаны податями, заботами, пешей и конной барщиной. Из деревни уходили только на ярмарку. И на войну. И в Мариацелль к Деве Непорочной на моление. И для тех, кто не ходил на войну и не ездил в Ольмюц или Брюнн на ярмарки, за границей волости мир кончался — в нем был еще только один очень дальний паломнический путь — за Дунай, в Альпы, до Мариацелль — миль восемьдесят [3] под молитвы по петляющим горным дорогам.

Словом, обычно мир кончался в Одрау. И даже женихов и невест на стороне не искали. Из Клейн-Петерсдорфа, что за оврагом, и то брали редко. Женились на своих: Блашке — на Калиховых, Кунчеры — на Касперовых, Мендели — на Блашковых да на Швиртлиховых. И в итоге все поперемешались: за века получилось, что вся деревня друг другу родня — без разбору у кого в роду чехи, у кого одни немцы. Насчет «расовой чистоты», как при потомках, никто тогда не заикался.

И женился Антон Мендель, конечно же, на свояченице. На Розине Швиртлих, на сестре Иозефа, сложившего голову под Лейпцигом.

Пока они с Иозефом воевали, меньшего Антонова брата женили на Юдите Швиртлих — вот они с однополчанином и стали свояками.

Юдита была старше мужа на двенадцать лет. И даже старше Антона на девять. Антонов брат, наверное, рад был бы жениться на Розине — на младшей. Но «гертлер»-садовладелец Мартин Швиртлих младшую дочь прежде старшей по обычаю не мог отдать.

И по обычаю и по здравому смыслу это следовало: куда потом денешь перестарку? И конечно, за старшей дочкой, которая засиживалась в девках, приданого было побольше.

Наконец, брату, как младшему, надо было идти в зятья — в женин дом. Наследником менделевского надела по закону мог быть только Антон как старший. Так что если за Антона отдать

Розину, а за младшего Юдиту, то обе четы будут обеспечены. Дай бог только Антону благополучно довоевать во славу христианнейшего, истинно католического и столь несправедливо обиженного императора Франца.

Судьба второй четы была предрешена в деталях заранее, и свадьбу можно было играть тотчас по возвращении Антона с войны, но Мартин Швиртлих, видимо, попытался кое-что из приданого попридержать — вот год и прошел в торгах. Имущественно-династические проблемы селяне деревни Хинчицы, что в Силезии, решали столь же тщательно и неуступчиво и со столь же дальними расчетами, как и европейские царствующие фамилии. Но расчеты и торги кончились. Антону Менделю досталась младшая из дочерей Мартина Швиртлиха — Розина, девица миловидная, приветливая, добрая, трудолюбивая, рачительная и крайне набожная. И во исполнение уже упомянутого божьего наказа у Антона и Розины Мендель пошли дети.

Первую дочь бог прибрал.

В 1820 году у них родилась вторая дочь, и она осталась жить.

Третью дочь снова бог прибрал.

А в магдалинин день 1822 года родился сын.

И, получив установленное обычаем вознаграждение, которое в тех местах в ту пору приносили чаще не в кошельках, а в мешках да в корзинах, патер Гросс-Петерсдорфского прихода Иоганн Шрайбер накинул белую с золотыми крестами епитрахиль и окрестил новорожденного самым, пожалуй, распространенным в мире именем, которое на многих языках звучит лишь с небольшой разницей: «Иоанн», «Иоганн», «Ян», «Иван», «Джон», «Жан», «Ханс», «Хуан», «Жоан», «Джованни». (Тождественность, как ни звучит имя в каждом случае, видна каждому.)

Патер Шрайбер наверняка сказал при этом, что выбор имени сделан удачно. Ведь то было имя многих святых и королей, и даже римских пап, которых полагалось почитать всячески. То было, наконец, имя и самого патера — скромного приходского священника Шрайбера из Гросс-Петерсдорфа, а разве не приятно, когда новоиспеченный малыш, которого ты держишь в руках, становится еще одним твоим тезкой — так сказать, твоего полку прибывает.

Как не быть такому разговору! Как миновать эту тему за стаканчиком — другим — третьим доброго шнапса и кружкой — другой — третьей пива во здравие законнорожденного новорожденного и благоденствие его родителей!…

Страница из церковной книги, на которой рукою патера Иоганна Шрайбера были записаны по соответствующей форме

новорожденные младенцы, коих он крестил от мая по ноябрь 1822 года, хранит на себе приметы той приятной беседы за стаканчиками и кружками.

Всего на этой странице семь записей — в том году в Гросс-Петерсдорфском приходе рождалось по одному новому католику в месяц. Из тех семи крещенных Шрайбером младенцев двое были незаконнорожденными: в графе «Отец» у них ничего не написано. Характерно, что записи о крещении незаконнорожденных, сделанные патером Иоганном, отличаются от прочих четкостью линий: они выведены спокойною и твердою рукой. Но зато как гуляло его перо, как прыгали буквы, когда Шрайбер записывал крещение законнорожденных!… Своему тезке Менделю он даже записал не тем числом день рождения.

Крестнику впоследствии не раз пришлось объяснять, что он появился на свет в магдалинин день, то есть 22 июля, а не двумя днями раньше, как записал, возвратись после того, что у добрых людей сопутствует крестинам, патер Шрайбер.

Если бы патер Шрайбер знал, что из-за такой оплошности он войдет в Историю! Если бы он знал, что он так войдет в нее!…

Конечно, было бы просто великолепно, если бы все люди знали, что именно войдет в Историю из их слов и поступков! Они бы в соответствующих случаях были поосмотрительнее.

Патер Шрайбер сначала (и правильно!) записал бы дату рождения Менделя и только после этого отправился бы его крестины праздновать.

Алоис Штурм, муж старшей сестры Менделя, был бы, наверное, куда добрее и щедрее к зятю своему.

И ольмюцкие бюргеры не захлопывали бы двери перед носом бедного студиозуса, знай они, кто напрашивается к ним в домашние учителя.

Господин директор Флориан Шиндлер, быть может, поспособствовал тому, чтобы временно исполнявший обязанности учителя в его училище каноник Мендель получил бы вознаграждение за свою работу без специальных хлопот.

Профессор Венского университета г-н Рудольф Кнер был бы, быть может, снисходительнее к молодому монаху из Моравии, явившемуся сдавать экзамен на право учительствования. (Неведомо, правда, была ли бы эта снисходительность благом?…)

Знаменитый мюнхенский ботаник Нэгели тогда, быть может, совсем по-другому постарался оценить содержание трудов и писем, которые посылал ему господин Мендель, член Брюннского ферейна естествоиспытателей.

Может быть, и сам великий Чарлз Дарвин заинтересовался бы ссылкой на статью неизвестного ему г-на Менделя, которая была

на читанной им странице некоей специальной книги. А достать саму статью труда ему не составило бы!…

А уж советник-то штатгальтера господин гофрат Климещ, конечно, не стал бы в некоторой запальчивости шептать прелату Менделю, что его уберут, коли его высокопреподобие не станет сговорчивей!

И аббат Ансельм Рамбоусек, наверное, не стал бы зарабатывать геростратовой славы приказанием сжечь личный архив своего бывшего друга и своего предшественника по аббатскому посту патера Грегора Менделя, а если бы и сжег кое-что, то держал бы при этом язык за зубами.

И тогда биографы и биологи смогли бы без хлопот выяснить многие неведомые нам ныне детали и жизненного пути и той замечательной работы Грегора-Иоганна Менделя, которая положила начало науке, называющейся теперь «генетика».

…Впрочем, практика человеческая свидетельствует и о том, что когда некоторые люди заведомо адресуют истории свои слова и поступки, эти слова и поступки в ряде случаев тоже оказываются не самыми удачными. Вот ходит рядом Коленкур и черкает в книжечку. Или вышколенный адъютант подхватывает из-под рук лист с наложенной резолюцией и покрывает написанное лаком, чтоб чернила никогда не выцвели. А потомки читают коленкуровы мемуары и «собственной Его Императорского Величества рукой на подлинном» начертанное и смеются, сукины дети!

Ах. если бы знать, как попадать в Историю только в красивом виде!

II. МИРСКАЯ СЛАВА

Теперь — конец.

Шестьдесят два года спустя он был знаменит.

Перед смертью о его здоровье справлялись разные люди.

Конечно, члены капитула монастыря святого Томаша и послушники, монастырский садовник пьяница Мареш и само его преосвященство епископ моравский Франц Бауэр.

Спрашивали и шушукались прихожанки старобрюннского собора Вознесения Девы Марии и бедняки со всего города — вернее, те из них, что были постоянными просителями благотворительных обществ.

Узнавали члены правления ипотечного ландесбанка, а также книготорговцы, снабжавшие его литературой, и еще господа аптекари, медики и профессора городских гимназий, институтов и училищ, те, что были членами здешних ферейнов любителей науки.

Осведомлялись, наконец, чиновники самой канцелярии самого моравского штатгальтера, которая помещалась в здании, некогда принадлежавшем монастырю святого Томаша. И даже чиновники императорско-королевского министерства культов и просвещения, если кто-то из брюннских чинов являлся в Вене в министерство, между прочими вопросами роняли:

— Ну, как там этот ваш аббат Мендель? Еще жив?… Для чиновников министерства культов и чиновников моравского штатгальтерства, а также для епископа Франца Бауэра и даже для членов монастырского капитула шестидесятидвухлетний больной аббат был кладезем разного рода неудобств.

Все они были людьми благовоспитанными, а многие были и по-настоящему религиозными, и просто добрыми, и сострадательными. Однако смерти настоятеля монастыря святого Томаша ждали как облегчения.

А он никогда не думал, что его смерти будут так ждать… Сему предшествовала почти десятилетняя история, нашедшая себе отражение и в официальных печатных органах австро-венгерской монархии и в обширной казенной переписке.

Началась она весной 1874 года, когда немецкая либеральная партия провела через рейхсрат закон о так называемом Религиозном фонде:

«§ 1. С целью покрытия потребностей католического культа, а в особенности для урегулирования нормальных доходов Службы

Спасения душ, владельцы церковных бенефиций и постоянные духовные общины обязаны производить определенные взносы в Религиозный фонд.

§ 2. В качестве меры для определения взноса в Религиозный фонд принимается определенная с учетом платежного эквивалента стоимость бенефиция или имущества общины, со включением в оное всего находящегося в собственности монастырей, но за вычетом ценностей, содержащихся в библиотеках, а также научных и художественных коллекций».

Франц-Иосиф утвердил этот закон и приказал опубликовать его в «Имперском бюллетене распоряжений и узаконений». После этого закон вошел в силу в соответствии с конституцией Австро-Венгерского государства, которое — не лишено любопытства — не имело официального названия.

При утверждении конституции 1867 года название в тексте, как это ни странно, было опущено, и процарствовавший уже 19 лет Франц-Иосиф превратился в императора Австрии, которая не числилась в законе империей, и в короля Венгрии. И рейхсрат тоже стал рейхсратом — имперским советом — неизвестно какой империи. Но это к слову [4].

Когда закон о Религиозном фонде вступил в силу, австрийская католическая церковь встала на дыбы, ибо ее права в очередной раз были ущемлены самым чувствительным образом. Закон этот был не первым в серии законов, ограничивавших в Австрии ее власть и доходы. Да и эта серия законов была не первой — в XVIII веке австрийским патерам приходилось еще туже: правительство закрывало монастыри, вмешивалось в назначения на церковные должности и ограничивало общение епископов и прелатов с Ватиканом. Оно, конечно, никогда не мыслило упразднить католицизм как таковой. Оно просто предпочитало иметь в лице церкви не автономное церковное государство в своем светском государстве, а послушный правительству аппарат Службы Спасения душ, по-чиновничьи исполнявший то, что от него требуют светские власти.

Однако революция 1848 года подтолкнула правительство отказаться от «иозефинизма» — упомянутая политика была провозглашена императором Иосифом II и называлась по его имени.

Франц-Иосиф вернул церкви ее старинное могущество. По конкордату, заключенному с Ватиканом в 1855 году, католицизм был объявлен государственной религией, церковь безраздельно ведала всем просвещением и была, например, единственным

судьей в вопросах брака для католиков-австрийцев.

Но на ватиканском престоле в это время сидел папа Пий IX. Никто прежде не сидел на папском престоле столько, как Пий, — 32 года! И ни один из римских первосвященников двух последних столетий не пытался вернуть католицизму позиции, которые церковь занимала в Европе до XV века, — не пытался столь рьяно, столь упорно, а главное — столь агрессивно и безоглядно.

Его энциклика «Quanta cura» и приложение к ней «Sillabus» — «Перечень главнейших заблуждений нашего времени» — произвели впечатление взрыва. Папа объявлял в них борьбу социализму и веротерпимости, гражданскому браку и светскому образованию, пантеизму, натурализму и абсолютному рационализму — нет возможности пересказывать все восемьдесят положений перечня.

Когда разразился скандал вокруг «Силлабуса» — этот перечень неведомо каким путем достался газетчикам, хотя и был документом, «не подлежащим оглашению», — то Ватикан стал твердить, что в «Перечне» и в энциклике «Quanta cura» идет речь о догматической (то есть «теоретической») нетерпимости к указанным заблуждениям и никакой практической нетерпимостью (то есть кострами для инакомыслящих) пока не пахнет. Но все это уже не изменило хода событий.

Один из видных мыслителей того времени, физиолог Поль Бэр, сказал, что папа Пий IX сыграл помимо своей воли вполне прогрессивную роль, ибо он наиболее наглядным образом доказал абсолютную невозможность для сколько-нибудь разумного существа пребывать в лоне католической церкви в качестве верующего ее сочлена и столь же полную непримиримость самой идеи человеческого прогресса с существованием римского папства.

Ответом на взрыв антикатолического движения, охватившего разные слои тогдашнего европейского общества, был созванный Пием IX Вселенский собор в Риме. 16 июля 1870 года собор утвердил «Схему Христовой церкви» («Shema di Ecclesia Christi»), где сызнова была провозглашена абсолютная верховная власть папы и еще догмат его непогрешимости:

«Когда он (папа) говорит ex cathedra, то пользуется той самой непогрешимостью, которую Божественный Искупитель даровал своей церкви при определении доктрин, касающихся веры и нравственности».

Но все эти безудержные попытки Пия IX закрутить до отказа гайки привели, как всегда, к обратному результату — к катастрофической утрате позиций, к утрате даже прежних верных союзников. И в католической Австро-Венгрии христианнейший

Франц-Иосиф был принужден утвердить серию законов, разрешавших гражданский брак, лишивших церковь монополии в просвещении, и, наконец, уже упомянутый закон о Религиозном фонде.

Смысл последнего был прост: австрийская католическая церковь лишалась значительной части дотаций. Нуждавшиеся в них церковные учреждения должны были получать дотации из фонда в основном за счет, взносов других, богатых — за счет доходов монастырей. До того Религиозный фонд пополнялся за счет «добровольных» сборов не только с церковных учреждений, но и со светских обществ. Австрийская буржуазия решила приберечь деньги для собственных дел.

Управление фондом и взыскания в него были возложены на светские власти, и в марте 1875 года настоятель августинского монастыря святого Томаша в Брюнне прелат Грегор Мендель получил из канцелярии штатгальтера Моравии и Силезии предписание прислать декларацию о монастырском имуществе, подлежащем обложению налогом в Религиозный фонд.

Вот так и началась та история, принесшая аббату широкую мирскую славу.

Прелат Мендель — мы присутствовали при его крещении в Иоганны, в монашестве же он принял имя Грегор — был лицом, в городе хорошо известным. В чиновных кругах его считали «дисциплинированным подданным». В числе других сановников провинции аббат святого Томаша принимал участие в деятельности многих комитетов и комиссий ландтага, в правлениях земельного банка, научных и филантропических обществ.

Сам граф Тун, очередной наместник и будущий премьер-министр, представляя прелата к награждению орденом Франца-Иосифа, писал о нем в реляции:

«…призванный к выполнению избирательного права в Моравский ландтаг в составе избирателей от курии крупных помещиков [прелат Мендель был] единственным, кто всегда отдавал свой голос избирателя только кандидатам Конституционной партии…

Эта последовательная позиция свидетельствовала о чрезвычайно редкой степени мужества и твердости характера, тем в большей степени заслуживающей похвалы [что прелат Мендель] открыто противостоял всем остальным здешним сановникам своего сословия и вынужден был иметь дело с некоторыми неприятными последствиями, которые тяжко сказывались на исправлении им своей должности…

В интересах правительства, чтобы эти выдающиеся заслуги

прелата Мендла [5] в деле защиты конституции в Моравии были отмечены во всеуслышание знаком Высочайшей Милости…

Обращая внимание Его Величества на этого верного Высочайшему Императорскому Двору и пользующегося глубоким уважением всей Конституционной партии [подданного], а также учитывая его плодотворную деятельность в прошлом на протяжении многих лет в качестве супплента и весьма заслуженного человека в Брюннской высшей реальной школе…

ходатайствую нижайше о Высочайшем Пожаловании рыцарским крестом ордена Франца-Иосифа» [6].

Ну что ж, судя по реляции и другим свидетельствам, прелат Мендель последовательно поддерживал Немецкую либеральную партию (именно она называлась еще «Конституционной»). А ведь это церковь вознесла его на высокий аббатский пост, вручила бразды и ключи от имений стоимостью в сотни тысяч флоринов и тем самым автоматически сделала одним из ста семидесяти членов избирательной курии, которые выбирали из своей среды двадцать пять депутатов — четвертую часть Моравского ландтага! Все без исключения церковные сановники провинции, почти все церковные иерархи Австро-Венгрия принадлежали к консервативной партии дворян-аристократов. Предшественник Менделя на посту настоятеля дважды был депутатом от этой партии, А Мендель осмелился высказать собственную точку зрения на политические дела и голосовал за либералов — за партию бюргеров и обуржуазившихся помещиков. За самую левую партию в тогдашних австрийских парламентах — и в имперском и в земельных. За партию, от которой тогда исходили все демарши, направленные против церкви — на упразднение прав, предоставленных ей по конкордату.

В кругах Немецкой либеральной партии его называли «прогрессивным аббатом» и еще «моравским Гельферсторфером» — по имени единственного священника-депутата от либералов в рейхсрате. В этом прозвище содержится намек на возможную карьеру аббата в будущем.

А представители властей называли его «дисциплинированным подданным», ибо либералы поддерживали центральную власть и боролись против автономистских стремлений Венгрии, Чехии и Моравии. Носителем этих стремлений в те годы была в первую голову местная аристократия, а высшее духовенство было ее частью.

Мало того, что он демонстративно голосовал не за своих. Он еще подписал коллективный протест избирателей-либералов, где консерваторы обвинялись в подтасовке выборов — тех выборов,

на которых депутатские мандаты получила большая группа священников-консерваторов и в их числе доверенное лицо епископа патер Андреас Хаммермюллер.

Сам епископ моравский и сам архиепископ ольмюцкий называли Менделя предателем дела церкви и изменником идее моравского патриотизма.

И потому за поддержку либералов Менделю был пожалован рыцарский крест, и прелат не без некоторого тщеславия носил на сутане «миниатюру» ордена, то есть его уменьшенную копию на изящной цепочке; то и другое было им куплено у ювелира в Вене еще перед аудиенцией во дворце. Подлинные ордена на ленте тогда принято было носить только в особо торжественных случаях. Кстати, ранг ордена — рыцарский крест — определялся не столько самими заслугами, сколько положением награждаемого лица.

И потому, посылая Менделю запрос о стоимости монастырского имущества, чиновники канцелярии штатгальтера не ожидали никаких непредвиденных событий. Собственно говоря, правительство явочным порядком еще до принятия закона при необходимости потихоньку монастыри уже доило, и в канцелярском архиве среди прочих бумаг хранилось подписанное Менделем прошение августинского капитула о послаблении в поборах.

В том прошении упоминались все невзгоды последнего столетия — войны, налоги, конфискации, пожары и последние колебания курса акций на бирже, из-за которых монастырь потерял сумму в 1416 флоринов 41 крейцер [7].

Было упомянуто, как выросли цены за последние шесть лет: на мясо — на 19 процентов, на муку — 4 процента, на одежные ткани — 8 процентов, на дрова — 16 процентов сверх прежней стоимости. Подчеркивалось, что капитул монастыря малочислен и поэтому вынужден прибегать к платным услугам посторонних лиц при заболеваниях братьев и прочих нуждах. Указывалось, что Служба Спасения душ связана с тяготами и риском — лишь за последнее время двое молодых августинцев заразились от тифозных больных, которых исповедовали и соборовали. Заразились и умерли.

Подчеркивалось, наконец, что монастырь приносит практическую пользу, ибо попечение о науке во всех ее направлениях всегда рассматривалось общиной как первейшая задача. На членов капитула возложена обязанность заполнять непременно вакансии профессоров философии и математики в одном из брюннских институтов, и сверх того еще два его члена преподают: один — немецкий и французский языки в Брюннской

реальной школе, а другой — немецкую литературу в Краковском университете. Они, по общему признанию, заслуживают в этом деле похвалы.

«…Учитывая все вышеизложенное, конвент [8] надеется воззвать К мягкосердечию и состраданию высоких властей, ибо ни одному монастырю не доставались такие тяготы… Конвент не может тем не менее не признать при этом, сколь горько вступать на путь прошения о милостыне».

И поначалу Мендель действовал как смиренный монах и дисциплинированный подданный, приверженец либеральной партии, опоры правительства. Спустя месяц по получении запроса он прислал официальную бумагу, где говорилось, что монастырь святого Томаша, принадлежащий отшельническому ордену святого Августина, обладает движимостью на сумму в 516 701 флорин и недвижимостью — на 260 810 флоринов.

На эту бумагу последовало предписание ежегодно выплачивать из доходов монастыря 7336 флоринов в Религиозный фонд.

Аналогичные предписания получили все монастыри и, получив, поначалу платить отказались. А «дисциплинированный подданный» Мендель поначалу решил платить.

Однако тотчас к нему пришло письмо от его друга, прелата Антона Хаубера — настоятеля монастыря премонстрантов в Нейрише — с настоятельным советом не подчиняться.

И когда по этому поводу собрался монастырский капитул, братья-августинцы также оказались очень взволнованы происшедшим, ибо столь большой налог мог ударить по каждому, причем тем ощутимее, чем ниже было его положение. Налог мог привести к снижению «компетенций», а «компетенции» — ежегодное денежное содержание — у разных братьев были разными: аббату в то время причиталось пять тысяч флоринов в год, приору — полторы тысячи, капеллану монастырской церкви — тысячу двести, прочие братья получали по семьсот или по шестьсот — снова в зависимости от сана.

«Dura lex, sed lex!» — «Суров закон, но он закон!» — так, видимо, ответствовал прелат и вызвал этим всеобщее возбуждение, и братья-отшельники напомнили аббату о клятве, собственноручно им написанной и собственноустно им произнесенной при избрании на пост:

«Я, Грегориус Мендель, отшельнической орденской братией Старобрюннского монастыря святого Томаша вновь избранный

аббат, клянусь перед Господом и его святыми и перед достопочтенной Конгрегацией брюннской соблюдать нерушимую верность, подчинение и послушание Святой Римской Церкви и нашему повелителю и господину папе Пию IX и его преемникам в сане.

И засим клянусь:

…во-вторых: что я не допущу потери добра уважаемой самостоятельной орденской общины…»

Кто напомнил об этом прелату Менделю?… Наверно, патер Ансельм Рамбоусек, старый его друг, вместе с которым тридцать один год назад они в один день приняли постриг.

Что ответил Мендель?… Наверное, он процитировал пункт клятвы дальше: «И засим клянусь:…во-вторых: что я не допущу потери добра уважаемой самостоятельной орденской общины без разрешения выше меня стоящих».

И быть может, спросил:

— А рейхсрат и император?

— Не для общины римской церкви!

— Но в конституции сказано: «Каждая законно признанная церковь или религиозная община распоряжается и управляет своими учреждениями и фондами, однако, как и любое другое общество, подчиняется общегосударственному закону»!…

— Именно «как и любое другое»!… Ненужный труд воспроизводить все споры.

В роду у Менделей существовало правило не отступаться от принятых решений и данных клятв.

Аббат Мендель, вступая на пост, дал клятву не допускать потери монастырского добра. О ней напомнили.

Монахи-правоведы, которые были знатоками не только церковного, но и цивильного права, указали на некое расхождение между законом о налоге и конституцией: церковь приравнена ко всем другим обществам и потому не может быть связана особыми обязательствами, ибо фонд был некогда основан как добровольный. Если правительство хочет взимать деньги в этот фонд, пусть взимает со всех. Тогда можно подчиниться.

Эта мысль утвердилась в прелатской голове и — уж навеки.

И он первым среди всех аббатов Моравии демонстративно отказался от уплаты налога, послав, впрочем, столь же демонстративно чек на две тысячи флоринов в качестве добровольного пожертвования в фонд на нужды бедствующих церквей.

Письмо с отказом и чек канцелярия штатгальтера аббату возвратила, пояснив Менделю, что с утвержденными

императором законами не спорят. А Мендель снова написал, что закон, противоречащий конституции, силы не имеет.

Тогда власти принялись его усовещать. Ему объясняли. Ему приказывали. Ему грозили письменно и устно принудительными мерами. Ультраклерикалы из консервативной партии злорадствовали. Коллеги по немецкой либеральной партии были обескуражены: Мендель, которому прочилось в ландтаге — а быть может, и в рейхсрате — место «второго прелата Гельферсторфера», выступил против закона, проведенного их партией!… Либералы не хотели терять «прогрессивного аббата». В нужный час доктор Иозеф Ауспитц, моравский партийный лидер и редактор газеты «Tagesbote aus Mahren und Schlesien» — «Ежедневный моравско-силезский курьер», связался с более важным лидером моравских либералов — с имперским министром торговли Хлумецким. Министр отложил неотложные политические дела, прикатил из Вены в Брюнн и добился того, чтобы ландтаг назначил Менделя вице-директором Земельного ипотечного банка.

Мендель увидел в этом знак доверия либеральной партии, которое было оказано ему, несмотря на разногласия. Хлумецкий же и Ауспитц считали, что на важном для партии посту находится человек, который, несмотря на разногласия, будет проводить нужную либералам линию. Кроме того, почетный общественный пост — он считался именно таким — приносил Менделю две тысячи флоринов в год, и лидеры либералов считали эти две тысячи некоей компенсацией за убытки, которые, быть может, причинил лично прелату вызвавший его протесты закон. А кроме того, директором банка был брюннский бургомистр, либерал фон Отт, глава городской адвокатской корпорации. Два лидера рассчитывали, что меж банковскими делами директор сумеет убедить вице-директора в законности закона, с которым вице-директор воюет.

Увы, эрудиция и красноречие главы адвокатов моравской столицы оказались бессильными, и тогда, переговорив с чинами из штатгальтерства, коллеги по партии посоветовали аббату обратиться к властям с просьбой снизить сумму налога на том основании, что это ущемляет личные доходы — его собственные и его собратьев. Ему посоветовали даже увеличить «компетенции» — и собратьев и собственные — до таких сумм, чтоб их нельзя было выплачивать без снижения налога, и всем стало видно, сколь реально налог ущемляет доходы каждого монаха. Это предложение было с особенным удовлетворением воспринято всеми членами капитула.

Всеми, кроме аббата Менделя. Он увидел в предложении то,

что в нем и содержалось: чиновники вынуждают его признать правомерность закона и искать тропку, чтоб обойти его, черт, мол, с ним — пусть платит меньше, в двуединой монархии можно сделать разрешенным все запретное.

А он отказался лавировать. Отступать от принятых решений он не был обучен. Если закон не правомерен, значит он не закон! И собратья были разочарованы этим его решением.

Прошел год. Пошел другой, и очередной штатгальтер барон фон Поссингер был вынужден доложить о прелатском неповиновении в Вену:

«…Позволю себе указать, что аббат Мендель до сей поры проявлял постоянные строго лояльные и дружественные конституции настроения и — что видно из сделанного им мне сообщения, — видимо, лишь непреодолимое чувство долга побудило его занять упомянутую непоколебимую позицию…»

Вена барону ответила сурово. Протесты Менделя были признаны «неподобающими». Приостановление закона — невозможным. А его превосходительству барону предписывалось:

«…В случае повторного отказа аббата внести полагающуюся сумму, применить предусмотренные законом принудительные меры…»

Приказы принято исполнять. Послали чиновников описывать монастырское имущество. Мендель отказался дать комиссии бумаги, ключи и приходные книги, предъявить деньги и ценности. И написал на протоколе протест. Это был скандал. Скандал попал в газеты. За скандалом пристально следили все прочие монастыри. Одни настоятели уже испугались и принялись договариваться с чиновниками о снижении суммы налога. И очень хорошо договаривались. Другие не платили и протестовали, как Мендель, но делали все это осторожней, чем он, стараясь не привлечь всеобщего внимания, и опасливо вздыхали из-за разворота событий в Брюнне. А события были серьезные: власти наложили секвестр на монастырские имения и доходы.

«Проведение этих мер носит характер незаконной конфискации» — так написал прелат Мендель.

«Возвращая данное предупреждение как совершенно неприемлемое, императорско-королевская канцелярия штатгальтерства одновременно вынуждена… считать высказывания, содержащиеся в данном документе,

заблуждениями, в высшей степени достойными сожаления» — так ответили ему и снова решили попробовать ласку: пряник после кнута.

В отличном монастырском саду, над которым высится гора Шпильберг, увенчанная знаменитым Шпильбергским замком, у прелата был устроен кегельбан. Субботними и воскресными летними вечерами в гости к нему приезжали высшие брюннские чины: сам ландесгауптман граф Феттер фон дер Лилли, сами советники штатгальтера господа гофрат Янушка и гофрат Климеш [9], и доктор Ауспитц безусловно, и бургомистр. И прочие — чуть ниже чином, но всегда из тех, что ездят не на конке, а в собственных экипажах.

Играли в кегли. Прелат был мастак по этой части. И в шахматы: аббат был очень сильный шахматист. И говаривал, что сильными шахматистами бывают обычно люди, склонные к математике, а он сам к ней склонен.

Угощались добрыми винами, особым монастырским пивом, печениями, фруктами, сигарами. Прогуливались, разбившись на группы, по аллеям. И почти всякий раз, оказавшись с прелатом tete-a-tete, то советник Янушка, то советник Климеш, то сам господин ландесгауптман граф Феттер фон дер Лилли говорили, как они ценят прелата, его характер, его прямоту, его деятельность. Право же, заслуги его отмечены не полностью. Право, он достоин ордена Леопольда — второго ордена после Золотого Руна. И говорят, сами Его Величество задали штатгальтеру вопрос, почему это прелат Мендель не введен еще в верхнюю палату рейхсрата — в палату господ. Дело за небольшим — за реляцией штатгальтера. Его превосходительство барон готов подписать ее в любую минуту, как только будет исчерпан этот досадный инцидент…

Но бывало, что в понедельник после приятной прогулки и проникновенной беседы господам советникам приносили с очередной почтой очередной протест Менделя — то адресованный штатгальтеру, то адресованный министерству культов и пересланный в штатгальтерство с предписанием разъяснить аббату, что он ведет бесцельную полемику против закона, вошедшего в полную силу действия. И в следующее воскресенье в тенистой аллее то Климеш, то Янушка, еле загоняя себя в любезность, объясняли прелату, как расстроены происходящим и штатгальтер и министр. И сами Его Величество, говорят, в расстройстве обронили, что придется добиваться отстранения прелата от должности. Хоть должность эта выборная и несменяемая, но, когда человек идет противу всей власти, надо

подумать, не от умственного ли это перенапряжения, требующего лечения в специальной больнице.

Воскресенье за воскресеньем, недели и месяцы, и уже годы катились, как кегельные шары. Бургомистр фон Отт умер. Вице-директор банка Мендель стал директором, но взглядов не переменил, и гости из канцелярии стали появляться все реже и реже. Монастырские доходы были арестованы — их перечисляли прямо в Религиозный фонд. По этому поводу Мендель предупредил министерство, что конфискуемые суммы он приходует в монастырских книгах с указанием, что они даны государству в долг под обычную ставку в пять процентов годовых, и он ожидает возврата денег монастырю, с учетом процентов. Но изящества сего демарша не оценили даже собратья.

Настоятели всех монастырей, включая премонстранта Антона Хаубера из Нейриша, первым подбившего Менделя выступать против налога, давно столковались с канцелярией, подали декларации, по которым немалая часть имущества была признана необлагаемой, и платили в фонд ничтожные суммы, А в августинской общине из-за ареста доходов то и дело задерживалась выдача так и не увеличенных «компетенций».

Партию недовольных возглавил Ансельм Рамбоусек — старый, друг и конновиций [10]. С настоятелем он теперь только сухо здоровался при встрече.

Чины из штатгальтерства в саду появлялись все реже. Гофрат Янушка, правда, еще давал советы и даже помогал редактировать какие-то бумаги. У него были в этой истории еще и свои виды. Во всяком случае, обо всем, что было говорено с прелатом tete-a-tete, он докладывал на совещаниях в канцелярии — протоколы сохранились. Климеш вскоре не стал приходить совсем: он сорвался в разговоре с прелатом, сказал ему, что его у-бе-рут! В смирительную рубашку сунут, если он не сдастся.

После этого прелат купил двух здоровенных сенбернаров, которые — если поблизости не было прелата или садовника — никого не выпускали из монастырского сада. Псы разодрали как-то одному из братьев сутану. Аббат очень развеселился — какая надежная стража! — и заплатил за сутану вдвое, но атмосфера в общине еще более накалилась.

Месяцы шли за месяцами. По просьбе штатгальтера сам епископ попытался уговорить Менделя пойти на полюбовный компромисс. Безуспешно. Скандал продолжался.

Скандал называли по-разному. Одни — сочувственно «Война за Право». Другие — «Афера Менделя». В министерстве и штатгальтерстве о прелате Менделе говорили как о психе и кверулянте.

Братья-августинцы перешептывались, что епископ поручил патеру Августину Краткому следить за каждым шагом аббата и ежели что — немедленно доложить.

Но и в 1880-м, и в 1881-м, и в 1882-м он регулярно отправлял в штатгальтерство и министерство официальные протесты против принятого закона с длинными и подробными рассуждениями о том, почему закон не может быть признан правомерным и подлежит отмене. И каждый вечер заставлял Иозефа, своего слугу, тщательно проверять запоры и ставни, ибо знал, что он в равной мере неугоден и властям и сильным церкви своей, и помнил злые слова, сорвавшиеся с языка гофрата Климеша. Сенбернары были теперь всегда при нем, и все равно он нередко со страхом вглядывался в темноту за окнами своей монастырской квартиры.

А протесты его в канцеляриях уже не читали. Посылали только копию какого-либо предыдущего ответа, слегка изменив редакцию.

Делали вид, что его не существует. И все же он был бельмом на глазу, этот аббат Мендель, и не потому, что он был прав, а потому, что был неподкупен и непреклонен.

И однажды в Брюнн снова приехал министр и лидер либералов Хлумецкий, и после его визита ландтаг вдруг освободил прелата Менделя от должности директора ипотечного банка по состоянию здоровья, и консерваторы из избирательной курии очень злорадствовали по этому поводу.

А потом он и в самом деле заболел воспалением почек, и его здоровье сразу стало интересовать большое число людей.

Текущие дела монастыря вел прокуратор, патер Амброзиус Пойе. Патер Амброзиус, получив очередное предписание об уплате налога, возвратил его в канцелярию с уведомлением о том, что прелат тяжело болен, поэтому решение сего вопроса предпочтительнее будет отложить еще на некоторое время. К уведомлению была приложена справка врача: «Пациент нуждается в полном покое». А через два дня на всякий случай была отослана налоговая декларация о стоимости монастырского имущества с присовокуплением, что при нынешнем положении дел «компетенции» превышают ту малую часть доходов, которая должна остаться после уплаты отчислений в Религиозный фонд. И хотя решение дела просили отложить, за спиной Менделя подготовлялась сделка, которую он считал недостойной.

6 января 1884 года он умер. Это случилось ночью. А уже около полудня по брюннским улицам пробежал, дуя на мокрые красные пальцы, мальчишка-рассыльный из типографии братьев-бенедиктинцев.

Чтобы не задеть кого-либо из чистой публики своим ведерком с дымящимся на холоду картофельным клейстером, он бежал не по тротуару, а по скользким от снега с дождем аккуратным кирпичикам клинкера; все кирпичики были единого строгого размера — шесть дюймов на восемь — на всех мостовых двуединой монархии, ибо в жизни империи начал утверждаться Его Величество Промышленный Стандарт.

После мальчишки на вратах костелов и монастырей, на дверях Оберреальшуле, гимназий, политехникума, ратуши, банков, богословского института, канцелярий, благотворительных заведений и на афишных тумбах тоже — поверх анонса о новой оперетке г-на Штрауса — забелели листки с траурной каёмкой и орденским крестом. Под крестом на одних листках по-немецки, на других по-чешски, дабы известие дошло до всех обывателей, было набрано:

«Конвент отшельнической ордена святого Августина обители, что у святого Томаша Альтбрюннского в Моравии («Старобрненского» было напечатано по-чешски), сим с глубоким уважением и великим прискорбием сообщает о кончине своего высокочтимого аббата, высокопреподобного и наидостойнейшего господина

ГРЕГОРА-ИОГАННА МЕНДЕЛЯ

(«пана Ржегоржа-Яна» — стояло в чешском тексте), митроносного прелата, кавалера императорско-королевского ордена Франца-Иосифа, эмеритального директора Моравского ипотечного ландесбанка, члена-учредителя Австрийского метеорологического общества, члена Моравского (и, конечно же, «кайзерлихе-кёниглихе») императорско-королевского общества земледелия, природо- и краеведения и многих других обществ, научных и полезных, и прочая, и прочая,

родившегося 22. июля 1822 года в Хейнцендорфе, что в Восточной Силезии («в Хинчицах» — было написано по-чешски),

коего Господь отозвал из земной юдоли после долгих и тяжких страданий, и он, причастившись святых тайн, по воле Всевышнего опочил в воскресение 6 января в половине второго пополуночи.

Торжественныя панихиды и святыя мессы имеют быть 9 января в 9 часов утра в монастырской церкви, засим же останки усопшего будут преданы земле на Центральном брюннском кладбище -

ДА ПОЧИЕТ В МИРЕ!»

Большое это было событие.

И на похороны аббата собрался весь Брюнн. Его хоронили монахи: все четырнадцать августинцев от святого Томаша, и еще францисканцы, доминиканцы, бенедиктинцы и премонстранты — все, какие были в Брюнне и ближних местах. И приходские священники, не принадлежавшие к орденам, тоже явились. И лютеранский пастор и городской раввин — тоже, ибо самые кардинальные расхождения в догматах веры не отменяют необходимости соблюдать долженствующие приличия, коль в иной мир отправился человек той же профессии и высокого ранга.

Были прихожане, приходские нищие, бедняки клиенты филантропических обществ И городские финансовые тузы. Приехали из Вены племянники, которых он содержал и обучал на аббатские «компетенции» на медицинском факультете. Из родной деревни приехала их мать, младшая и любимая сестра прелата, и племянники — дети другой сестры, которых он не любил и не

содержал, и еще пожарные из деревни — после того, как деревня наполовину сгорела, он на свой счет оснастил тамошнюю пожарную команду.

Реквиемом дирижировал композитор Леош Яначек.

Мессу, надев полагающуюся черную епитрахиль с парчовыми крестами, служил сам епископ. Он произнес прочувственную речь о заслугах и о богобоязненном смирении усопшего. Ему хорошо были известны и заслуги и каждый шаг покойного, за которым по его поручению следил патер Краткий.

Присутствующим были розданы листочки с напечатанной цитатой из премудростей Соломоновых: «А души праведных в руке Божией и мучение не коснется их». И еще там было из послания апостола Павла римлянам: «От скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает». И еще — молитва, дабы затянутые в мундиры с крепом на рукавах сам фон Поссингер, сам Феттер фон дер Лилли, сами Янушка и Климеш могли подтянуть в нужном месте:

— Deus, qui inter apostolicos sacerdotes… — Боже, ты, меж апостолическими священниками твоими раба твоего Грегориуса сподобивший процветанием в священническом сане, услышь моления наши, дабы был он приобщен к сонму вечному…

— Per Christum, Dominum nostrum… Amen.

В этой разношерстной толпе старались кучкой держаться профессора Политехнического института, гимназий и Высшей реальной школы (в Австрии любой учитель именовался «герр профессор»), и еще аптекари и врачи — все они были члены Ферейна естествоиспытателей в Брюнне. Не все они были католиками. Были и лютеране и атеисты — им в костеле было неуютно, но не прийти — неприлично: господин Мендель состоял в их обществе более двадцати лет. Он вступил в него сразу при основании — в 1862 году, когда не был еще прелатом, а был всего лишь каноником, рукоположенным священником-августинцем. Он тогда не имел прихода, хоть и мог его иметь, а вместо работы непосредственно в Службе Спасения душ учительствовал в реальной школе, преподавал там физику и естествознание, «естественную историю» — как тогда говорили. Со всеми коллегами в ферейне он был одинаков — безотносительно к их взглядам.

И тогда и позднее — в общем до самого почти конца — он занимался научными экспериментами. Его увлекали три вещи: опыты по скрещиванию растений, метеорологические наблюдения — в том числе и за солнечными пятнами, и пчеловодство, в котором он проявлял завидную изобретательность, за что и был

избран еще вице-председателем местного ферейна пчеловодов и ездил на всеевропейский конгресс пчеловодов в Киль, Свои эксперименты господин Мендель доводил до некоего логического завершения, и докладывал коллегам, и публиковал доклады в «Трудах» общества.

Господа профессора и естествоиспытатели старались держаться вместе в этой огромной толпе. Долгой была панихида, долгой была процессия: центральное кладбище — на другом краю города. Разве промолчишь столько времени? А говорить лучше с теми, с кем есть о чем говорить. В этом не было ни грана неуважения к покойному. Естествоиспытатели уже воздали ему должное: собрались накануне похорон на заседание, и профессор Густав фон Ниссль фон Майендорф, непременный секретарь ферейна, произнес в память прелата прочувственную речь:

«…Те блага, которые предоставило ему чрезвычайно счастливое его положение, он использовал почти исключительно для весьма подробных естественнонаучных опытов, кои свидетельствовали о весьма самобытном, лишь одному ему свойственном понимании исследуемых вопросов. Сюда в особенности относятся наблюдения над растительными гибридами, которые он культивировал в большом числе».

По мнению некоторых членов ферейна, фон Ниссль перехватил слегка тем, что заговорил об опытах аббата с гибридами. Лучше было бы упомянуть о метеорологических работах. У господина Менделя был странный склад ума — это особенно проявлялось как раз в тех докладах о скрещивании растений. Его почему-то тянуло к математизации своих наблюдений и к выведению закономерностей не из описания конкретного наблюдаемого процесса, а из абстрактных математических выкладок. У него было неботаническое мышление. Не случайно всегда — ив Венском университете, где он был вольнослушателем лет тридцать назад, и в преподавательской работе, и в исследовательских увлечениях — он делил себя между физикой и биологией. Это особенно бросалось в глаза тем, кто учился с ним в Вене.

Прелат с Нисслем составляли особую партию в ферейне Ниссль тоже был и математик и ботаник и, хотя не смешивал сам два эти предмета, считал, что выкладки патера Менделя допустимы, интересны и даже серьезны… А в некрологе, помещенном в сегодняшнем «Tagesbote aus Mahren und Schlesien», результаты его трудов были названы «эпохальными». Некролог написал, наверное, сам господин Ауспитц. Он всегда был очень

расположен к патеру Менделю: еще в те годы, когда усопший был простым каноником и педагогом в Оберреаль-шуле, а доктор Ауспитц был в Оберреаль-шуле директором. Ну, только взгляните, что в некрологе написано!

«В лице усопшего бедный люд потерял великого благодетеля, а все человечество — одну из благороднейших личностей, горячего друга и покровителя природоведения и достойного подражания пастыря».

Как всегда, перехватили через край: «все человечество»!… Ну, монастырь, приютские сироты, ферейн, реальная школа, где он преподавал когда-то, ну, «весь Брюнн» наконец.

…Долгой была панихида, долгим путь до центрального кладбища. Процессия была длинной, громоздкой, из-за нее перестали ходить конки. День был холодный, с мокрым снегом и ветром, гасившим свечи и раздувавшим кадила. Вся процессия потихоньку, дабы не преступать приличий, судачила. Пересуды сохранились в письменных воспоминаниях о Менделе, поэтому здесь почти все они подлинные.

Клиенты филантропических обществ, в которых аббат председательствовал, поговаривали, что такие благотворители попадаются редко. Патер Грегор Мендель был, говорят, сам из бедняков и если принимал просителя, то не тратил времени на всякие нравоучения насчет пользы бедности и необходимости смирения: мог дать денег — давал. Иногда, если филантропическая касса была пуста, давал свои, даже у слуги своего брал. Не хотел дать — отказывал тоже без поучений. А так как он сам из простых, надуть его было трудно. Отбреет поговоркой, хоть по-немецки, хоть по-чешски. И не обидно даже. Второй такой не скоро объявится. Худо.

Центром внимания прихожан из Альтбрюнна, из старого города — тех, что ходили в монастырский костел Вознесения Девы Марии, были пани Доуповцова и ее сын Антонин, служивший мальчиком в типографии братьев-бенедиктинцев.

Пани Доуповцова была нанята в последние недели в монастырь помогать сестре-монахине из госпиталя святыя Анны ухаживать за больным. И она все рассказывала, что утром 5 января — вот-вот перед смертью — аббату вдруг стало лучше. У него прежде очень отекали ноги, даже вода сочилась через трещины в коже, и доктор приказал ноги бинтовать. По утрам пани бинты стирала, и, когда в то утро сестра сняла их с больного, пани Доуповцова воскликнула: «Ваша милость, бинты-то сегодня сухие!» И прелат ответил: «Да, мне сегодня лучше». Он

был вообще терпеливый, никогда ни на что не жаловался. Только все сидел на софе. И спал сидя. Говорил, так ему легче. А ночью вот… Christe, eleison!… [11]

Пани Доуповцова в прелатуре ночью не была, конечно. Женщинам вообще не полагается пребывать в мужском монастыре. Над всеми почти помещениями — клаузура, запрет, табу. Женщинам можно появляться было только на кухне, в трапезной и в прелатуре. Но не ночью, конечно. Ну, и в парлаториуме — в комнате для свиданий братьев с родственниками… Ночью при аббате был только Иозеф, слуга. А пани Доуповцова слыхала, что аббат-то умер, страшно сказать, без святого причастия. Зашли к нему ночью, а он на софе уже холодный…

Что до четырнадцатилетнего Антонина Доуповеца, то внимание сверстников и даже иных взрослых он привлекал потому, что помогал матери прислуживать. Он вещал насчет лакомств, перепадавших ему в те дни с аббатского стола, но более о другом. Прелат перед смертью прочитал в журналах про особый ле-тар-ги-чес-кий (вот какой!) сон, при котором человек спит, а похож на мертвого. И прелату пришла мысль: вдруг из-за болезни он так вот уснет, а его закопают. И он приказал, чтобы, прежде чем его хоронить, его бы разрезали и посмотрели: бьется там сердце или нет. Если не бьется, то все в порядке. И доктора вскрывали его прямо там, в прелатуре, в коридоре. Антонина с матерью заставили таскать воду — ведер двадцать, не поймешь, зачем столько. Страшно, конечно, было и любопытно, но в коридор их не пускали: приоткрывали дверь, брали ведра, и все. И патер Рамбоусек очень ругался, что остальные патеры на это согласились, потому что в монастыре это делать неуместно, и еще той водой испорчен в коридоре весь паркет.

А в голове процессии — там, где шли родственники и близкие, — племянник покойного Алоис Шиндлер, студент-медик последнего курса, был вынужден в какой уже раз пояснять, что аббата перед смертью все-таки успели соборовать и можно считать, что приличия соблюдены. Правда, катастрофа разыгралась неожиданно, тревогу следовало поднять еще утром, когда исчезли отеки и дядя пришел в некоторое возбуждение. Сам Шиндлер остановился в гостинице, и как раз дядя сказал, чтоб весь этот день он занимался своими делами. Его вызвали уже поздно, а до того подле аббата никого из братьев не было. Вообще во время болезни, хотя прелатура для всех была открыта, собратья совсем дядю не навещали: он был все дни совсем один — только слуга да сестра-монахиня из госпиталя. Бывали лишь два недавно принятых послушника — Баржина и Клемент, — и,

как всегда у дяди, это оказались чехи… А когда к одру уже собрали всех, дядя даже не мог прочитать «Pater noster», путал слова этой молитвы со словами «Ave, Maria», хотя монахи хором пели рядом… Патер Краткий отчитал Иозефа, что он не побудил дядю вовремя принять святую исповедь, — ситуация пренеприятнейшая. Но что Иозеф понимает в симптомах уремии!… А патер Пойе сказал: «Наш прелат, к сожалению, совсем превратился в адвоката…» Дядя, конечно, был человек ученый и смотрел на многие вещи просто, но вряд ли он сам стал бы отказываться от исповеди и причастия. Вряд ли…

Что до господина штатгальтера барона фон Поссингера, господина ландесгауптмана и советников, то они, естественно, пешком на кладбище не отправились и в свои кареты и коляски уселись еще до выноса тела из костела. Штатгальтер и ландесгауптман уже воздали аббату аббатово тем, что побывали на панихиде, да и советники не обязаны в конце концов битый час плестись в своих колясках в хвосте вереницы экипажей, замыкавших шествие. Можно просто к нужной минуте приехать на кладбище, использовав этот час хотя бы для того, чтобы выпить доброго кофе.

Еще 6 января днем по телеграфу советники известили коллег в министерстве культов и просвещения о завершении «Аферы Менделя», которую малочисленные сторонники прелата называли «Войной за Право». Впрочем, министерство и без них узнало бы об этом немного спустя из газет: поместили некрологи «Wiener Zeitung» и даже «Das Vaterland» [12]. А осведомители сообщали, между прочим, что патер Мендель называл «Das Vaterland» грязным листком и не позволял слуге даже класть эту газету на его стол… Но смерть прелата, да такого непокорного, как-никак большое событие.

И еще министерству было сообщено также, что наиболее вероятный кандидат на аббатский пост — патер Ансельм Рамбоусек, видимо, ликвидирует неуместный конфликт, столь неприятно подрывающий авторитет властей.

Но во всех этих официальных сообщениях, некрологах, надгробных речах и досужих разговорах не прозвучало самого главного.

Никому и в голову не пришло, что из жизни ушел истинный гений и человечество, о котором было помянуто в «Tagesbote aus Mahren und Schlesien», вправду понесло невосполнимую утрату.

Грегор Мендель, по свидетельствам знавших его, действительно был добрым и приятным человеком, но мало ли добрых людей живет на земле, мало ли их умирает?

Он был слугой церкви и за сорок лет в общем ничем не

скомпрометировал своего «мундира», хоть и не выказывал излишнего рвения. Таких слуг у церкви, говоря объективно, было тоже немало, но их обычно не помнят. Помнят либо рьяных, либо компрометирующих.

Он достиг высокого церковного и в известной мере политического поста и сделался директором местного банка, хотя как политик и финансист он был недостаточно дальновиден. И таких тоже было много за века.

Но спустя годы после его смерти вдруг оказалось, что он был великим ученым, прорвавшимся в неведомый отсек природы. Причем не дилетантом, которому посчастливилось случайно наткнуться на драгоценную находку, а широко эрудированным исследователем, чей оригинальный ум сумел точно задать живой природе один из коренных вопросов ее бытия, и в последовательном титаническом труде получить четкий однозначный ответ, и снова извлечь этот ответ из перекрестных экспериментов, и понять его место во всей системе человеческого знания, и заложить всем этим фундамент новой области поиска, имя которой «генетика» — наука о наследственности.

Все, что говорилось до сих пор, было о мирской известности Менделя, о его прижизненной известности.

Она не идет в сравнение с его истинной славой. Кто он — этого при его жизни не понимал никто: ни собратья-монахи, ни тем более чиновники.

Этого не понимали даже самые высокоэрудированные господа из Ферейна естествоиспытателей в Брюнне и из других обществ, научных и полезных, в которых сначала он просто состоял, а став прелатом, приобрел высокий ранг «члена-учредителя».

Этого не понимали даже крупнейшие светила европейской биологии, державшие в своих руках оттиски его статей и его письма.

Быть может, только два человека оценили его при жизни.

Первый — Густав Ниссль фон Майендорф, непременный секретарь Врюннского ферейна, естествоиспытатель, математик и ботаник, чьи схемы долго потом жили в учебниках биологии.

Ниссль сказал в те январские дни 1884 года, что труды Менделя «…свидетельствовали о весьма самобытном, лишь одному ему свойственном понимании исследуемых вопросов. Сюда в особенности относятся наблюдения над растительными гибридами».

Вторым, кто оценил его как ученого еще при жизни, в 1875 году, был русский ботаник Иван Федорович Шмальгаузен. Но об этом позднее. Впереди еще вся книга. И все-таки еще один эпизод

из конца и несколько мыслей, с ним связанных.

Через полгода после похорон Менделя его племянник доктор медицины Алоис Шиндлер приехал в Брюнн и пришел в монастырь святого Томаша.

Здесь он вырос. Дядя забрал его в Брюнн, как только Алоису наступило время учиться в гимназии. Аббат поселил его в доме монастырского причетника Смекаля. Дом выходил на ту же маленькую площадь, что и фасад монастыря (в нынешнем Брно площадь носит имя Грегора Менделя).

Шиндлер писал сорок четыре года спустя — в 1928-м:

«Я нанес визит новому прелату, патеру Рамбоусеку. Он принял меня не без дружелюбия и сказал во время беседы:

— Там, от вашего дяди, осталось очень много писем (прошений о поддержке) и тьма всякой писанины еще; я раздумываю, что со всем этим сделать, и полагаю за лучшее все это сжечь».

Племянник писал, что всю жизнь раскаивался из-за проявленной тогда нерешительности: ведь он мог упросить Рамбоусека передать ему дядин архив. Но он не сделал этого, и в монастырских печах превратились в пепел письма бедняков, просивших помощи Менделя — члена филантропических обществ и доброго человека с большими личными средствами.

Превратились в пепел письма, полученные Менделем от Родственников и от ученых, с которыми он обменивался мыслями касательно проблем биологии и метеорологии, селекции, садоводства и пчеловодства. Лишь считанные из них дошли до наших дней, случайно затерявшись среди официальных бумаг, помещенных потом в монастырский архив.

В монастырских печах превратились в пепел рабочие записи Менделя, дневники его опытов и расчеты — первые выкладки генетической алгебры.

И даже оригинал классического труда «Опыты над растительными гибридами» ожидала такая участь, — только по чьей-то небрежности сорокастраничная рукопись, написанная идеальной, каллиграфической готикой, не попала в печь в 1884 году. Слишком много было в монастыре бумаг для растопки. Сорок перевязанных тесемкой страниц провалялись среди прочих, предназначенных к сожжению, целых восемнадцать лет.

И когда аббат Мендель в памяти людей перестал быть всего лишь добрым человеком, всего лишь бывшим школьным учителем, в порядке досужего увлечения занимавшимся какими-то дилетантскими экспериментами, — когда он стал в глазах

всего человечества Менделем, чье имя было причислено к лику создателей нетленных духовных ценностей, — вот тогда и начались розыски всего, что уцелело от пламенного безразличия.

Гуго Ильтис — так звали самого неистового исследователя менделевой жизни — был коренным брненцем. Он преподавал биологию в одной из гимназий, а в юности учился в Высшей реальной школе — там, где когда-то преподавал Грегор Мендель. Ему и принадлежит первая фундаментальная биография Менделя. Двадцать лет собирал Ильтис воспоминания немногих еще оставшихся в живых людей, которые знали гения в ипостаси обыкновенного человека. Биограф получил от доктора Шиндлера документы, найденные на родине ученого, и сам отыскал очень важные документы в Вене, где Мендель сдавал экзамены при университете и учился. Ильтис перерыл архивы министерства культов и просвещения бывшей австро-венгерской монархии, архив реальной школы, архив прогимназии в Зноймо, где Мендель тоже преподавал. И, несмотря на «неарийское» происхождение и некрещенность, Ильтис получил допуск к архиву еще действовавшего монастыря.

Впрочем, в монастыре был свой историк Менделя, патер Ансельм Матоушек, педантично и любовно создавший первый музей — мемориальный маленький Менделианум. Это отцу Матоушеку посчастливилось обнаружить в груде бумаг, считавшихся годными лишь для растопки, драгоценную рукопись, чьи фотокопии воспроизводятся всякий раз при перепечатке менделевского труда. Но в 1945 году, в последние дни войны, когда шли бои за Брно, рукопись, хранившаяся в особом сейфе брненского банка, исчезла. Сейф оказался пустым,

В 50-е годы сызнова началось восстановление и изучение менделевского архива. Трудами брненских генетиков и в первую очередь профессора Ярослава Кржиженецкого в бывшем монастыре святого Томаша воссоздан Менделианум, собраны, проанализированы и прокомментированы документы и воспоминания — и опубликованные ранее, и неизвестные. Они изданы теперь, и по ним написана эта книга [13].

Но мы назвали еще не всех собирателей менделевского наследства. Был и профессор Освальд Рихтер, микробиолог из Брненского политехнического института, коренной житель Брно, клерикал и нацист. В 30-е годы Рихтер отыскал и опубликовал материалы о заграничных путешествиях Менделя. А в 1943 году в «Трудах Брненского общества естествоиспытателей» Рихтер поместил свою 300-страничную монографию «Иоганн-Грегор Мендель, каким он был на самом деле — новый анализ архивных материалов Брненского монастыря». Главной задачей своего

труда Рихтер поставил критику «материалистическо-еврейских» изысканий Ильтиса. В своей книге он пытался превратить Менделя из человека, которым Мендель был на самом деле, в ученого стопроцентно католического и по возможности арийского, и самое главное — в воинствующего антидарвиниста. В 1945 году Рихтер сбежал из Брно на Запад и через какое-то время умер. Но скорбный рихтеров труд не исчез втуне. Десять лет спустя о нем вспомнил крупнейший церковный сановник, «генеральный викарий его святости епископа в Порфиреоне, его превосходительство, наидостойнейший монсеньер» падре Канизио ван Лиерде. Он поместил в солидном сборнике статью «Характер и религиозность Грегора Менделя».

…У Менделя были разные биографы. Были даже биографы-недоброжелатели, пытавшиеся представить его труд бесплодным, а его открытие бредом. (Увы, их писания имели недавно у нас «зеленую улицу».) Но среди всех не было ни одного, кто счел бы недостойным обсуждения вопрос о мировоззрении Менделя: «был ли человек, открывший «законы Менделя», настоятель монастыря святого Томаша, религиозным? Наложила ли его возможная религиозность свой отпечаток на биологический исследовательский труд и выводы, из этого труда сделанные?»

Не было ни одного из участников дискуссии, Длящейся седьмой десяток лет, который не искал бы противоречия или же, наоборот, согласия между его жизнью и его наследием.

Вот вехи этой дискуссии.

«И хотя в силу внешних обстоятельств, а не внутреннего убеждения он (Мендель. — Б.В.) вынужден был стать священником, он использовал в целом это положение идеальным образом; сотни бедных пользовались его благотворительностью, он был священником, но не клерикалом. Он всегда сохранял свободу мысли, свою независимость».

Так в 1929 году говорил о Менделе материалист Гуго Ильтис.

«Слова Ильтиса не звучат как обвинение, — писал в 1955 году монсеньер ван Лиерде. — Наоборот, автор говорит так, чтобы поднять Менделя как свободного и независимого мыслителя, но такое противопоставление для католиков неприятно. Однако все видят, что в этом утверждении Ильтиса содержится явное оскорбление Грегора Менделя, который будто бы мог начать жизнь священника без внутреннего убеждения».

Нам надо увидеть Менделя во всей реальности его истории, его внутреннего облика. Собственно, Гуго Ильтис опубликовал почти все основные документы. И Рихтер и епископ ван Лиерде не приводили принципиально новых данных.

Монахом Мендель стал в 1843 году, когда достиг

совершеннолетия. Первая фундаментальная биография была закончена в 1924 году — восемьдесят один год спустя. За эти восемьдесят лет мир изменился, Европа пережила крупнейшие революционные потрясения 1848 года, 1871 года, 1917 — 1918 годов. Эти восемьдесят лет были эпохой непрерывных революционных переворотов в науке, освободившейся из пут средневековой натурфилософии. И одним из тех, кто рвал эти путы, был Грегор-Иоганн Мендель, родившийся в еще феодальной Австрийской империи.

И от выхода той биографии прошло уже сорок четыре года, а сколько было за эти годы пережито, познано, понято…

Значит, надо заново представить себе время, в которое он начал свой путь к той мирской славе, что умерла через считанные годы после него, и путь к славе вечной.

Итак, год 1843-й.

Ill VOVEO ET PROMITTO

Чеканная латынь молитвы была впечатана в мозг еще в гимназии. «Veni, Creator» хорошо запоминалась из-за четкого ритма:

Приди, о Дух сизиждущий,
Твоих рабов возрадовав!
Исполни вышней силою
Сердца, тобой избранные!

Но молитву никто не читал в ее призывном ритме. Ее вообще произносили не часто — по особым случаям. И ее не читали, а пели, и — как полагается — не призывно, а смиренно.

Сейчас отцы-августинцы пели «Veni, Creator» в древнем грегорианском ладу. Они пели негромко, просто мастерски.

Их было немного. Весь тогдашний монастырский капитул — только одиннадцать человек. Но тихое пение поднималось под своды костела и обволакивало, заполняло весь воздух так, что становилось еще страшнее, чем было до того, как обряд начался.

А страшно было с самого начала, потому что, как бы он ни был тверд в решении, которое принял, одно дело — принять решение, и совсем другое — когда все осуществляется и твою жизнь рассекает стена, которую уже не уберешь. Она отрезает то, что уже прожито, от того, что предстоит прожить, — тебя самого от тебя самого.

Как ему и полагалось в эту минуту, Иоганн Мендель лежал вниз лицом на холодных каменных плитах Брюннского костела Вознесения Девы Марии.

Руки были раскинуты — он сам как бы живой крест. И двое других новициев — Рамбоусек и Циганек — тоже были как бы живые кресты.

А отцы-августинцы — все в полном облачении, при черных капюшонах, при широких кожаных поясах — пели:

О Параклит [14] божественный,
Любовный дар Всевышнего,
Огнь горний, миро дивное
Таинственных помазаний!

А на нем был сюртучишко, старый, перештопанный матушкой Розиной и квартирной хозяйкой, у которой снимал в Ольмюце угол. Сюртучишко был расстегнут специально, чтобы не получилось заминки, когда прелат будет срывать с Иоганна мирскую одежду.

И у Рамбоусека расстегнут. И у Циганека.

А под сводами плыло:
Умы возвысь к служенью,
Сердца зажги любовию,
Восполни немощь плотскую
Избытком силы Божией!…

В тот момент, когда аббат сорвет сюртук, вся прежняя жизнь кончится. И тотчас же на него накинут сутану, и как только ее накинут, начнется другая жизнь, в которой у него даже имя будет другое. И он не будет больше принадлежать себе. Он не будет даже принадлежать своему сословию. Даже кайзеру он будет принадлежать уже не так, как прежде, не как принадлежат ему подданные-миряне.

Потому что он теперь будет принадлежать церкви.

Монастырской общине святого Томаша.

Ордену святого Августина.

Риму. Папе.

Но не себе.

Через семь лет ему взбредет в голову не очень-то к месту объяснять, почему он решился перейти из одной жизни в другую, почему рассек свое бытие стеной — высокой и сложенной так же прочно, как сложены из аккуратных, друг к другу тщательно подогнанных кирпичей древние стены святого Томаша и страшные стены высящегося над монастырем и над всем Старым Брюнном замка на горе Шпильберг — знаменитого на всю Европу замка, к которому по ночам в каретах с наглухо зашторенными окошками жандармы привозят закованных в цепи итальянских карбонариев и польских патриотов, чтобы никто и никогда более не услышал их голосов.

В двадцать восемь мало кто уже принимается переосознавать прожитое — не тот возраст. Да и ему в 1850 году было не до мемуаров, не до разговоров с историей, и ему никогда вообще не приходило в голову лукавить, как подчас лукавят, адресуя свои слова будущему.

У него была своя определенная забота, свои хлопоты, очень простые: надо было получить разрешение сдать экзамены на право преподавать в школе.

И он писал будничные официальные бумаги. Прошения. Писал так, как полагалось.

А в ту пору, как и ныне, уже полагалось, например, представлять в иные инстанции автобиографию, написанную по установленной форме. Однако объяснить, почему он поступил в монастырь, форма не требовала. Она требовала лишь точных сведений о родителях, о сословии, имуществе, вероисповедании, о всех местах, где прошивал пишущий автобиографию.

Писать о себе полагалось в третьем лице. Принято было писать о себе уничижительно, и ему не приходилось переламывать свой дух: он был крестьянским сыном, и его с детства учили смирению и покорности. Покоряться и кланяться надо было всем: отцу, школьному учителю, и патеру Шрайберу, и господину старосте — хоть он и был просто родственник, как почти все люди в Хейнцендорфе, но он еще был власть!

И волостному писцу надо было кланяться, и господину жандарму, и графскому управляющему, если тому вздумалось объехать в легкой двуколочке вверенные его рукам владения.

И портрету императора.

И распятию.

И статуе богоматери.

А в монастыре — всем: старшим, равным, младшим, ибо смирение — из высших добродетелей.

И он написал:

«Достопочтенная императорско-королевская экзаменационная комиссия!

Высоким указаниям министерства культов и просвещения повинуясь, нижеподписавшийся представляет на утверждение (!!) краткий обзор своего жизненного пути.

Упомянутый (в соответствии с приложением А) родился в 1822 году в Хейнцендорфе в Силезии, где его отец был владельцем небольшого крестьянского надела. После получения начального образования в тамошней деревенской школе и позже по окончании коллегии пиаристов в Лейпнике он был в 1834 году принят в Троппаускую императорско-королевскую гимназию в первый грамматаческий класс. Четырьмя годами спустя родители упомянутого в результате стечения многих, быстро следовавших друг за другом несчастливых событий были полностью лишены возможности возмещать необходимые расходы, связанные с учебой, а он, с глубоким почтением нижеподписавшийся, будучи тогда лишь 16 лет от роду, попал из-за этого в печальные обстоятельства, так как был принужден совершенно самостоятельно заботиться о собственном содержании…»

Эта бумага вместе с приложением А и вместе с приложениями B, C, D, E, F, G проделает полагающийся ей путь. Она придет сначала в одну канцелярию, а потом в другую и в третью. Ее украсят входящими, исходящими и снова входящими номерами. Вложат в папку, будут подшивать к ней другие бумаги производства «по делу о допущении к экзаменованию в кайзеровско-королевской комиссии г-на имярек…» Потом отправят в архив, чтоб и потомки ведали, как образцово вести делопроизводство. И будет автобиография лежать рядом с

другими бумагами кайзеровско-королевского министерства культов и просвещения — с разрешениями, уведомлениями, с запросами и точно такими же прошениями с глубоким почтением подписавшихся соискателей.

Пройдет полвека. Человека, писавшего свою автобиографию, уже похоронят и просто забудут,

И вдруг для людей, быть может не слышавших прежде его имени, окажутся важными даже случайно оброненные им слова, даже не связанные меж собою цифры и знаки, нацарапанные на клочках, ненароком сохранившихся.

Но это будет через полвека.

А пока он лежит живым крестом на полу.

И рядом на каменных плитах костела — Ансельм Рамбоусек, хрупкий, горбоносый, тоже лежит, разбросав руки, и тоже ждет, когда сорвут сюртучишко и отстригут по пряди волос со лба, с затылка и с обоих висков, совершив крестное знамение ножницами. Именно Рамбоусек спустя годы и прикажет отправить в огонь драгоценнейшие менделевские бумаги — его запечатленные дела, мысли, чувства.

И останется только автобиография, написанная по форме через семь лет по пострижении, — та, в которой ему взбрело не к месту рассказывать, что и почему было.

В Министерском архиве ее найдет гимназический учитель биологии Гуго Ильтис и найдет еще резолюции, секретные характеристики и сухие официальные протоколы. Потом — другие биографы — найдут даже счета от книготорговцев. Ильтису ничего не простят: ни его происхождения, ни его находок, ни ажитации, ни тем более его выводов. И например, господин профессор Венского университета, тайный советник Эрих Чермак фон Зейссенегг, известнейший генетик, повторит в своих мемуарах чужую и злую фразу об иудее, который карабкался к славе по костям монаха.

И главным объектом злости будет именно эта найденная им Менделева автобиография.

…9 октября 1843 года сын хейнцендорфского крестьянина Иоганн Мендель лежал вниз лицом на холодных плитах пола в костеле Вознесения Девы Марии, что в Брюннском монастыре святого Томаша. Коленопреклоненные августинцы призывали создателя, и он ждал, когда прозвучат заключительные слова молебна:

— Emitte Spiritum tuum et creabuntur. — Яви дух твой и созидай. — Alleluja, Alleluja, Alleluja. — Et renovabis faciem terre. — И да обновится лик земли. — Alleluja.

Он знал, как все будет.

Как только прозвучит заключительное «Amen», поднимется с колен аббат Напп, маленький, суховатый, старый, с уже обвисшими щеками. Но снизу, с полу, он будет казаться огромным, как церковь.

Он поднимется и сорвет с Иоганна мирскую одежду и отбросит прочь, и в руках его тотчас окажется сутана. И он произнесет сакраментальное:

— Скинь с себя старого человека, который сотворен во грехе! Стань новым человеком!

И тогда надо будет встать с пола. Новым человеком. Сыном церкви, беспрекословным слугой ее.

И когда упадут на пол четыре пряди волос, надо положить руку на евангелие и начать:

— Ego, frater Gregorius!… — Я, брат Грегор…

Как он произнесет это, он уже перестанет быть Иоганном Менделем, мирянином, крестьянином. Он станет братом Грегором, монастырским послушником, младшим членом общины, лицом высокого духовного сословия.

— Ego, frater Gregorius… voveo et promitto… -…Клянусь и обещаю.

Три обета он должен дать.

Отречься от собственности. Для него это — от права на наследование надела в 30 иохов и крытого черепицей домика с садом в Хейнцендорфе. Впрочем, от этого права отказываться было легко: он уже его лишился.

Затем — от собственной воли. Он должен все свои интересы и поступки подчинить интересам церкви.

Третий обет — безбрачие. Целибат. Он должен исключить из своей жизни то, что приносит счастье и горе, и взлеты поэтического духа.

И когда — «voveo et promitto» — он пообещает все это, аббат скажет:

— Et ego, si haec omnia impleverit, in nomini Dei omnipotentis Promitio tibi vitam aeterna! — И я, именем бога всемогущего, обещаю тебе, если исполнишь все это, жизнь вечную!…

IV. СТО ФЛОРИНОВ ОТСТУПНОГО

Антон Мендель был выносливый, как славянин. Свое поле — графское поле, свой сад — графский сад, свой пчельник — графский пчельник с утра и до ночи, от понедельника и до воскресенья, год за годом.

Антон Мендель был аккуратен и бережлив, как истый немец. Каждый обрывок веревки, каждая тряпочка знала в доме свое место. Крейцер прикладывался к крейцеру, флорин — к флорину.

Прикопив десяток-другой флоринов, Антон Мендель шел кланяться управляющему, чтобы прирезал к наделу пол-иоха, а то иох земли. А поскольку он ухаживал за барским садом, ему удавалось выпросить то, что не всегда удавалось другим.

Дети: Вероника, Иоганн, а потом и Терезия — самая младшая, смалу копошились в огороде, выпалывали пробившиеся в грядах травки, учились обмазывать, подвязывать и прививать яблони, подносили, уносили, сыпали корм птице, давали пойло коровам, помогали в меру своих сил.

Семья не роскошествовала, но и не бедствовала. Дети, как у добрых людей, учились в общинной в три оконца низенькой школе. Учителю, преподобному Томашу Маките, за его труд, как и все односельчане, Мендели платили рожью, горохом, шпигом, яйцами и лишь малую толику крейцерами.

Учили в школе Веронику: будущая хозяйка должна уметь считать деньги, читать молитвы и при случае хоть кое-как написать письмо. Кроме того, сей одноклассный минимум был обязателен для подданных просвещенных австрийских монархов.

На десятом году от роду отдали в руки Макиты Ганса, Иоганна. (До Терезии очередь не скоро дойдет: когда Иоганну исполнилось десять, ей было всего три года.)

Учитель нередко заглядывал к Менделям в дом, не без надежды, быть может, выйти оттуда не с пустыми руками. Разговоры, как всегда на селе, велись обстоятельные, начинались издалека, касались всех хейнцендорфских и гросс-петерсдорфских событий: у кого отелилась корова, с кем согрешила дочка Кунчеров. Мало-помалу добирались до самого главного и приятного — до школьных дел: Макита не мог нахвалиться Гансом: прилежен, схватывает все на лету, сразу видно, что он учительских кровей. И это всегда попадало в точку.

Розина Мендель просто расцветала, потому что в теперешние времена главной гордостью ее рода — Швиртлихов из Хейнцендорфа — был родной Розинин дядя Антон, которого называли первым хейнцендорфским учителем.

Правда, самого учителя нигде не учили. Барщина в ту пору была шестидневной, дед нищал, дядя Антон был в семье шестым; старший его брат, отец Розины, будущий наследник надела — как бы ни было трудно — имел уже свое место под солнцем, а Антон не имел его и — так говорили — был отдан вначале в подпаски, а став постарше — батрачил, а позднее был взят в солдаты, потому что у деда не было денег откупить его от рекрутчины.

Хотя армейская служба в Священной Римской империи длилась тогда четырнадцать лет, в походах и сражениях Антон провел всего два года, пока шла с Пруссией война «за баварское наследство», получившая еще прозвище «картофельной войны», потому что почти все стычки в той войне были только из-за провианта. Как война кончилась, солдат сразу же распустили по деревням. И чтобы, пока пушки пылятся, не тратить казенных денег на прокорм людей, солдат стали числить находящимися в отпуске.

В церковных книгах в записях о крещении новорожденных в графе «Отец» обязательно указывалось положение родителя в мире. Меж войнами крестины учащались, и гросс-петерсдорфские патеры то и дело писали в графе «Отец»: «такой-то, солдат в отпуске». Или ничего не писали, что было подчас равнозначно.

Антон был человеком, уже повидавшим большой мир.

И кроме того, оказалось, что он теперь знает грамоту и счет!… То ли в дальних краях освоил, то ли еще подпаском на пригорках по книгам постиг самоучкой науки, пока стадо щипало траву. Грамотные в Хейнцендорфе были наперечет. В ту пору в церковных книгах хинчицкие жители, бывшие свидетелями на свадьбах и восприемниками на крестинах, вместо подписи обычно ставили крест. Это гросс-петерсдорфские расписывались иногда: в Гросс-Петерсдорфе была школа, где преподавал волостной писец по имени Георг Михель. За педагогические труды ему платили на святого Георгия да на святого Михаила по 48 караваев домашнего хлеба, да на зеленый четверг [15] по восемь десятков яиц, к годовщине освящения храма — двадцать три пирога, да на Новый год по 46 крейцеров, да к рождеству и иным праздничным дням — то зерна, то фуражу, то еще чего-либо, и все это сверх особой школьной подати.

На отцовской шее Антон сидеть не мог, тем более что все хозяйство было уже в руках старшего брата, совсем не склонного терпеть иждивенца. А в батраки, как до солдатчины, хоть к родному брату, хоть к господам повидавшему белый свет Антону идти уже не хотелось. Вот он, подобно другим, столь же сильным грамотеям из бывших солдат вроде фонвизинского Цыфиркина, и взялся обучать полтора десятка хейнцендорфских детишек

чтению, счету, письму, молитвам и началам крестьянского ремесла.

Односельчан это вполне устраивало. Отдавать своих ребят в Гросс-Петерсдорфскую школу многих удерживал страх. Хоть Гросс-Петерсдорф и близко, пускать малышей было все-таки боязно: и волки могли напасть, и нечистая сила, и дороги такие, что после дождей не пройти по ним. А невыполнение указа об одноклассном просвещении подданных пахло кошмарным штрафом. Ко всему Антон Швиртлих брал против гросс-петерсдорфского писца вдвое меньше. Писец же не счел его конкурентом, потому что хейнцендорфские дети к нему не ходили все равно. И Антон Швиртлих выбился в люди, приобрел в местном обществе вес, через два года женился на дочке богатого бауэра, на женины деньги купил дом с садом и сразу после этого послал свою учительскую карьеру ко всем чертям.

Но зато теперь и брат его Мартин, в чьих руках оказалось все отцово добро, и Мартиновы дети, и вся остальная родня почитали Антона до самой его смерти. И после нее тоже с гордостью вспоминали, что вот, мол, был у них в роду такой ученый человек, сумевший благодаря своим талантам возвыситься из батраков в учители. И слова Томаша Макиты насчет передавшихся юному Гансу талантов попадали в самое чувствительное место сердца Розины Мендель, урожденной Швиртлих, и ее мужа, конечно, тоже.

А Макита твердил, что Иоганна непременно надо учить дальше, и лучше всего учить в Липнике. Это местечко в четырех милях. Там была четырехклассная Коллегия для обучения Искусствам, Наукам и Ремеслам. На памяти Макиты туда уже попали двое из его учеников и получили уже не одноклассное начальное, а полное начальное образование.

Вопрос этот решали долго, обстоятельно, мучительно. То Липник казался Розине другой, страной, далекой чужбиной, где дитя просто может погибнуть вдали от ее материнских глаз. То захлестывали честолюбивые мечты, что Гансик, выучившись, выбьется в большие люди: может быть, станет волостным писцом или даже учителем, как покойный дядя или вот как Томаш Макита. А то и священником! Мечты перевесили. Отец посадил Гансика на телегу и отвез в Липник.

А там Иоганна приняли — только подумать! — сразу в третий класс. И он не сгинул в четырехмильной чужбине, а тоже восхитил липникских учителей своими способностями и прилежанием, и был регулярно ими отмечаем как «erster Vorzuglicher in der Klasse» — «первый из отличившихся в классе».

Здешние учителя твердили: «Надо в гимназию!» И это

означало, что Иоганн может выбиться даже выше, чем представлялось год назад. И Мендель-старший постановил: «Так надо!» Пусть он не прикупит пару лишних иохов — его капитал идет в хорошее дело. А если он решал «так надо!» — то от решения не отступался. К тому же он выдал замуж старшую дочь Веронику, и в доме появился еще работник — зять Алоис Штурм. Хмурый. Рачительный. Себе на уме.

Ближняя гимназия была в Троппау. Иоганна приняли туда с пансионом «на половинный кошт». Кроме платы, родители должны были присылать с оказиями хлеб и масло для сына. В середине 30-х годов в империи стали улучшаться дороги, и то из Хинчиц, то из Гросс-Петерсдорфа кто-нибудь да ездил в Троппау на рынок. Оказии были. А Ганс учился превосходно.

И может быть, все бы шло вот так хорошо, как и прежде, если б Антон Мендель не решился бы ставить новый дом.

Планы оказались слишком широкими, и дом — еще не достроенный — съел все накопленное крепким бауэром. То было первым из «несчастливых событий», о которых потом в автобиографии поминал Мендель-младший.

И здесь еще можно было как-то крутиться да перекручиваться, но именно в эту пору отец с зятем и дядькой зимним утром поехали отрабатывать «Robot mit dem Pferde» — валить лес для графа Коллоредо, но вместо бревен привезли на телеге Антона Менделя. Его придавило срубленным деревом, и это было самым тяжким из следовавших друг за другом «несчастливых событий»: Мендель-отец навсегда вышел из строя.

А дом надо было достраивать, и долги, в которые влезли, надо было выплачивать. Антон сам ничего почти не мог теперь: Ну возился еще, кашляя от дыма на пасеке, да обхаживал яблони, но уже подрезать ветви и то ему было трудно. А пахоту, да жатву, да уборку картофеля и барщину тянули теперь Штурм с Вероникой и Розина. Ну и одиннадцатилетняя Терезия то скотину выгонит, то корму задаст. А Иоганн все еще жил в Троппау, при гимназии, на половинном коште.

Почти на всех страницах классных журналов фамилия «Мендель» постоянно стояла первой — в ту пору фамилии учеников располагали в журнале не по алфавиту, а по успехам.

И он был типичным первым учеником, прилежным и пунктуальным так, как только может быть прилежным и пунктуальным крестьянский парень, знающий, какие жертвы несет семья ради его обучения. Платить, хоть и половину, следовало за все: за обучение, за койку в дортуаре, за хлеб, за книги.

Но деньги на это теперь из дому не приходили, как прежде.

«…И он, с глубоким почтением нижеподписавшийся, будучи тогда лишь 16 лет от роду, попал из-за этого в печальные обстоятельства, так как был принужден совершенно самостоятельно заботиться о собственном содержании. По сей причине посещал он особый курс «для кандидатов в учителя и частных учителей» в главной окружной школе в Троппау, а так как после сданных экзаменов на аттестат (приложение В) он получил наилучшие рекомендации, ему удалось в период обучения в гуманитарных классах [16] зарабатывать частными уроками, дабы сводить концы с концами».

Так он писал в 1850-м.

Ильтис держал в руках это «приложение В» к менделевской автобиографии.

Оно называлось «Удостоверение о пригодности с наилучшими рекомендациями» и давало право добывать грошовые домашние уроки: осмотрительные родители троппауских лоботрясов соглашались платить свои крейцеры лишь дипломированным репетиторам. И хотя подметки Иоганновых сапог горели, перенося его по булыжнику с урока на урок, и ему — не приученному к разносолам — казалось, что концы с концами сведены, утомление и недоедание стали валить его с ног. Кстати, он и сызмала не был особенно крепким.

Но он все-таки окончил гимназию. Поехал в Ольмюц. Там был университет. Аппетит приходит во время еды — это общепризнано. Но Троппауская гимназия была всего шестиклассной и полного среднего образования не давала. Менделя приняли в другое заведение — в Philosophische Lehranstalt при Ольмюцком университете. Дословный перевод — Философское учебное заведение, или Философские классы — не сообщает нам ничего вразумительного, ибо у заведения не было прямой цели испекать гегелей и кантов.

Оно давало законченное гуманитарное гимназическое образование тем, кто вышел из провинциальной школы. Два его курса соответствовали седьмому и восьмому классам классических гимназий, предназначенных в больших австрийских городах для отпрысков привилегированных сословий империи. Отпрыскам не было нужды в Philosophische Lehranstalt — они учились в классических гимназиях. Сюда поступали дети тех дворян и чиновников, чей кошелек вынуждал пользоваться школой второго разряда. Поступали дети мелких и средних буржуа, которые не были в силах пробить сословные кордоны, и изредка выскочки из самого низа, из сословия пашущих землю,

такие, как Ганс Мендель.

«Теперь мы должны познакомиться с Австрией, со страной, которая до марта 1848 года была почти так же недоступна взорам иностранцев, как Китай до последней войны с Англией» [17] — такими словами в 1851 году Энгельс начал одну из своих статей для «Нью-Йорк дейли трибюн», посвященных обзору политических событий середины XIX века [18].

Она занимала центр Европы, эта огромная «лоскутная» многонациональная монархия. В ее строе на свой лад проявлялись черты уклада, хорошо известного нам по быту николаевской России.

Жизнью этой империи распоряжался Меттерних — умнейший, хитрейший, подлейший — столп «Священного Союза».

Используем точное свидетельство такого замечательного современника той эпохи и тонкого аналитика, как Энгельс:

«…Правительство князя Меттерниха, — писал он в уже цитированной статье, — руководилось двумя принципами: во-первых, каждую из различных наций, подчиненных австрийскому государству, держать в узде при помощи всех остальных наций, которые находились в таком же положении; во-вторых, — и таков вообще главный принцип всех абсолютных монархий — опираться на два класса: на феодальных землевладельцев и на крупных денежных воротил, уравновешивая в то же время влияние и силу каждого из этих классов влиянием и силой другого, чтобы у правительства, таким образом, оставалась полная свобода действий.

…Огромные барыши, которые банкиры, биржевые спекулянты и государственные поставщики постоянно умеют извлекать из абсолютной монархии, возмещались почти безграничной властью правительства над их личностью и имуществом. Поэтому с их стороны нельзя было ожидать и тени оппозиции. Таким образом, Меттерних мог быть уверен в поддержке двух самых могущественных и влиятельных классов империи, а кроме того, он располагал армией и бюрократией, которые были организованы как нельзя лучше для целей абсолютизма. Гражданские чиновники и офицеры австрийской службы образуют особую породу людей, их отцы служили императору и их сыновья тоже будут служить ему… они с одинаковым презрением относятся к венгру, поляку, немцу, румыну, итальянцу, хорвату и т.д. — ко всякому лицу, не носящему на себе печати «императорско-королевской» должности и обнаруживающему особый национальный характер…

…Всякая старинная, прочно установленная, наследственная

власть охранялась в такой же мере, как и власть государства… И любое проявление непослушания каралось так же, как нарушение закона, посредством универсального орудия австрийского правосудия — палки.

Наконец, чтобы объединить в одну всеобщую систему все эти попытки создать искусственную устойчивость, духовная пища, которая разрешалась народу, отбиралась с самой тщательной предосторожностью и отпускалась до крайности скупо. Повсюду воспитание находилось в руках католического духовенства, верхушка которого наравне с крупной феодальной знатью была глубоко заинтересована в сохранении существующей системы. Университеты были организованы так, что они могли выпускать только специалистов, способных в лучшем случае достигнуть больших или меньших успехов во всевозможных специальных отраслях знания, но они совершенно не давали того универсального, свободного образования, которое, как предполагается, можно получить в других университетах.

Периодической печати совершенно не существовало, за исключением Венгрии, но венгерские газеты были запрещены во всех остальных частях монархии. Что касается литературы общего содержания, то ее сфера за сто лет нисколько не расширилась; после смерти Иосифа II она даже снова сузилась. И на всех границах, где только австрийские области соприкасались с какой-либо цивилизованной страной, в дополнение к кордону таможенных чиновников был выставлен кордон литературных цензоров, которые не пропускали из-за границы в Австрию ни одной книги, ни одного номера газеты, не подвергнув их содержания двух-трехкратному детальному исследованию и не убедившись, что оно свободно от тлетворного влияния духа времени» [19].

Этот мир должен был представляться. Иоганну Менделю гигантской ступенчатой пирамидой. На самом ее верху — уже под богом — были император и папа. По воле божьей они предопределяли, когда воевать и как молиться, и тем самым предопределяли судьбы дел и душ всех нижерасположенных смертных. Ступени пониже занимали соответственно очень высокие, просто высокие и менее высокие господа, жившие райской, почти райской и просто легкой жизнью — красивой, как их мундиры, или цветные костюмы, или сутаны. Еще ниже, отделенные всего одной ступенью от него самого, были непосредственные исполнители воли августейших, совсем высоких и просто высоких особ: глава магистрата, приходский священник, жандармский вахмистр.

Но и под той ступенью, на которой были и он сам, и папенька Антон, и маменька, и сестры, — тоже была ступень более низкая, самая низкая — на ней были те, кто не сумел выбиться из домовников-хойслеров в хозяева-бауэры. На нее легко могла сызнова скатиться и семья самого Иоганна. Особенно теперь, после несчастья с отцом.

Он мог пожертвовать всем, к чему стремился доселе, стать в доме работником и удержать себя и своих близких на этой ступени.

А мечтать он мог лишь о рывке всего на одну ступень вверх — на ступеньку мелких чиновников, приходских священников и учителей четырехклассных «коллегий для обучения искусствам, наукам и ремеслам». Приступочка, где ютились учителя прогимназий, «унтер-гимназий» — таких, как Троппауская, — была уже почти недостижимой. Для той приступочки надо было кончить университет, а он попал еще только в Философские классы.

Это формально светское заведение для большей части своих питомцев было не этапом перед университетом, а финишем их образования.

Большая часть педагогов Philosophische Lehranstalt были священниками. Именно они и только они преподавали половину предметов курса. Во-первых, этику, которая представляла собой не что иное, как развитие нравственного учения католицизма. Во-вторых, религию, то есть догматику католицизма, обзор учений отцов церкви, католическую церковную литературу. Далее следовали два курса, «теоретическая» и «практическая философия», которые тоже были философией католицизма и в которых вся история мировой мысли, вплоть до самых современных учений Канта, Шеллинга, Гёте и Гегеля, рассматривалась сквозь призму церковного мировоззрения. Такой была половина предметов. Вторая половина состояла из обычных, светских: латынь, немецкая литература, математика. Но даже физику в Философских классах преподавал монах ордена премонстрантов патер Фридрих Франц. И физиком преподобный господин Франц был действительно хорошим. Превосходным!… Падре Канизио ван Лиерде, епископ и генеральный викарий в Порфиреоне, в своей статье о Менделе, полемизируя с Ильтисом, подчеркивал, что задачей Philosophische Lehranstalt была подготовка кадров священнослужителей. И здесь епископ не грешил против исторической правды. Философские классы в большей мере были просто государственной семинарией, готовившей будущих «фараржей» (ксендзов) для дальних приходов, чем учебным заведением, призванным заполнять

прорехи в образовании молодых людей, закончивших тогдашнюю австрийскую неполную среднюю школу и рвавшихся в университет. Однако само обучение здесь не накладывало никаких обязательств, кроме обязательства платить за него, и, окончив классы, можно было бы идти не в священники, а в учителя или в чиновники, если бы подвернулась вакансия. Если бы только подвернулась!…

Но прежде надо было окончить классы. И надо было как-то просуществовать два года.

«Когда нижеподписавшийся окончил гимназию в 1840 году, — исповедовался Мендель позднее, — его первой задачей было обеспечить себе необходимые средства для продолжения своей учебы. Поэтому он предпринял в Ольмюце неоднократные попытки предложить свои услуги как частный учитель, но все его старания оставались безуспешными из-за отсутствия друзей и рекомендаций».

Ни единого завалящего урока не мог он добыть. Хотя бы с самым последним остолопом. Хотя бы за обед в день занятий!… В Троппау удавалось перебиваться: его рекомендовали в репетиторы то учителя, то одноклассники. В Ольмюце не было ни единой знакомой души, а конкурентов-репетиторов из университетской голытьбы — пруд пруди.

Родители выкраивали для него какие-то жалкие крейцеры, тех крейцеров не хватало на самое важное, на то, чтоб хотя бы держаться на ногах. И в его ольмюцком табеле, в строке, предназначенной для отметок за второй семестр 1840/41 учебного года, появилась запись, тянувшаяся через все графы: «Wahrend der Priifungen krankheitshalber ausgetreten» — «Отсутствовал на экзаменах по причине болезненного состояния».

«Горе из-за этих обманутых надежд и печальные виды на будущее так сильно подействовали на него тогда, что он заболел и для восстановления сил вынужден был провести год у своих родителей» — так было написано в автобиографии.

Не протянув в Ольмюце и года, он свалился с ног. И теперь все рушилось, и все родительские капиталы — денежные и душевные, вложенные в эту затею с его ученьем, должны были пойти прахом.

Он отдышался в Хейнцендорфе. Вернее, отъелся.

И летом 1841 года в доме Менделей произошли важные события. Они были очень важными, но мы о них знаем мало, хотя

в те дни июля — августа 1841 года о происходившем в доме Менделей судачило полдеревни — родня, свояки — Швиртлихи, Блашке, Калихи.

Вот что известно точно: в итоге этих событий Мендель-отец продал хозяйство зятю. Алоис Штурм обязался выплачивать Иоганну десять флоринов в год. Двенадцатилетняя Терезия отказалась от приданого в пользу брата, и осенью 1841-го Иоганн снова вернулся в Ольмюц и начал сначала — с первого курса — учебу в Философских классах. И он, Иоганн, чье истинно католическое смирение, чью любовь ко всем без исключения ближним ван Лиерде и Освальд Рихтер расписывали весьма длинно и не всегда доказательно, всю свою жизнь с подлинной нежностью и заботой относился к младшей сестре Терезии, к ее мужу и детям, но к семье старшей сестры, к потомству Алоиса Штурма проявлял явную сдержанность. В конце книги будет у нас повод проиллюстрировать это.

Видимо, было так.

Папаша Антон все твердил, что Гансу надо бы доучиться. Хоть он и был теперь слаб, от принятых решений он не привык отступаться. А старшая дочь и Алоис уже два года как прибрали к рукам все хозяйство и ворчали, быть может, какого черта они должны сейчас гнуть спину на этого дармоеда, который доучится на их заработанные потом крейцеры, а после еще станет хозяином дома, надела и всего добра, а они останутся у него в батраках!… Им нужно быть уверенными, что их не обмишурят.

Ильтис опубликовал договор, заключенный между отцом и Штурмом. По сути, это был раздел имущества меж наследниками при живом отце.

Все переходившее в руки Алоиса Штурма было тщательно переписано в договоре: новехонький дом, пашня, сад, две лошади, две коровы, а также еще теленок-бычок и телочка. Была записана птица: особо куры, особо петух.

Было записано, что именно из имущества и какую сумму денег Алоис Штурм будет должен отдать в приданое за Терезией Мендель, когда она вырастет и соберется замуж.

Было оговорено, что Антон и Розина должны до конца своих дней жить в проданном зятю доме и зять обязан полностью их содержать.

Далее следовал пункт об Иоганне:

«Покупатель обязуется выплатить 100 (сто) флоринов компенсации сыну продавца Иоганну, если он по своей воле поступит в священники или каким-нибудь иным путем будет содержать себя сам, а также обязуется выплачивать ежегодно 10

(десять) флоринов отцу в качестве помощи и поддержки на расходы по его обучению, а равно и погасить расходы по первой после его рукоположения мессе. Если же несчастный случай воспрепятствует означенному сыну Иоганну получить сан священника или он не сможет каким-либо иным способом содержать себя самостоятельно, то он после смерти отца должен иметь возможность пожизненно и безвозмездно пользоваться жилищем в отцовском наделе и осьминой с каждого поля пашни».

Все поделили. Все предопределили. Алоис Штурм считал, что большего от него никто не вправе ни ждать, ни просить. Обязательств взято предостаточно.

Тестю и теще — кусок хлеба до скончания дней. Свояченице Терезии — приданое.

Шурину Иоганну сто флоринов отступного и по десять на каждый год учебы! А милый Гансик только ведь и знал, что учиться в городе да просить присылки того да другого, и того гляди, еще сызнова свалится с ног, как этой зимой, не устроится в жизни и тоже сядет навек на шею. Будет он работать иль нет, а по договору ему осьмину со всего урожая!

И десять-то флоринов тоже ведь деньги! Это там в городе они между пальцев шурина уплывут, как вода. А чтоб их выручить, надо продать не меньше чем две, а то и три полновесные венские шестиведерные меры зерна — почти мешок каждая [20]. А то и больше — если цены на рынке плохи. Ну-ка попаши, да побороную, да посей, да полную зиму поболей душою, не мало ли снега легло, не слишком ли сильны морозы, да полную весну и полное лето гляди в небо с тревогой — то туманы да поздние заморозки, то сушь, то дождь не к месту, то град да ветер. Да в самую страду, когда зерно вот-вот осыплется, отработай сначала «Robot» на господских полях и только потом убери свой хлеб, да заскирдуй, да обмолоти, да провей, да отвези зерно на рынок. И в Хейнцендорфе, в Хинчицах много не выручишь, и в Одрау тоже. Только в большом городе — может, за пять, может, за восемь миль от дому — получишь полновесные флорины, да из них заплатишь и за постой, и рыночные сборы, и дорожные пошлины. А ведь лишних флоринов на свете не бывает — каждая денежка может найти себе место в семье и в хозяйстве.

Так уж ведется испокон века: если ты не наследуешь отцовский надел — по майорату ли он перешел к старшим или вот из-за обстоятельств, — иди и служи. И у господ так заведено и у простых людей. Не получил отцовского надела или удела — будь ты хоть дворянский сын, а служи — в армии, в в канцелярии или в церкви. Если ты, конечно, не графских кровей и еще неуч,

тогда одна дорога — в батраки, А Иоганн — ученый. И еще ему сто двадцать флоринов выделено. И если он еще сам поднатужится, то получит в этих Философских классах все, что нужно нормальному попу. Не столь уж плохая это должность: мессы служить да прихожан наставлять, чтоб не крали, не развратничали, не ссорились, не дерзили высшим — дело не хитрое. А кусок хлеба верный. Теща, да тещина родня, да сам Иоганн все твердят, что у них, мол, в роду был учитель. Припекло Антона Швиртлиха, да не захотелось в батраки, вот и стал учителем и через это нашел себе место в жизни. И Ганс найдет, если не будет хотеть слишком многого.

V. РЕМЕСЛО СПАСЕНИЯ ДУШ

Три вещи: церковь, море, дворец.
Избери одну — и нужде конец.

Бруно Франк в романе о Сервантесе писал, что была такая поговорка при императоре Карле V — во времена, когда во владениях Габсбургов «не заходило солнце».

Поговорка обобщала все до предела.

«Дворец» — любая государева служба, любой пост от гофмаршала и посла до самых низших — сборщика податей или писца в захудалой канцелярии.

Но уже с давних времен не только к высшим дворцовым должностям, но и в самые низкие слои бюрократии проникнуть можно было лишь сквозь игольное ушко. В одной из статей К. Маркс привел меткое высказывание современника: в Австрии государственной службы добивались только две категории людей — добровольные шпионы и разорившиеся дворяне. Дворянином Мендель не был, а к фискальству склонности не проявил, вот и оказалась государственная служба для него недоступной.

В этом мире не было свободных вакансий. В старой, обобщавшей все до предела поговорке под «морем» подразумевалась и флотская служба и армейская. Словом — доля ландскнехта, платящего скитаниями в вонючих трюмах и цингой, и собственной кровью за свою ерундовую долю в грабеже и за новые куски во славу имперской короны, все равно — захваченные или удержанные, или проигранные, все равно — под боком ли, в Гессене, или на Апеннинах, или за тридевять земель.

И в австрийской, и в армиях разных германских княжеств, и во многих дальних армиях были не только рекрутированные, но и наемные солдаты, унтеры и фельдфебели — бравые, хищные, знавшие толк и в шагистике и в поживе. Но разве для Иоганна эта доля? Он не годился в нее и по хилости и по складу. И для того ли оканчивал четыре «грамматических» и два «гуманитарных класса» в Троппау и лишь по несчастью потерял первый год классов философских!…

Оставалось одно: церковь.

Только она могла дать ему возможность перейти с отведенной ему от рождения ступени австрийской общественной пирамиды на другую.

Сын Терезии Мендель — Алоис Шиндлер — писал впоследствии, что немалую роль в выборе Иоганном Менделем пути сыграла Розина Мендель. Она была очень набожной и мечтала, чтобы сын ее служил богу. Вряд ли, однако, ее планы

шли слишком далеко. Вряд ли сутана, в которой она в своих грезах видела сына, была красной, кардинальской. Пусть будет Иоганн приходским священником — в селе или в городе. Это и угодное богу дело и вполне обеспеченное положение.

Что ж, попробуем взглянуть на дело глазами членов менделевской семьи и людей его тогдашнего круга, рядовых обывателей моравских городов и сел.

Священнослужение было ремеслом, которое считалось общественно необходимым.

Начнем с того, что церковь была вершительницей законов и актов гражданского состояния: некрещеный считался вроде бы неродившимся, невенчанные не были и супругами перед законом (в то время, кажется, только во Франции был уже признан гражданский брак). И неважно, как именовался в каждом случае жрец религии и закона: фараржем, ксендзом, пфарером, патером, пастором, муллой или раввином, — именно церковь в самом широком значении слова исполняла обязанности органов загса.

К тому же «бог» — это было одно из самых первых абстрактных понятий, которое всенепременно вкладывалось в мозги сызмала. Кстати, не столь уж оно было абстрактным: за полуторатысячелетнее существование христианской церкви художники — несть им числа! — от бездарных и безвестных до Рафаэля, Микеланджело и Рубенса создали бесконечное число насыщенных плотью, мыслью и чувством образов, которым надо было поклоняться. Весь мир, все вещи в психологии средневекового человека были насыщены потусторонними силами, и он пытался, несмотря на всю их «сверхъестественность» и «непознаваемость», представить себе эти силы зрительно. Императивное требование поклонения по определенному обряду, по раз и навсегда определенным формулам-молитвам вкладывалось в Детские мозги вместе с самыми первыми представлениями, понятиями, житейскими правилами. Искони были заведены для обрядов специальные здания. Заведены и оснащены всем, что для обрядов нужно, и даже сверх того. И потому необходимость существования профессиональных вершителей обрядов, хранителей храмов, изображений бога и потребного для всего этого дела оснащения по элементарной логике представлялась естественной почти всем сызмала и до конца.

Священник, наконец, нес обязанности «пастыря душ» — он был в глазах прихожан наделен особой способностью непосредственно общаться с богом, а потому и властью наставника в вопросах нравственности и политики. Он был обязан и оптом и в розницу формировать мнение своего прихода,

контролировать колебания, предупреждать распространение неугодных церкви и государству мыслей. Он был проводником совершенно определенных идей и предписаний, которые получал «свыше» не столько от бога, сколько в чисто земном чиновничьем значении этого слова — из соответствующей церковной канцелярии, которая согласовывала требования текущего момента, как общецерковные, так и общегосударственные и местные.

Священнослужение было ремеслом, профессией, столь же определенной, как и профессия учителя, которую, кстати, сельский священник (да и городской), как правило, совмещал. Как профессия судейского стряпчего или канцелярского чиновника.

И оценить роль каждого из тогдашних служителей культа в жизни его прихода дело не столь простое. Священники не падали на землю с неба: каждый из них был выходцем из определенной среды — из разных сословий. Он нес на себе отпечаток и взглядов среды, из которой он происходил. Но он срастался и с интересами людей, среди которых служил. Тогдашний приходский фарарж не только служил мессы и отправлял требы — крестил, конфирмовал, проповедовал, исповедовал и отпевал. Он был и лекарем и третейским судьей в общинных спорах, а случалось — и защитником перед властями, вполне добросовестным, подчас самоотверженным, хотя и недостаточно могущественным, ибо нередко конфликт его с властями становился для него конфликтом не только с властями светскими, но и с церковными — со своим непосредственным начальством, имевшим право лишить его прихода, лишить сана и подвергнуть прочим карам, если он не догадается своевременно заткнуться.

Регламент монашеской жизни неминуемо приводил католического священника — он же оставался человеком — к необходимости нарушать его. Он отрекался полностью от собственности, но ему как человеку надо было жить, есть, не мерзнуть от холода и иметь какой-то запас на черный день. Ему, отрекшемуся от собственности, и самой религией и простой человеческой нравственностью предписывалось заботиться о своих родичах, если они бедствовали. И ему предписывалось хранить и умножать богатство церкви! И ко всему он жил в мире, где все стремились умножать собственное богатство. Трудно ли запутаться?…

А целибат в предписанном ему регламенте был пунктом, для большинства здоровых людей неисполнимым. И недаром римская церковь отнесла грех прелюбодеяния — «нарушение шестой заповеди» — к числу тех, которые может отпустить любой

исповедник даже священнику. Самое страшное, что могло последовать, — объяснение в епископате и эпитимия. Правда, если связь носила характер семейный, прежде чем грех отпустить, семью разрушали. Но в конце концов грех можно и скрывать и не торопиться с его искуплением.

И потому в веселых шванках, которые хинчицкие жители рассказывали друг другу за стаканом вина или домашнего пива, немало едкого говорилось о жизни священников, их галантных похождениях и жадности. Но, право, шванки — весьма демократичный род литературы, и крестьянин, сочинитель шванка, был по-здравому снисходителен, понимая, что и монаху ничто человеческое не чуждо, и осуждал его не просто за нарушение регламента монашеской жизни, а лишь в том случае, когда это «человеческое» оказывалось не чуждо священнику чрезмерно.

Мендель был простым крестьянским парнем. И все, что происходило в его деревне, было ему известно. Ему были известны и шванки и сплетни — в деревне все на виду. И все на виду было в городке Липнике и в «больших», по тогдашним моравским масштабам «очень больших» Троппау и Ольмюце.

И в доме, числившемся в Хейнцендорфе под нумером 58, карьеру приходского патера обсуждали по-деловому он сам, и все члены семьи, и дальние родичи — из тех, с кем советовались, решая вопрос о разделе добра и земли и прочее, зависящее от этого раздела. Религиозные проблемы примешивали к строго житейским вещам лишь в самых разумных дозах. И еще Штурму была нужна твердая гарантия, что Иоганн никогда не сможет претендовать на отцовский дом и надел.

В договоре купли-продажи хозяйства появился пункт:

«Сыну продавца Иоганну, если он по своей воле поступит в священники…»

Это был капкан. Взяв деньги, он уже клялся тем самым, что все последующее — дело его доброй воли. А без денег шагу нельзя было ступить.

Однако и ста двадцати флоринов на два года учебы и жизни ему хватить не могло. Он это знал заранее твердо. Ему не хватило бы их, даже если бы удалось то, что не удалось в прошлом году, — добыть урок-другой.

Он заранее знал, что денег не хватит, и говорил об этом до отъезда в Ольмюц. Разговоры были, правда, простым сотрясением воздухов. От Штурма и Вероники ждать более было нечего, а родители теперь в доме не хозяева. И он кинулся в Ольмюц как в воду — будь что будет.

А на следующее лето, как всегда, он приехал на каникулы в

деревню.

И как всегда, в его табеле сплошь стояли латинские «em» — «eminentius» — «отличившийся», «отличнейший», «превосходнейший». Табели в гимназии и в Философских классах заполняли по-латыни. Только по «теоретической философии» преподобный профессор Витгенс вкатил ему отметку похуже — единицу. Правда, и эта единица была высокой оценкой — счет баллов и в нынешней чешской школе ведется в обратном порядке. Но ему, крестьянскому сыну, чтобы добиться места под солнцем, надо было быть во всем «превосходнейшим».

Конечно, у него был полон рот рассказов. Рассказы слушали родители и Терезия. Снова — о господине поэте Гёте, сочинения которого изучались в курсе литературы и поминались в курсе естественной истории. О преподобном Фридрихе Франце, преподававшем физику.

Все свободное время Иоганн вертелся подле него. А Франц был учеником самого барона Ваумгартнера, который прежде профессорствовал в Ольмюце, а теперь занимал в Вене важные посты в правительственных учреждениях: он стал директором всех фарфоровых и стекольных заводов империи, а еще преподавал в университете, писал ученые книги и издавал специальный журнал «Zeitschrift fur Physik und verwandte Wissenschaften» [21].

Франц удивительно интересно преподавал: не столько рассказывал, сколько ставил опыты. Например, опыт знаменитого Торичелли, показывающий, что природа действительно не любит пустоты, но только до определенного предела.

Иоганн сам ставил опыты под присмотром патера Фридриха — и с ртутью, и с льняным маслом, и с водой, и с молоком, показывая, как атмосфера давит на разные жидкости. Профессор Франц еще наблюдал в телескоп за пятнами на солнце. Зарисовывал их и следил, как они перемещаются по лику светила. И еще патер Фридрих увлекался дагерротипией: эту мудреную штуку изобрел один французский художник. На человека наводили отверстие ящика. Потом в ящик вставляли пластинку, и на пластинке получалось изображение человека, на которого ящик был наведен.

Именно благодаря усилиям Фридриха Франца, этого физика из ордена премонстрантов, дагерротипия распространилась по всей Моравии (и в наших руках очутились фотографии Менделя).

Иоганн работал с отцом в саду и рассказывал. Работал на пчельнике и рассказывал. Помогал зятю Штурму в поле и молча думал, сможет ли одолеть самый последний кусок пути длиной всего в один год. От ста двадцати флоринов уже почти ничего не

осталось.

Еще он писал тогда стихи. В гимназии к литературе приобщали серьезно. Он переписывал для себя наиболее полюбившиеся строфы знаменитых поэтов. Терезия сохранила страничку с гётевской «Лилой». Ему было двадцать. В этом возрасте стихи почти неизбежны.

Однако Поклонение Гёте не помогло. Образец был слишком сложен. Те строки Менделя, что дошли до нас, отдают скорее Клопштоком. Это белые стихи о первопечатнике Гутенберге, точнее — монолог первопечатника. Вот строки из него:

Зачем был создан человек?
Зачем щепотке праха
Неисповедимо высокое существо
Вдохнуло жизнь?…
Вы — буквы, отпрыски моих исканий!
Вы — крепкая скала, на коей
Навеки славы храм моей
Воздвигнуть я решил!
По воле мастера должны вы
Суеверий сумрачную ночь,
Что тяжко по земле влачится,
Рассеять. И затем
Извлечь на свет и сохранить
Творения мужей великих,
Пока еще доступные немногим…

И эти стихи сохранила, конечно же, Терезия: и листок, где они были начертаны начисто каллиграфическим, удивительно ровным и красивым почерком Иоганна, и исчерканный вдоль и поперек черновик.

Терезия, тринадцатилетняя веселая толстушка-болтушка, была самой благодарной слушательницей всех его рассказов — пусть не всегда ей понятных. Если Вероника, сухая, угрюмая, видела в Иоганне, как и ее муж, только обузу, только ущерб их благополучию, Терезия и по складу своему и по детскости не могла смотреть на него с той же кочки. Он был самый умный, самый добрый и ласковый, как матушка Розина. Он был такой ученый, и ему было трудно. Терезия обожала брата и была готова всем, чем могла бы, для него пожертвовать.

И пожертвовала.

Приданым.

Алоису Штурму было сказано, чтобы он выплатил денежную часть ее приданого Иоганну.

Не без участия матери, видимо, пришел ей на ум этот шаг.

Кстати, ее пожелание без согласия матери и отца вряд ли могло осуществиться.

Это был поступок разумный, исходивший из интересов всей семьи: столько было уже вложено в Иоганнову учебу!… Если он не дойдет до цели, все окажется выброшенным зря. А окончив Философские классы, Иоганн успеет до свадьбы устроиться и вернуть долг. Замуж в Хейнцендорфе рано не отдавали. У них в роду, если считать даже прапрабабок, из всех женщин лишь три пошли под венец в восемнадцать — в том числе, кстати, и Вероника. Все прочие — в двадцать три, в двадцать пять лет. Риск был не очень велик, но он был все-таки. Семья знала, как обрушиваются подчас беды. И Терезия — хоть ее неведомый пока жених еще гусей пас, наверное, и играл со сверстниками в войну с Бонапартом или турками или в жандармов и разбойников — знала в свои тринадцать лет, какая судьба бывает у бесприданниц. Деревенские дети куда трезвее в житейских вопросах, чем деликатные барышни. И кстати, перед глазами у нее был совсем другой пример отношения к ближним — Вероника.

А Мендель до конца своих дней не забыл о жертве, принесенной младшей сестрой. Он поставил на ноги трех ее сыновей. Он старался отплатить ей как мог.

И Штурмам тоже. Правда, не нарушая приличий.

VI. КАК ПИШУТСЯ РЕКОМЕНДАЦИИ

Он словно бы оправдывался в той единственной автобиографии:

«В следующем году с глубоким почтением нижеподписавшийся оказался, наконец, в состоянии обеспечивать себе самое насущное в Ольмюце побочными занятиями и благодаря этому продолжить свое обучение. Путем напряжения всех своих сил упомянутому удалось закончить оба годичных курса философии (приложения D, E, F, G). С глубоким почтением нижеподписавшийся почувствовал, что не сможет далее выдерживать подобное напряжение, и увидел, что по завершении курса философского обучения ему придется изыскивать для себя положение, которое освободило бы его от мучительных забот о хлебе насущном…»

Именно этот пункт был центральным в дискуссии среди биографов.

Ильтис однозначно трактовал процитированные слова: голод вынудил пойти на компромисс с действительностью, и человек, стремившийся к науке, стал слугой церкви.

«Ильтис пытается приписать Менделю двойственность, даже двоедушие, в то время как облик великого ученого отличается удивительной цельностью!», — восклицал Рихтер.

Монсеньер ван Лиерде писал, что все факты свидетельствуют о глубокой и искренней религиозности Менделя с самого детства. Уже одно, что он учился в Философских классах, которые были как бы семинарией — многие их выпускники становились священниками, — по мнению ван Лиерде, доказывает, что Мендель готовился к духовной карьере. Но просто в 1843 году вакансии светского фараржа ему не подвернулось. Обстоятельства заставили Менделя лишь пойти в монастырь, то есть связать себя более строгим регламентом. Вот так.

Новых документов оппоненты не представили. Они опирались на те же, опубликованные Ильтисом, — на злополучный договор купли-продажи с пунктом: «Сыну продавца Иоганну, если он по своей воле поступит в священники», и на текст автобиографии — он приведен здесь нами.

Анализируя его, современный биограф Менделя, покойный Ярослав Кржиженецкий писал:

«Он честно признает, что вступление в монастырь было продиктовано не религиозностью, а материальными трудностями и страстью к науке, удовлетворить которую можно было лишь в условиях беззаботной монастырской жизни».

И тем солидаризовался с первым биографом.

Как же все это выглядело?…

…Когда он привез впервые домой в Хинчицы свой гимназический аттестат и «удостоверение о пригодности», бог мой, что было!…

Сколько раз любовались ими отец, и мать, и Терезия!…

Специально отмывали руки от земли, от брызг извести, если перед тем обмазывали яблони, и благоговейно разворачивали на чистой домотканой скатерти все эти произведения тогдашнего писарского искусства. Разворачивали, дабы самим ими полюбоваться и продемонстрировать родне и односельчанам вещественные, скрепленные жирными имперскими орлами доказательства высоких степеней, которых достиг их Иоганн, их Ганс!… «Видит бог! — горделиво повторяли Мендели всем прочим Менделям, Швиртлихам и, конечно же, прижимистым Штурмам — всей родне, односельчанам и себе самим, наконец. — Видит бог, мы ничего для него не жалели!»

Плотная гербовая бумага, золотые обрезы, идеальная каллиграфия по-молитвенному непонятного латинского текста разложенных на столе свидетельств, казалось, мостили для Иоганка сверкающую гладкую дорогу, по которой он теперь уже прочно войдет в другую, чистую жизнь, где труд, слава богу, будет легок (ведь тяжелый ему не под силу!), где блага будут доступны и, может быть, столь обильны, что часть их достанется всем. И тогда старый папаша Антон сможет спокойно греть на солнышке свою больную после той истории с бревном грудь… Такими были грезы, а плоды, полученные ценою жертв, принесенных семьей, и собственного Иоганнова труда и терпения, оказались на деле совсем не столь сладкими. Все вернулось «на круги своя» — к тому, с чем он столкнулся два года назад в первые месяцы ольмюцкой жизни. Свидетельство из Философских классов ничего не прибавило, и ему еще раз пришлось убедиться, сколь мала ценность водяных знаков, золотых обрезов, гербовых орлов и писарской каллиграфии, удостоверяющих прилежание и успехи, если вместе с покорнейшим прошением о пусть самой скромной из казенных должностей их кладет на чиновничий стол сын крестьянина, три дня в неделю обязанного отбывать барщину.

Для империи Габсбургов вопрос состоял совсем не в том, достоин или недостоин господин Мендель просимой должности, соответствуют или не соответствуют ей его способности и образование, а в том, допустимо ли, чтобы представитель низшего из сословий перешел в другое сословие подданных

императора Фердинанда I (это он восседал на троне в 1843-м, племянник Франц-Иосиф сменил его в 48-м году).

А вот на сей счет олицетворяющие империю господа директора, попечители и начальники имели уже мнение да и указания вполне определенные, и реализовали они их в резолюциях с неукоснительностью. И поэтому наяву, а не в сладких снах папеньки Антона, маменьки Розины и добрейшей сестрицы Терезии перед Иоганном простиралась не гладкая дорога в устроенную чистую жизнь, а лишь булыжные ольмюцкие мостовые.

Он уже много ходил по этим мостовым и в первый год Философских классов, и во второй, и в третий. Ходил от двери к двери, дергал за истертые многими ладонями ручки звонков, встречал настороженные лица горничных («как бы господин голодранец не наследил на вощеном полу!»), встречал поджатые губы хозяев: «Аттестаты у вас отличные, но мы предпочитаем репетиторов по рекомендациям знакомых нам людей. У вас в Ольмюце нет знакомых? Сколько вы хотите за уроки? Репетитор, занимающийся с мальчиком кузины, берет на 30 крейцеров меньше». Если бы патер Фридрих, физик, не нашел ему в последний год уроки, он бы никогда не кончил Философские классы. Приданое Терезии ушло на плату за обучение, а кормиться надо было самому.

В этом мире не оказалось свободных вакансий — ни в канцеляриях, ни в школах. Быть может, их не оказалось, и в сельских приходах, как предположил падре Канизио ван Лиерде.

В мае 1843 года Иоганн Мендель мог думать только о карьере репетитора, слишком хорошо ему знакомой. А когда унылая физиономия тупицы, неспособного запомнить, какие же это восемь латинских существительных на «ер» приобретают в «генетивус сингулярис» окончание не «ри», а «ери», становится недостижимой целью жизни, — право, захочется, плюнув на все, Искать хоть какой-то устроенности дома, помогая отцу прививать господские яблони… Все-таки есть какая-то крыша над головой и пусть черный крестьянский хлеб, но заработанный собственными руками.

Гуго Ильтис заметил по этому поводу метко:

«…Еще немного, и в Моравии стало бы одним крестьянином больше и еще одним бессмертным ученым меньше».

Мендель сам объяснил в автобиографии, как все получилось:

«С глубоким почтением нижеподписавшийся почувствовал,

что не сможет далее выдерживать подобное напряжение, и увидел, что по завершении курса философского обучения ему придется изыскивать для себя положение, которое освободило бы его от мучительных забот о хлебе насущном. — Так было написано им семь лет спустя и далее шло: — Его обстоятельства предопределили избрание им рода занятий. В 1843 году он испросил согласие, и получил его, и был принят в августинский монастырь святого Томаша в Альтбрюнне…»

Он многое недосказал: ни слова о продаже надела, ни слова о сестре. Впрочем, ведь это официальная автобиография, в ней не до сантиментов.

И вообще, видимо, в ту неудачную пору он был несколько замкнутым, отгороженным от сверстников, от однокашников. Развлечения коллег по школьной скамье в Ольмюце были ему недоступны: не до жиру. Каждую минуту он занимал трудом, и чтоб прожить, и чтобы познать, и чтобы непременно добиться в каждой клеточке экзаменационного табеля отметок «em.» — «eminentius», «отличившийся». Только эти сплошные «em.» давали ему хоть какую-то надежду на победу в конкуренции. Да и любого, кто обременен заботами, тянет к людям, знающим цену забот. К старшим.

Но среди старших — среди педагогов — лишь один человек проявил участие к нему. Патер Фридрих Франц, профессор физики, монах ордена премонстрантов. И запрос, который, по словам Менделя, был послан в августинский монастырь, был написан рукою патера Фридриха.

Собственно, это не казенная бумага. Это личное письмо, адресованное кому-то из членов монастырского капитула. Давно известно, сколь различаются по эффекту официальные запросы и дружеские письма — вот такие:

«Достопочтенный коллега! Дорогой друг!

Получив Ваше любезное послание от 12 июня, я ознакомил своих учеников с решением Его Высокопреподобия господина прелата о зачислении в Ваш монастырь кандидатов, которые достойны, конечно, соответствующих рекомендаций. К сему моменту о своем желании мне сообщили двое, из которых мне мыслится возможным рекомендовать лишь одного. Упомянутого зовут Иоганн Мендель, он родом из Хейнцендорфа в Силезии; отмечу, он обладает весьма солидным характером и за оба года учения получал по философии почти сплошь отличные оценки. По моему же предмету я позволяю себе считать его почти наиотличнейшим. Он также несколько знает по-чешски, но

поскольку сии познания недостаточны, изъявил готовность в течение тех лет, что предстоит ему посвятить теологическим занятиям, приложить все силы, дабы и в чешском языке достичь полного совершенства. Итак, прошу, присовокупив к сему выражения моего глубокого почтения, сообщить все это Его Высокопреподобию господину прелату, — и да не ботанизирует более! — а также прошу поставить меня в известность о том, что он намеревается предпринять в дальнейшем. Каждый день мы вспоминаем о нем с профессором Витгенсом, который просил передать поклоны и Его Высокопреподобию и еще патеру Зюссеру. А от меня поприветствуйте своего доброго брата Мейнгардта, которому я напишу в ближайшие дни.

Сердечно обнимаю Вас в своих мыслях, дражайший! Остаюсь в дружбе и любви.

Ваш искренний друг

Фридрих Франц.

Ольмюц, 14 июля».

Не правда ли? Обычное письмо, ничем не примечательное, полчаса труда от силы.

О нет! В XIX веке к письмам относились не как ныне. Их писали медленно. Обдумывали каждую фразу. Их писали непременно с черновиком "и перебеливали, бывало, и дважды и трижды. А перед нами не простое письмо — перед нами целый дипломатический меморандум. Пожалуй, во всей полноте оценить творческий подвиг господина Фридриха Франца мог единственно Иоганн Мендель, ибо подоплека событий полностью известна была только ему.

Ни одна из заслуженных похвал, которые Франц расточал своему протеже, не очутилась в сей ноте случайно:

«…отмечу, он обладает весьма солидным характером и за оба года обучения получал по философии почти сплошь отличные оценки» — так в нем сказано.

И верно: среди множества абитуриентов, на памяти Франца покинувших Философские классы, воистину давно уже не было столь способного и, что не менее важно, столь трудоспособного. «Em.» — «Отл.», «Прев.» — «Отличнейший», «Превосходнейший», так непременно аттестовали Менделя и учитель, конечно же, физики — сам профессор Франц, затем профессор математики, которая в Философских классах преподавалась весьма серьезно, — господин Фукс, равно и профессор латинского языка, классической литературы, а заодно еще эстетики господин фон Канаваль. Даже на страницах, подведомственных доктору

Хельцелету, который вел курс агрономии и естественной истории, курс необязательный и поэтому посещаемый Иоганном крайне нерегулярно, против фамилии «Мендель» тем не менее сплошь красовалось «em.», «em.». И лишь там, где хозяйствовал упомянутый в письме Франца профессор Витгенс, суровой его рукой были выведены единицы, то есть четверки. Через поставленный преподавателем католической философии барьер ученик почему-то никак не мог перепрыгнуть. А Иоганн Мендель вряд ли проявлял недостаток усердия в штудировании означенного предмета. Причина такого диссонанса, видимо, лежала в другом: среди остальных педагогов Ольмюцких философских классов Витгенс выделился тем, что был, «кроме того, поистине ничтожнейшим человечишкой». (Во всяком случае, такую характеристику дал профессору Ильтис.)

Быть может, Мендель, обуянный гордыней вечного первого ученика, проявил склонность мыслить самостоятельно вместо того, чтобы просто воспринимать и повторять слово в слово с благодарностью жвачку, преподносимую самим профессором. И поскольку он посмел отойти от стандарта, «ничтожнейший», впав в глубочайшее раздражение — единственный из педагогов! — категорически отказался дать Менделю при выпуске отличную аттестацию о знании своего предмета и о прилежании.

Сей пункт, видимо, существенно портил выпускное свидетельство, ибо без нужды не появилась бы в письме г-на Франца фраза: «За два года обучения получал по философии почти сплошь отличные оценки». Фраза должна была внушить: «то, что вы увидите в свидетельстве, — всего лишь помарка». Тот час за этим Фридрих Франц сообщал, что именно с профессором Витгенсом он каждый день вспоминает о высокочтимом господине прелате, писал, что Витгенс шлет прелату свои приветы, а следовательно, как бы присоединился ко всему, что написал патер Фридрих.

Франц проявил себя как хитрый пекарь: в каждом слое пирога была особая начинка. Букет запахов, исходящих от такого пирога, должен вызвать приступ сильнейшего слюнотечения.

Была в пироге и пикантная приправа: «…и да не ботанизирует более!» Автор уверен, что если он, профессор и, кстати, член столь же почтенного монашеского ордена, дает рекомендацию кандидату в монастырские послушники, письмо будет не просто доложено настоятелю, а, наверное, попадет в собственные руки прелата. Пусть шутливое сравнение подбора наилучших кандидатов в собратья по монашеству с чрезмерно придирчивым подбором подходящих экземпляров растений для гербария вызовет у высокопреподобного Сирила Наппа улыбку! И

здесь нам придется несколько отвлечься от письма.

Ворота австрийских монастырей в это время не были широко распахнутыми для каждого желающего в них войти, сколь бы ни было искренним и самоотверженным религиозное рвение желающих. Во всяком случае, в Старобрюннском монастыре святого Томаша число членов капитула было строго, ограниченно — пятнадцать персон, и ни одной более. Послушников в общину принимали, лишь когда появлялись вакансии членов капитула, либо если по состоянию здоровья кого-то из каноников предвиделось, что вакансия может открыться.

Католическая церковь могла позволить себе иметь только надежных слуг. Только надежных и только полезных. Ей, великой римской церкви, приходилось все труднее и труднее. Она давно уже шаг за шагом сдавала свои позиции в мире. Прошли времена, когда она почти безраздельно властвовала не только над мирянами Европы, но и над монархами, и могла заставить самого императора Священной Римской империи в преисполненной смирения позе трое суток прождать папской милости босиком на снегу у врат Каноссы. История запечатлела с тех пор и иные картины: например, первосвященников, находящихся под арестом. Чего только не было за века!…

И уже давно Ватикан разделил с протестантскими церквами сферы прежнего своего владычества над душами (и не только над душами). И новые религиозные направления и секты вырастали как грибы, и — самое ужасное — паства принялась отходить от религии к атеизму и революции. Ко всему в это время даже самые христианнейшие католические правительства — и австрийское в первую очередь, — чтоб укрепить собственное положение и разные текущие дела, то и дело наносили ей чувствительные политические и экономические удары. Императоров и королей не устраивало, когда церковь работала не только на них, но и на себя самое — за их счет. А на себя самое она не могла не работать, ибо она была единой космополитической системой, мировым государством с собственной, четко сформированной вассальной иерархией. Реальное ватиканское государство — в ту пору еще занимавшее немалую часть итальянской земли — было представлено во всех землях и совсем суверенными княжествами — полувассалами Ватикана, и национальными церквами — автономными от государства во всех внутренних вопросах организациями, с четкой, почти военной дисциплиной, а иногда и полуподпольными и просто подпольными, хорошо выученными и вполне боевыми дружинами Иисусова ордена. Партийно-государственная система католицизма ставила перед собою собственные вполне конкретные стратегические и тактические

задачи. Были вопросы, в которых она прочно блокировалась даже с еретическими правительствами — там, где интересы строго совпадали. Но когда речь шла об интересах ее собственных, церковь шла на конфликты с самыми правоверными католиками-монархами и католиками-министрами. Ее теоретики и функционеры были трезвыми профессиональными политиками, вполне по-земному смотревшими на все, в том числе и на собственную организацию. И говорить-то они умели не только на «вульгате» — средневековой латыни молитвенников, но и на языке абсолютно современном.

В 1833 году виднейший теолог, в начале своей карьеры — видный деятель англиканской церкви, а впоследствии католик — кардинал Ньюмен писал так:

«Христианская церковь, как и любая другая общественная организация, неизбежно представляет собой политическую силу или партию. Она может быть господствующей партией или партией, подвергающейся преследованию; но всегда должна быть партией, предшествующей по времени своего возникновения тем гражданским институтам, которыми она окружена, и (благодаря своей скрытой от взоров божественности) великой и влиятельной, вплоть до скончания века» [22].

Иозефинистская политика австрийских монархов и правительств превращала католическую церковь Австрии из отряда космополитической партии в аппарат собственного министерства культов и просвещения. Даже с ее имуществом государство обращалось подчас как с имуществом, подведомственным непосредственно ему.

Чаша сия не миновала и августинскую общину святого Томаша. В 1745 году, во время очередной австро-прусской войны, здание, в котором тогда помещался монастырь, было разрушено осаждавшими Бргонн войсками Фридриха «Великого». Поскорбев, августинцы тряхнули монастырской казной и отстроили свою обитель заново, но это здание, видимо одним из первых в городе приведенное в должный порядок, тотчас приглянулось властям и было отобрано под канцелярию наместничества, а августинцев переселили из центра города на окраину — в Алыбрюнн, к подножию Шпильберга, увенчанного знаменитым тюремным замком. Там как раз пустовали и ветшали постройки монастыря Королевы — ликвидированной правительством обители монахинь-цистерцианок. По авторитетному свидетельству прелата Менделя [23], этот тяжкий удар принудил сократить число членов капитула вчетверо, ибо большего числа монахов обремененный долгами монастырский бюджет выдержать не мог.

И конечно, когда дела этой, по выражению кардинала

Ньюмена, «общественной организации или партии» были далеко не блестящими, а возможности пополнения рядов — во всяком случае, рядов общины святого Томаша, одной из ее ячеек, — ограниченны, личные качества каждого кандидата в функционеры пусть самого малого ранга взвешивались тщательнейшим образом.

И потому физик-премонстрант Фридрих Франц, составляя свое многослойное дипломатическое послание, вдумчиво отбирал именно такие доказательства полезности рекомендуемого им кандидата в монахи, которые должны были дать Менделю преимущество перед неведомыми конкурентами в глазах человека, чье слово при отборе будет решающим, — настоятеля монастыря святого Томаша прелата Наппа.

Итак, Франц сообщил уже о добровольном желании своего ученика вступить в монастырь и не упомянул, конечно, об обстоятельствах, толкавших его к этому.

Он написал, что Мендель обладает солидным характером — а это весьма важно — и добротной подготовкой по философии (табель табелем, но мнение самого Франца и «поклоны» Витгенса значат больше выведенных на бумаге единиц). А далее стояло: «по моему предмету я позволяю себе считать его почти наиотличнейшим», хотя предметом Франца была совершенно светская дисциплина. Однако и физика была упомянута не случайно.

Чтобы удерживать свои позиции, римская церковь давно поощряла занятия своих функционеров мирскими делами. А в Австрийской империи церковь фактически держала в своих руках все дело просвещения и активно участвовала во многих других, совсем не духовных областях жизни.

Настоятель августинского монастыря в Старом Брюнне Сирил-Франц Напп был весьма характерной для этого времени фигурой.

Напп был, как и Мендель, плебеем по происхождению — сыном сапожника. В восемнадцать лет поступил в монастырь и получил возможность погрузиться в книги, не думая о куске хлеба. В тридцать два он стал доктором богословия и при этом подвизался в наиболее конкретных дисциплинах: ими были — текстология библии, история церкви и, наконец, церковное право, труднейшая область тогдашней практической юриспруденции.

От занятий библейской текстологией, видимо, и зависел переход Наппа к проблемам уже одной из светских гуманитарных наук — он считался весьма известным в Австрии того времени специалистом в области восточной лингвистики. Наппу-лингвисту принадлежал перепечатанный во многих специальных

европейских журналах и ежегодниках критический обзор грамматик арабского и армянского языков, выпущенных Оберлейтнером.

И не перейди Франц Напп из мещанского сословия в духовенство, не видать ему головокружительной не только церковной и научной, но и светской карьеры. В 34 года он стал аббатом, и это значило, что Напп не только возглавил монастырский капитул, но сделался главноуправляющим крупного помещичьего хозяйства и финансовым воротилой.

Он развернул в монастырских поместьях мелиоративные работы. Основал Моравский ипотечный банк, сберегательную кассу и страховое общество. Далее последовал новый скачок — уже к политической и административной деятельности: Напп был введен в Моравский ландтаг, в комиссию по исправлению земельного кадастра и в учреждения, ведавшие просвещением. Аббат, по мнению историков, был весьма либеральным по своим политическим взглядам и широко мыслящим просветителем, а к тому же оказался темпераментным, инициативным администратором. К моменту, когда абитуриент Ольмюцких философских классов Иоганн Мендель решился идти в монастырь, аббат Напп уже одиннадцатый год занимал высокий государствен ный пост. Он был «К.К. Gymnasial-Studiendirector fur Mahrer. und Schlesien» — директором (конечно, «кайзерлихе унд кёниг лихе») гимназий и училищ Моравско-Силезской земли. При Наппе-директоре были сохранены обреченные на закрытие школы и построены новые, реорганизована Земельная академия и открыто в Брюнне Техническое училище. И уже позднее, под конец своего пребывания на сем посту, Напп перетащил университет из делавшегося заштатным Ольмюца в Брюнн. Это было, совершенно бесспорно, на пользу делу: чем гуще интеллектуальная среда, чем более сконцентрированы ученые силы, тем эффективней и исследовательская работа и образование. (Надо сказать, что в ту пору австрийское университетское образование оставляло желать лучшего: его содержание мало чем отличалось от чуть повышенного гимназического…)

Но Напп всегда оставался еще и высоким церковным функционером и, естественно, считал, что члены возглавляемой им монастырской общины должны действовать в одной с ним области «светской» жизни. И поэтому, подбирая будущих членов брюннского августинского капитула, Напп особое внимание уделял именно интеллектуальной ценности кандидатов.

Монахи святого Томаша были филологами, ботаниками, музыкантами и математиками. Им полагалось служить богу, но

они по совместительству служили еще и педагогами в моравских гимназиях и школах.

И не одна его светская должность «императорско-королевского директора», и не только «высочайше пожалованные» ему рыцарские кресты орденов Леопольда и Железной Короны, не только почтение перед капиталами, которыми он ворочал, давали Наппу возможность выбирать именно так.

Императорское габсбургское правительство было заинтересовано в том, чтобы школьное дело в Австрии и Венгрии, в Чехии и Моравии было в надежных руках церкви, а церковь видела в школе плацдарм для будущего наступления на стоявший у нее поперек горла иозефинизм. И все это значило, что не только тринадцати августинцам святого Томаша, а многим десяткам святых отцов предстоит многие годы преподавать в гимназиях и школах не одно «слово божье», а и немецкий, и латинский, и греческий, и французский языки, изящную словесность и всемирную историю, математику и физику, химию и минералогию, зоологию и ботанику.

Стояла середина XIX века, Европу пересекали новые железные дороги. Паровые двигатели пыхтели на заводиках. Телеграфные аппараты с удивительной быстротой переносили из страны в страну банковские приказы и новости. Уже была понята природа молний, выведен закон Ома, познано клеточное строение живых организмов. И променявший карьеру врача сначала на карьеру кандидата в священники, а затем на странные занятия червями и моллюсками англичанин Чарлз Дарвин уже опубликовал «Дневник изысканий по геологии и естественной истории разных стран, посещенных «Биглем» под командованием капитана Фиц-Роя» и в своем имении Даун под Лондоном корпел над трудом об усоногих раках, собранных им в Чили, заканчивая постепенно систематизацию фактов, составивших фундамент знаменитой теории происхождения видов путем естественного отбора.

Наука, как ни способствовала она развитию опасного свободомыслия и атеизма, в это время непрестанно доказывает свою безусловную практическую ценность. Новые эпохальные примеры не заставят себя долго ждать. Не успеют высохнуть чернила на заключенном в 1855 году меж Ватиканом и империей конкордате, возвращавшем католицизму доиозефинистские его права, как добрый католик француз господин Пастер опровергнет учение о самопроизвольном зарождении жизни, вполне соответствующее Книге Бытия, которая, по компетентному мнению святого Августина, сообщает, что бог не создал сам всех растений и животных, а приказал воде и тверди порождать тех, которых он не успел наделать. И хотя некоторые из теологов

выразят недовольство результатами опытов парижского химика, вместе с тем будет весьма отрадным, что господин Пастер установит, какой именно фактор вызывает прокисание молока, а позднее — откуда происходят болезни вин. Оказывается, это микроскопические существа портят их своей жизнедеятельностью. И от них, кстати, станет возможным избавляться, если своевременно «пастеризовать» — обезвреживать молоко и вино нагреванием. И конечно же, по всей Европе управители молочных ферм и хранители монастырских вин примутся использовать предложенный господином Пастером метод для сбережения запасов, принадлежащих братствам.

Дирижеры и оркестранты всегда обязаны считаться с желаниями тех, кто платит за музыку, и доколе католическая церковь, дабы упрочить свое влияние, бралась за хлопоты по светскому образованию, она, как и любой представитель «сферы обслуживания», должна была тщательно запоминать, каков заказ.

На уроках священной истории отцы-августинцы, конечно, вдалбливали в головы школяров «Ave», «Benedicite», «Pater noster», катехизис и подробную технологию сотворения галактики по ускоренной методе. Но на других уроках их же коллегам-августинцам и в голову не приходило теперь предавать, как некогда, анафеме физиологические эксперименты и анатомирование. Чтобы делать операцию резекции желудка, которую в ту пору разрабатывал ради излечения ранних форм рака и запущенных язв желудка его превосходительство господин профессор Венского университета Теодор Бильрот, надо хорошо знать, как подходят к желудку кровеносные сосуды и как перистальтируют кишки. Хорошо, если будущий инженер прочно помнит «Ave». Но он должен столь же прочно знать интегральное исчисление.

И для прибыльности хозяйства, принадлежащего графу Эстергази или оборотистым достопочтенным герру Мюллеру и пану Кокошке, молитвы за ниспослание урожая крайне необходимо сочетать с гибридизацией, селекцией и рациональной агротехникой.

И поэтому не только просвещенный и либеральный аббат Сирил-Франц Напп, но и сама конгрегация ордена августинцев и сама ватиканская канцелярия полагали целесообразным, чтобы братья-монахи, благо им предстояло занимать учительские должности, обладали и склонностью к преподаванию, и должными педагогическими способностями, и, наконец, знаниями.

Именно поэтому в рекомендации, которую дал Иоганну Менделю патер Фридрих Франц, ни слова не было сказано о

благочестии кандидата, зато вся она целиком посвящалась его интеллектуальным возможностям.

И специально для Наппа был предназначен следующий пункт характеристики:

«Он также несколько знает по-чешски, но поскольку сии познания недостаточны, изъявил готовность… приложить все силы, дабы и в чешском языке достичь полного совершенства…»

Аббат Напп был австрийским немцем по крови, но он родился в Моравии, с этой землей была связана вся его жизнь. Он был другом Палацкого, Шафарика и Яна-Евангелиста Пуркинье, вождей чешской интеллигенции, именно в эти годы пропагандировавших идеи славянского Возрождения — правда, в рамках, коими обеспечивалось сохранение покоя габсбургской монархии.

Напп был склонен поддерживать их требования, и не только в дружеских собеседованиях. В пору своего директорства над гимназиями и училищами Напп открыл в университете кафедру чешского языка и литературы. Он торжественно — как великих людей — принимал Пуркинье и Шафарика в Альтбрюнне, и монах его монастыря Матеуш Клацел читал всем присутствующим и вручил Шафарику отпечатанную в типографии оду, написанную им, Клацелом, в честь гостя.

Что до дел церковных, то прелат считал, что пастырь, живущий в Чехии, «должен знать язык своих овен».

И он должен был в полной мере оценить добрые намерения кандидата в собратья по ордену.

Фридрих Франц написал не простое письмо, а тонкий дипломатический меморандум.

И все тщательно продуманные им ходы достигли намеченной цели, ибо от кандидата был затребован такой документ:

«Мы, нижеподписавшиеся, настоящим заявляем, что с выбором нашего сына Иоганна мы совершенно согласны, и нам ничего не остается иного, как пожелать, чтобы избранный долг он исполнял с верностью и добросовестностью» — вот что было выведено в нем каллиграфическим почерком Менделя-младшего.

Документ был подписан каракулями:

«Антон Мендель, отец, Розина Мендель, мать».

И, кроме родительского согласия, было затребовано также свидетельство о состоянии здоровья, и одрауский штадтарцт — городской врач — удостоверил, что Иоганн Мендель, сын крестьянина из Одрауского округа, практически здоров — это крайне было важно констатировать, ибо монастырь не

богадельня, не приют для больных или немощных, а церкви нужны служители вполне трудоспособные.

Но на четыре послушнические вакансии из неведомого числа рекомендованных было приглашено тринадцать претендентов, достаточно здоровых и обладавших подходящими рекомендациями (три человека на место — это и для наших дней нормальный университетский конкурс). Их экзаменовали всем капитулом, им предлагали читать пробные проповеди, с ними подолгу беседовали те, кто должен был стать их братьями по ордену, беседовали, изучали склад ума и особенности характера вероятных своих коллег.

И так как и в этом мире тоже не было лишних вакансий, всего лишь четверым из тринадцати претендентов выпало лежать крестом на каменных плитах пола в костеле Вознесения Девы Марии под грегорианский напев «Veni, Creator spiritus…» и ждать момента, когда надо будет подняться и, положив руку на евангелие, произнести:

— Ego, frater Gregor, voveo et promitto… — Я, брат Грегор, клянусь и обещаю…

— Ego, frater Anselmus…

— Ego, frater Christosomus…,

— …voveo et promitto…

VII. СВЯТОЙ АВГУСТИН И АВГУСТИНЦЫ

…Чтили бога: отца, сына, духа святого.

Чтили деву Марию — божью мать.

Чтили святых: всех святых вообще и своего личного в особенности. Для монахов альтбрюннского монастыря главным святым был Августин, крупнейший раннехристианский философ.

К созданию ордена, носившего его имя, святой Августин никакого отношения не имел и не мог иметь: орден был основан восемь веков спустя после его смерти. Точно так же мировоззрение августинцев XIX столетия существенно отличалось от мировоззрения самого Августина, умершего в V веке, ибо, как говорили древние, «tempora mutantur et nos mutamur in illis» — «времена меняются и нас изменяют с собою». Однако житие святого, известное по его собственноручной и подробной «Исповеди», почиталось за образец религиозно-нравственного совершенствования для людей, которые причисляли себя к его последователям. А его личность и его философия были весьма своеобразны — в истории христианства Августин занимает особое место.

Вот те моменты, которые, по мнению автора, играли роль в создании несколько необычной, по нашим представлениям, обстановки, которая была в монастыре святого Томаша.

Сначала о самом Августине. Об Августине Аврелии — такое имя было дано ему при рождении.

Его отец был важным императорским чиновником в городе Тагасте, что в северной Африке, близ Карфагена, и поэтому мучительной проблемы завтрашнего дня не существовало ни для самого Августина, ни для его сестры. И даже у Адеодата — у мальчика, которого со временем родила от Августина красавица рабыня, этой земной проблемы не было. Правда, сын императорского чиновника не мог жениться на рабыне, и даже на рабыне, отпущенной на волю, и даже на рабыне очень красивой, женственной, удивительно нежно любимой и нежно любящей, какой была наложница Августина. Тем не менее можно было сделать так, чтобы сына не ожидала участь раба и его будущее было обеспечено. И это было сделано.

Августин смалу был живым и даже озорным, и в детстве лазил в чужой сад за грушами, и в юности жил так, как жили все молодые люди его круга, — развлекался, пировал и изучал философию знаменитых тогда Аркесилая и Карнеада,

провозгласившего несостоятельность доказательств существования бога (или богов), и успешно пробовал свои силы в качестве языческого ритора. Философским идеалом для него был утраченный впоследствии трактат Цицерона «Гортензий», написанный на идеальной латыни. Среди молодых философов — неоплатоников и скептиков — Августин Аврелий считался восходящей звездой, тем более что его привлекали самые трудные вопросы — пределы познания истины и природы, счастье и его цель, познание чувственное и сверхчувственное, силы, движущие миром.

Атеистические Карнеадовы идеи он не разделял.

Он знал очень много: он штудировал Платона и Плотина, Порфирия и Сократа; иудейских мыслителей он штудировал тоже; правда, ему всегда мешало, что он, Августин, не знал ни греческого, ни еврейского языков: его раздражали странные знаки чужих алфавитов и противоестественное для него еврейское чтение справа налево. Он был нетерпелив и стремителен. Ему хотелось и все охватить умом и все взять от жизни.

И вдруг в 1141 году от основания Рима, а по счету христиан в 388-м от рождества Спасителя Иисуса, тридцатичетырехлетний Аврелий проклял язычество, отрекся от философии своих недавних единомышленников, от учений Аркесилая и Карнеада и принял христианство. Как прежде в дискуссиях с христианами доказывал истинность учения скептиков, теперь он стал доказывать истинность учения евангелия, единство триединого бога-вседержителя, который сотворил все сущее и дал ему толчок, заставивший это сущее развиваться далее.

Для языческих философов Карфагена, где прошла его бурная юность, и Медиолана (Милана), где он четыре последних года жил вместе с матерью, — для тех из них, что хорошо знали Августина, этот переход не был слишком большой неожиданностью. Августин давно уже мучительно переживал противоречия в суждениях древних и современных ему языческих философов о душе и способах ее постижения. И он уже выступил с трактатом «Contra academicos», в котором говорил, что скептики не в состоянии познать природу мира, а главное — духа, ибо они стремятся познать чувственно то, что может быть познано лишь сверхчувственно и не меряется земными мерами.

Затем появились в свет его «Soliloquia» — «Монологи».

Бог, а не боги! Это было замечено в трактатах сразу всеми, кто читал их. Бог создал мир и душу. Душа может познать мир — предметы, растения, животных — путем измерения, наблюдения, путем их расчленения, наконец, — то есть через опыт.

Можно познать даже бренную оболочку человеческого тела.

Но одно — душу — познать нельзя, ибо бог сотворил человека по своему образу и подобию не в смысле телесной его оболочки. Этот образ и подобие бога именно душа. Бог сверхъестествен, сверхчувствен. Душа тоже. Она выполняет три функции: мысли, памяти, воли. Образы, которые хранит душа, — память о событиях прошедших, абстрактные представления — числа, математические символы, понятия добра и зла, греха и праведного дела — все это бестелесно. А бестелесное не может быть понято вот так — как материальные неодушевленные вещи, постигаемые через измерения.

Душа может быть понята только чрез веру. Вера выше разума, хоть он тоже функция бессмертной, вложенной богом и богу подобной души.

Об этом он писал многократно в разных трактатах.

«Ведь чтобы понимать!» — восклицал Августин…

Переход Аврелия в христианство не был неожиданностью не только для философов, знакомых с его писаниями и трактатами, но, конечно, и для людей, просто знавших его самого, его семью и обстановку, давно в ней сложившуюся. Дело в том, что отец Аврелия, императорский чиновник, был, как и все в его роду, язычником. Он приносил жертвы ладаном и вином, ягнятами, голубями и домашней птицею — статуям императора, Юпитера, Марса, Минервы и прочим идолам. Но женат он был на христианке Монике.

В IV веке смешанные браки были часты. Гонения на христиан — разгон общин, казни пресвитеров, сожжения книг, практиковавшиеся в предыдущем столетии при Деции, Валериане и Диоклетиане, — обросли легендами, много более живописными, чем сами события. Христианство распространилось во всех кругах римского общества — и на Западе и на Востоке. К 313 году относят так называемый Миланский эдикт о веротерпимости, по преданию изданный совместно императорами Константином и Лицинием:

«Мы решили, что из всех дел, приносящих пользу людям, нашей первой и главной задачей должно быть по справедливости поклонение Богу и что христиане и все другие вправе свободно исповедовать ту религию, какая им нравится; так чтобы Бог, обитающий на небесах, был милостив к нам и ко всем нашим подданным».

Новая и старая религии сосуществовали теперь официально в масштабах всей мировой империи. Они сосуществовали и под одной крышей — под сотнями и тысячами крыш. И причем нередко в формах весьма своеобразных — ибо древний мир в

своих взаимоотношениях с божествами был одновременно и наивен и крайне трезво практичен. С божествами торговали. С ними торговались и плутовали, как на базаре, наделяя богов чертами человеческих характеров и даже пороков. Эта привычка жила и в раннехристианскую эру. И в иных смешанных по религии богатых семьях родители-христиане далеко не всегда торопились с обращением своих детей — давали им время погрешить, перебеситься во язычестве. Ведь мир, грехи которого хотел искупить своей кровью распятый Сын Человеческий, — этот мир все равно был грешен. Каждому предстояло искупать грехи заново, но исполнение нелегких обязанностей покаяния можно было на некоторое время отложить!…

Идею, под флагом которой начиналась новая, более чем полуторатысячелетняя эпоха истории — высоконравственную аскетическую идею принесения себя в жертву во имя очищения и собственной души и многих людских душ, — еще в давние времена научились реализовать с максимальным личным комфортом. И не разучились в поздние.

И быть может, отец Августина вначале смотрел на будущее своего наследника с той же житейской снисходительностью и, быть может, предполагал, что возможное обращение в веру матери внесет в жизнь сына всего лишь известные и даже вполне разумные ограничения — и не более того. Однако сын унаследовал от матери натуру неординарную.

…Моника — мать Аврелия — была женщиной необычайной: умной, обаятельной, скромной, терпеливой, уступчивой и всепрощающей и одновременно невероятно последовательной, волевой и сильной, способной согнуть любую душу.

Отец был язычником от рождения, он был язычником многие годы их совместной жизни, и дети его от Моники воспитывались язычниками. Однако Моника все же обратила в христианство и мужа — в истинное, фанатическое христианство. Надо оценить совершенную ею тщательную работу: любой факт, любое сочетание событий толковались как знаки божественных знамений. Раздался крик ребенка, когда она читала сыну послания апостола Павла римлянам, — знамение. Запели птицы — знамение. Все что угодно.

Она принудила сына встретиться с медиоланским епископом Амвросием, признанным позднее первым из четырех учителей церкви [24]. Долгие беседы с Амвросием потрясли молодого философа. Именно после них, еще не приняв крещения, перетряхнув все прежние свои представления о мире, богах, душе, добре и зле, он и обрушился на своих учителей и вчерашних единомышленников в трактате «Contra academicos», о котором

уже было упомянуто.

Как все неофиты, как все переходящие из лагеря в лагерь, он был резок, нетерпим, склонен к крайностям в полемике.

Да, надо оценить силу воздействия Моники! В 34 года ее сын Аврелий не просто перестал молиться императору и античным богам, не просто прошел через обряд крещения, принял другое имя, стал молиться Христу, вернее троице — триединому богу-вседержителю и богоматери.

Августин действительно порвал со всем, что было в жизни Аврелия, он отказался от всего, чем владел, и от выгодной женитьбы на уже сосватанной ему красивой и богатой девушке. Он отказался от рабыни-возлюбленной и от маленького Адеодата — сына, в котором души не чаял, и это было мучительно, но этого требовало его новое жизненное, духовное кредо.

Он сколотил маленькую общину из друзей и единомышленников-единоверцев и вместе с ними удалился из Тагасты. Неподалеку от нее члены общины стали жить пустынниками, поддерживая силы лишь малым и необходимым — как и предписывали евангелие и апостол Павел.

Сестра Августина тоже основала общину девушек-христианок близ Гиппона в Африке. Между общинами шла переписка. Августин писал сестре и сестрам больше, чем они ему, ибо у него больше было о чем рассказать.

Его послания носили философский характер. Он рассказывал об искушениях, его одолевавших, и о подавлении их. О мыслях, которые пришли к нему в уединении и молитвах, благодаря ниспосланной свыше благодати. Об очищении души, происходящем с ним и его братьями. О боге. О мире. О добре и зле.

Послания сестре были эскизами его будущих книг…

Он был еще «в пустыне», Августин Аврелий, но он был уже в центре внимания руководителей церкви.

Христианство из гонимого сектантского религиозно-нравственного учения превратилось в религиозно-политическую систему, стремившуюся подчинить себе одно за другим государства и племена. Церковь становилась космополитической надгосударственной партией, которая начала стремиться к власти над душами, над телами, над богатствами всего обозримого мира, и ей нужны были свои теоретики, философы, идеологи, политики и живые святые, чей пример, чья деятельность может быть выставлена за образец, достойный восхищения и подражания.

«Мы появились совсем недавно, — еще в 200-м году с

сарказмом обращался епископ Тертуллиан к язычникам, стоявшим тогда у власти, — и уже заполнили собой все ваши владения — большие города, острова, крепости, поселения, места торговли, да! А также лагери, трибы, декурии, дворец, сенат, форум. Все, что мы оставляем вам, — это храмы!»

Но теперь предстояло завоевывать полностью все — и все храмы тоже, все души, все умы, волю всех. Для этого церкви не могло хватить одной лишь проповеди евангельской нравственности. Все судьбы мира, все проблемы тогдашнего мира следовало истолковать по-своему, использовав наследие античной мысли и культуры. Что-то из прежнего наследия человеческого духа надо было отобрать. Надо было теоретически обосновать отказ от одних прежних ценностей и принятие других ценностей, переходивших к людям христианской эры. И надо было создавать новые ценности, свои, «сугубо-христианские».

И если о блаженстве нищих духом могли успешно проповедовать люди умеренной эрудиции, но всего лишь высокой убежденности и агитаторского таланта, то для решения глобальных философских вопросов необходимы были выдающиеся умы, способные соперничать с изысканнейшими умами оппонентов-язычников и собственных, уже народившихся в христианстве еретиков. (Почему-то всегда получается — чем больше ума и образованности, тем больше ереси… Впрочем, не всякая ересь от ума и образованности. Иные утверждали и невежество, духовную нищету.)

Августин Аврелий оказался подлинной жемчужиной. Переворот, совершенный им в собственной судьбе — не по принуждению, а по доброй воле, благодаря обращению в иную веру, благодаря убеждениям, внушенным его матерью Моникой и епископом Амвросием Медиоланским, крупнейшим мыслителем того направления, этот переворот был поистине драматичным и по-театральному впечатляющим.

А любой культ обязательно отбирает театрально выглядящие события. Умело пересказанные или воспроизведенные в обряде, они благодаря великой силе искусства способны овладевать душами, подчинять эмоции и волю людей.

И главное — то, что произошло с Августином, произошло не просто с богатым молодым человеком, жившим всеми земными радостями, хотя будь он просто таким — церковь уже не прошла бы мимо его истории, как это было многократно и до него и после него.

А это произошло с мыслителем высокого класса. С эрудитом. Блестящим полемистом. Талантливым литератором, чей

полнозвучный латинский глагол был способен жечь сердца. Он-то и был нужен! Не неграмотные рыбаки с Тивериадского озера и не бывшие сборщики податей должны были класть камни в идеологический фундамент будущего здания католической — то есть вселенской — церкви, а настоящие мастера-каменщики.

Профессионалы, подготовленные разносторонне.

Опасные, интеллектуалы: без них, увы, не обойтись.

И поэтому церковная карьера Августина была головокружительной. Уже через восемь лет после принятия крещения он сделался епископом Медиоланским, а затем епископом Гиппона. Он не только очищался от скверны грехов и созерцал бога в тиши обители, среди своих собратий — как и он, новокрещенных тогда, в 388 году от рождества Христова, — Алипия, Севера, Профутура, Фортуната, Поссидия, Урбана, Бонифация и Перегрина, вместе с ним отказавшихся во имя служения богу от благ мирских, от семейных утех и от собственной воли.

Став епископом, он был вынужден жить в гуще мира. Он крестил, исповедовал, налагал эпитимии, утешал больных, напутствовал умирающих, хоронил мертвых, посвящал священников в сан, строил церкви и управлял доходами, выкупал пленников и основывал больницы, был третейским судьей и миротворцем, участвовал в решении вопросов внешней политики государства, которое раздирали варвары и восстания, переписывался с другими епископами, священниками, проповедниками, отшельниками и монастырскими монахами, произносил проповеди и писал трактаты, в которых громил язычников и громил христиан — тех, кто отступал от буквы евангелия — вернее, от его, Августина, понимания и толкования этой буквы.

Он громил манихейцев и нападал на Пелагия.

Он был подчас так неистов, что получил прозвище «молот еретиков» и века спустя почитался инквизиторами как образец истинно-христианской нетерпимости.

И еще Августин был, конечно, великолепным писателем.

Его литературное наследство — публицистическое и философское — огромно. Сохранилось четыреста подлинных его проповедей. Два фундаментальных труда — «Исповедь» и «О граде Божием» — и множество богословских полемических трактатов и посланий.

В «Исповеди» с поразительной откровенностью он рассказывал всю историю своей жизни, не скрывая ни грехов совершенных, ни искушений подавленных, ни мыслей, ни гнева, ни злобы, ни привязанностей, ни страстей:

«О любовь, которая всегда горишь и не погасаешь! Любовь, Боже мой, воспламени меня. Ты предписываешь воздержание; дай силы выполнить, что предписываешь, и предписывай, что хочешь».

Так писал Августин в «Исповеди».

Очень удачно сказал о нем современный философ Бэрроуз Данэм: «Конечно, Августин был человек, епископ, святой, но он представлял собой нечто большее, чем все это. Подобно Рабле, Шекспиру и Толстому, он был как бы одной из сил природы. Все, что может быть найдено в природе — ив особенности в человеческой натуре, — было свойственно и ему…»

Августин был, пожалуй, самым крупным своеобразным и широким философом христианства IV — V веков. Последующие много ниже его. Он аккумулировал богатства античной мысли. И в области тогдашнего естествознания он тоже был эрудитом — знал труды Плиния, Варрона и материалиста Лукреция. Из эрудиции языческого ритора Аврелия он перенес в августинианство идеи, которые церковь средневековая уже не могла переварить.

Да, Августин считал бога наивысшим существом — единственным из всех существ наделенным полной свободой воли. Нематериальным, непознаваемым абсолютом, совершенно независимым от природы и человека и противопоставленным им. Бог для него — единственный виновник появления всех вещей, всех существ, человека, всего мира. (И кроме того, он видел в боге личность, с которой можно беседовать!) Если бог «отнимет от вещей свою, так сказать, производительную силу, то их так же не будет, как не было прежде, чем они были созданы», — писал он.

Но бог создал этот мир не в завершенном виде, — считал Августин, — он заложил в него основу для его развития, для появления новых существ и предметов. Бог неизменен и непознаваем, но результаты его творения — все существа, растущие и развивающиеся в этом мире, — познаваемы. (Подчеркнем: в отличие от более поздних философов средневековья Августин ощущал бытие непрерывно движущимся!)

«Мир, подобно беременной матери, чреват причинами всего, чему предстоит народиться».

Развитие происходит из-за вложенных богом в животных и в растения «rationes seminales» — «зародышевых причин» — так рассуждал он и полагал их тоже постижимыми.

Познание он разделил на два рода:

Scientia — разумное познание объективного мира,

позволяющее людям пользоваться вещами, и sapientia — познание вечных божественных дел и духовных объектов.

По Августину, они не противоречат друг другу. Наука сама по себе не является злом, — утверждал он. — Она необходима, ибо человек вынужден жить в телесном мире. А поскольку телесный мир создан богом, и зародышевые причины, и познающий человек тоже, то, познавая телесный мир и движущие его силы, человек познает мудрость божию.

Игра его ума была поистине удивительной.

Но эта книга не об Августине, который не был ни прост, ни благостен, как может показаться по последним, приведенным здесь положениям из его трудов.

Тому же Августину принадлежал тезис:

«Когда человек живет по человеку, а не по Богу, он подобен дьяволу».

Это он провозглашал, что церковь никогда не ошибается и она — главноуправительница над людьми: «Если бы не авторитет католической церкви, я не поверил бы даже евангелию».

Допуская право науки на существование, он все же призывал истинных сынов церкви: «Не выходи в мир, а возвращайся в себя самого: правда пребывает внутри человека».

Он так определял свою личную позицию:

«Я желаю знать Бога и душу. — А больше ничего? — Решительно ничего».

Напомним: это его прозвали молотом еретиков.

Однако для нас важно из наследия Августина именно то, что связано с его отношением к проблеме познания реальных явлений материального мира. С наукой.

…Епископа Августина после смерти канонизировали — причислили к святым. Его признали все церкви — и коптская, и армянская, и православная. Правда, в православных святцах он числится не святым, а «блаженным», то есть на ранг ниже.

Августина объявили еще не просто «отцом церкви», а ее учителем, одним из четырех главных теоретиков христианства.

И все, что он написал, по логике вещей должно было стать незыблемым, не подлежащим ревизии и ныне, и присно, и вовеки. Но из того, что он написал, средневековое христианство взяло на вооружение в первую очередь нетерпимость к инакомыслию, начала «учения о троице», утверждения о непознаваемости души и превосходстве веры над разумом и рассуждения о непогрешимости церкви. Они легли позднее в сформулированные богословами догмы.

В целом же его учение старались не пропагандировать — в нем было слишком много скользких мест. Даже сама чересчур

пылкая Августинова вера в божье всемогущество и его убежденность в том, что все, чему предстоит произойти и народиться, предопределено от века, считались более чем неуместными, ибо если все заранее предопределено — и добро и зло, — к чему тогда церковь, эта посредница между людьми и богом! И потому впоследствии Фома Аквинский тщательно разъяснял, что святому Августину небеса ниспослали особенную благодать. А в несовершенном мире куда больше других людей, для рассудка коих существование бога совсем не самоочевидно. Их-то церковь и должна обращать, поучать, наставлять — словом, пасти.

Да, многочисленные Августиновы труды предпочтительнее было открывать лишь на определенных страницах! Однако знание творений отцов церкви было обязательно для любого монаха-богослова. И уж для монахов созданного в XIII веке ордена святого Августина, конечно, почиталось необходимым знание всего учения философа, который был «небесным покровителем» ордена.

Оно было сложным, это учение. Оно было противоречивым. Оно смущало умы.

Не случайно именно из августинского ордена в пределах всего одного столетия вышли непохожие друг на друга, противостоящие друг другу крупнейшие исторические деятели — и основатель ордена иезуитов, теоретик католической реакции Игнаций Лойола, и реформатор церкви Мартин Лютер, и великий и мудрый гуманист Эразм Роттердамский.

…Жизнь всех монастырей, всех орденов была подчинена строгому регламенту. И учредивший августинский орден папа Иннокентий IV тоже даровал его монастырям и особый устав — «Regulae Augustini».

Монашеские ордена имели каждый известную специализацию. Нищенствующим францисканцам, например, следовало в первую голову заниматься деятельностью миссионерской — распространять и утверждать «истинную веру» среди широких масс, склонных к разным заблуждениям христиан и еще не обращенных в католицизм иноверцев. Ведь основатель ордена Франциск Ассизский, по преданию, проповедовал евангелие даже птицам.

По такой логике было естественным отвести со временем для августинцев иную сферу распространения истинно католического образа мысли. Иную сферу, иные пути.

Им была отведена стезя просвещения — переписка книг, а потом и книгопечатание. Распространение знания и само познание. И не только sapientia — познание бога через, веру, но

scientia — познание реального мира, а через него и мудрости божьей.

Впрочем, это не было монополией одного ордена. Начиная со средних веков все монастыри были средоточием книг и тогдашней учености, ибо учености светской поначалу попросту почти не существовало. Что же до эмпирического, опытного познания реального мира, то в этом занятии — особенно после потрясений эпохи Реформации и контрреформации — католическая церковь стала усматривать все большую пользу даже для себя самой. Ибо когда интеллект как следует загружен осязаемой конкретной работой, ему уже некогда заниматься всякими отвлеченными, не перевариваемыми рассудком спорными вопросами веры — тем более что неосторожность в них может довести и до чисто житейских неприятностей.

И дабы предоставить большие возможности набираться знаний и распространять просвещение, «регулярным каноникам», членам августинского ордена более чем другим монахам, разрешалось жить вне общин — в миру. И не среди нуждавшихся в миссионерском утешении «малых мира сего», а в крупных университетских городах, среди греховных соблазнов. Августинский устав был самым либеральным.

История хранит множество примеров, как уставами пренебрегали и иные монастыри нередко превращались в подлинные «веселые дома». Но уже с XVII века, с периода контрреформации, дабы сохранить авторитет вселенской церкви, правители ее принялись добиваться жесточайшего соблюдения монашеского регламента. Даже вне стен монастыря. И уж в стенах его подавно.

А в уставе было предусмотрено все: одежда, быт, занятия.

Черная до пят сутана августинца, с капюшоном и широченными рукавами, должна была быть перехвачена непременно широченным кожаным поясом — тоже черным.

Сутки делились на три части. На время, предназначенное для божьих дел: молитвы, исповеди, службы, «упражнения в благочестии». На время, предназначенное для работы: работать полагалось всем монахам — либо ухаживать за растениями, либо переписывать книги, штудировать богословские труды, учить детей, заниматься наукой. Издревле любой полезный труд считался допустимым для монаха. В церковной литературе существовала притча даже об уличном жонглере, который стал монахом и решил служить Богоматери именно тем, в чем был искусен. Он регулярно являлся в пустую церковь и, обливаясь трудовым потом, проделывал для Мадонны — перед ее статуей — все головоломнейшие свои трюки, и Богоматерь оценила это и

дала знамение, что и его труд был ей угоден… И раз такой труд был угоден, то был угоден труд и живописцев и музыкантов. И труд лингвистов и ботаников, математиков и минералогов, физиков и агрономов тоже был угоден, ибо ко всему еще Фома Аквинский говорил: «Мудрость тождественна умению все упорядочивать». А в новое время не фанатизм юродивых, а разумность, рассудочность были постепенно признаны лучшими добродетелями просвещенного католика. И постепенно было признано нецелесообразным отвергать, как некогда, столь очевидные научные истины, как вращение Земли (правда, мысль об эволюции жизни еще оскорбляла уши церкви).

Но не только интеллектуальным трудом должен был заниматься августинец. В монастырях полагался обязательный для всех и труд физический, — пусть его будет немного, но пусть он будет все-таки. Освободить от физического труда мог только аббат, если монах был болен.

Наконец, небольшая часть времени оставалась на отдых.

В плату за безбедное существование члены общины были обязаны жить по этому строжайшему регламенту и исполнять все, что полагается ученикам, подмастерьям и мастерам Службы Спасения душ.

В монастыре всех — кроме разве самых высших по рангу — на рассвете будил, стуча в дверь кельи, дежурный монах. Услышав, что обитатель зашевелился, он произносил первые слова назначенной на этот день молитвы:

— Ave, Maria… Или:

— Te Deurn laudamus… Или:

— Pater noster…

Надо было мгновенно подняться и продолжить строку:

— Ave, Maria, gratia plena… — Привет тебе, Мария, преисполненная благодати…

— Te Deum laudamus, Te Dominum confitemur… — Тебя, Боже, восхваляем, Тебя, Господи, исповедуем…

Надо было накинуть облачение и, прочитав в келье утреннюю молитву, отправиться в часовню — на молитву общую и на раннюю мессу.

Возносить молитвы надо было семижды в день.

Специальному искусству молитвы, изустно произносимой, и молитвы мысленной будущих монахов обучали в месяцы послушнического искуса. Опытные глаза наставников зорко следили, хорошо ли молятся меньшие братья, не отвлекаются ли мирскими мыслями, нисходит ли на них истинное раскаяние и экстаз божественной благодати.

Молились в трапезной перед завтраком.

Молились перед работой, и после нее, и перед обедом в трапезной снова. Обед проходил в полном молчании. Это время также не должно было пропадать для «божьих дел»: весь обед по очереди братья читали вслух, сначала один — из евангелия, потом, по звонку аббатского колокольчика, другой — из житий святых. Затем третий — из творений отцов церкви.

И лишь в праздничный день — например, в день именин кого-то из членов общины — после нескольких первых фраз аббат или приор прервет принявшегося читать коротким «Deo gratias» — «Благодарение богу». И тогда можно держаться посвободнее и даже поговорить за столом.

Вечером надлежало всякий раз провести «scrutinium examen conscientiae» — «экзамен совести», самоисповедь — пересмотреть всю дневную жизнь. Так ли ты молился, не ощутил ли в себе духовного холодка, не повысил ли голоса на брата своего, не впал ли в раздражение из-за чего-то, не согрешил ли хотя бы в мыслях?

Ибо собратьев по общине надо было любить более себя самого.

Послушнику «экзамен совести» помогал проводить брат-наставник. Полноправный член ордена подсчитывал ежесуточные грехи самостоятельно, но, кроме этого, раз в неделю в часовне происходили еще и capitulum culparum — всеобщие покаяния во всех совершенных и несовершенных грехах, ибо грех мыслимый тот же грех: хотел ли ты выбранить собрата, стукнул ли ты дверью — все то же, все то же:

— Mea culpa! Mea culpa! Miserere mei, Deus, secundam magnam misericordiam Tuam! — Моя вина! Моя вина! Помилуй мя, Боже, по великому милосердию Твоему!

В определенные ночи в кельях, в темноте, дабы не только чужой глаз, но и твой собственный не видел происходящего и не проснулась бы гордость за проявленное усердие, полагалось совершать особый обряд покаяния: вспоминать все, в чем ты должен повиниться, и бичевать себя многохвостой плетью — на конце каждого шершавого пенькового хвостика жесткий узел, специально предназначенный, чтобы тело твое — от которого ты отрекся, положив руку на евангелие, — «voveo et prornitto!» — терзалось до крови, как тело Спасителя, ради торжества духа и искупления грехов людских.

И кроме того, всегда — в саду ли, в часовне, в библиотеке — где бы ни пришло вдруг в голову, что ты согрешил, делом ли, словом ли, мыслью, — полагалось тотчас просить любого из братьев исповедать тебя и наложить эпитимию во имя твоего освобождения от греха.

Никто в светском мире не доходил до такой степени

совершенства! Там стреляли в людей из пушек, соблазняли девчонок, не достигших зрелости, а по ночам, мимо каменных оград святого Томаша и других монастырей в черных зашторенных каретах жандармы провозили в тупое молчание каменных нор Шпильбергского замка закованных карбонариев, выданных добрыми католиками во исполнение присяги, данной именем того же бога, и за обещанную плату. Убивали, предавали и не каялись. В мире и не думали доводить себя до такой степени совершенства. Но здесь полагалось выворачивать себя наружу, наизнанку всего, до самой маленькой внутренней складочки, и совершенствоваться в смирении, в полном отречении от себя самого, от права на свое желание, на свою собственную мысль, на свое отношение, мирское, непосредственное, человеческое. Полагалось совершенствовать себя в безропотности, в смирении, покаянии, спасать свою душу для жизни вечной и вместе с тем становиться образцом для тех, чьи души функционер Службы Спасения должен спасать, приучая к смирению, покаянию, безропотности.

Функционеру Службы Спасения душ надлежало быть эталоном христианского образа жизни, сформулированного в хорошо известных заповедях. Большая часть этих заповедей — простые нравственные нормы — перешли в Ветхий завет и в Новый завет из многовекового опыта человеческого общежития. Почти все они — «не убий», «не укради», «не лжесвидетельствуй», «чти отца своего», «возлюби ближнего» — по сей день признаны и законами и официальной моралью всех стран, и христианских и нехристианских, — речь не о практике политической и житейской, а об официальном признании этих норм. Лишь единожды на всей человеческой памяти эти элементарные моральные нормы были публично отвергнуты — Гитлером. Но и до него человеконенавистнические призывы не раз тоже звучали с многих тронов и амвонов. Однако они особым образом всякий раз словесно обрамлялись, и получалось, что грабежи и убийства возлюбленных ближних, насилия над их женами, лжесвидетельства против отцов и матерей должны быть еще и еще раз совершены именно ради утверждения на земле того господня царства, в котором все будут неукоснительно следовать замечательным заповедям.

Непогрешимая — как это провозгласил еще Августин — церковь сама определяла, что соответствует и что не соответствует нравственным нормам. И не случайно в начале V века Августин обрушился на ирландского богослова Пелагия и его последователей, осмелившихся утверждать — снимем с Пелагиевых рассуждений богословскую оболочку, — что человек

сам по себе волен быть нравственным или безнравственным, жить праведно или неправедно, и получалось, что бог уже больше ни при чем.

«Все хорошее и все злое, за что мы достойны хвалы или порицания, совершается нами, а не рождается с нами, — писал Пелагий. — Мы рождаемся не в полном нашем развитии, но со способностью к добру и злу; при рождении в нас нет ни добродетели, ни греха, и до начала личной деятельности нашей воли в человеке нет ничего, кроме того, что вложил в него бог».

Эти слова далекого предтечи гуманизма привели тогда Августина в неистовство, ибо они логически вели к отрицанию необходимости существования самой Службы Спасения душ.

Церковь не могла примириться с принципом свободы воли. Ей было необходимо признание того, что люди родились во грехе и земное общество не соответствует и даже не может соответствовать идеалу. Эта бренная жизнь — вроде бы пробирная палата, в которой все индивидуумы испытываются на способность к самоусовершенствованию путем покаяний и добрых дел за свой личный счет. В зависимости от достигнутого они сортируются в конце «на три разряда» — по числу отсеков мира вечного. Недостающее до полного совершенства оплачивается монетой или трудом на церковь.

Но удерживать в руках многомиллионную паству, лишать ее свободы воли могли только вышколенные функционеры, вымуштрованные солдаты, сами этой свободы воли лишенные. Однако чем больше прогрессировал человеческий интеллект, тем интеллектуальнее должен был быть и сам функционер, и потому тем в меньшей степени мог он повиноваться вслепую.

С интеллектуальными всякий раз полон рот хлопот, ибо scientia — их знание реального мира — вступало в противоречие с sapientiae — с ощущением вечности божественных дел, с верой и чувством долга перед церковью. И разве лишь провозглашенная Августином возможность сосуществования знания и веры могла еще как-то формально примирять разум и веру.

Для того чтобы эти противоречия обуздывать, функционеров связывали по рукам и ногам материальной зависимостью.

Точно так, как в известном нам случае одна сторона обязывалась «выплатить 100 (сто) флоринов компенсации сыну продавца Иоганну, если…», а другая «поступит в священники», так и здесь одна обязывалась: «Я, брат Грегор, клянусь и обещаю…», а другая за это — «жизнь вечную» и к тому же еще на земле известную обеспеченность (не надо ее преувеличивать) и,

главное, место в привилегированном сословии, перед представителями которого двери были открыты повсюду.

…Быть может, ночью 9 октября 1843 года ему приснился сон. И снилось ему, быть может, что он пришел в Хинчицы. В Хейнцендорф.

Доехал от Одрау до Гросс-Петерсдорфа на чьей-то телеге, а затем пошел знакомой дорожкой к дому. И в Петерсдорфе и в Хинчицах много людей было на улицах, словно в какой-то праздник. И почему-то никто не замечал его, никто не здоровался с ним, хотя все это были знакомые. Он кланялся встречным людям, а они не отвечали, словно не видели… И он подошел к своему дому. Из дверей вышли отец, мать и сестры, они были нарядно одеты, словно собрались к воскресной мессе. Он видел все до деталей, видел собачонку, которая крутилась в ногах у сестер. Она всегда лаяла — стоило только кому-то появиться в калитке; а здесь молча прыгала подле сестер. Он шел к крыльцу, а отец шел навстречу и вдруг свернул в сторону, остановился у яблони и стал рассматривать, как привился черенок. Мать и сестры тоже шли навстречу, и отец пошел от яблони навстречу ему и прошел мимо. И мимо прошли и мать, и Терезия, и Вероника. Отец был из тех дней, когда еще не упало на него дерево в графском лесу. Все прошли мимо. А потом однокашники из Philosophische Lehranstalt прошли и тоже его не увидели.

И он подумал во сне: «Так ведь я же теперь не дома, я же теперь в новициате. В другой жизни…»

…Он проснулся утром 10 октября. Сводчатый потолок кельи был уже совсем светлый. За окном хорошо были различимы желтые листья на деревьях. Почти тотчас дежурный монах постучал в дверь.

— Ave, Maria… — Первая строчка молитвы.

— Ave, Maria, gratia plena… — ответил брат Грегор и стал надевать рясу. Это была добротная ряса августинского монаха из черной шерсти, с широкими рукавами и капюшоном. Одна деталь в облачении должна была отличать его от полноправных братьев-августинцев — вот ему и не дали широкого черного кожаного пояса. В течение 365 дней новициата — пока он должен был постигать канон, «Regulae Augustini» [25], способы устной и мысленной молитвы и искусство ежевечерней самоисповеди, — пока он утверждается в намерении остаться здесь до конца дней своих, он, не приобщившийся еще к совершенству, должен был иметь видимое отличие от остальных.

Ни в этот год, ни позднее он не высказал досады оттого, что

заключил сей договор. Такой договор заключали тысячи. Его служба была уважаемой в тогдашнем мире, он поднялся на целую ступень пирамиды австрийского мира и мог подняться еще на следующую. Он был почти освобожден от каких бы то ни было забот.

Молитв и исповедей здесь было многовато, но все они были привычны с детства. А он привык учиться, любил учиться и учился всему, чему только учили.

Здесь, в стенах святого Томаша, регулярно, каждую неделю совершались capitulum culparum — коллективные покаяния.

И раз в два или в три месяца прелат Напп созывал орденских братьев на «реколлекции», на «экзерциции» — упражнения в духовном обновлении, конечно тоже состоявшие из долгих молитв, покаяний и проповедей всех членов капитула.

И самобичевания в темноте были, ибо они полагались для усовершенствования и спасения души.

Но все-таки Брюннский монастырь святого Томаша был весьма своеобразным учреждением в тогдашней моравской церкви. В нем собралось общество людей на редкость интеллигентных, в большей мере служивших богу на манер приснопамятного жонглера Богоматери — по светским специальностям. И поскольку то были люди, занятые многими делами и мыслями, они не доходили при исполнении причитающихся упражнений в благочестии до крайностей, до изуверства и самоистязаний.

Сохранились фотографии братии святого Томаша, одна (очень плохая) — 1848 года, другие сделаны позднее — в начале 60-х годов.

Если бы на этих мужчин надеть вместо сутан штатские сюртуки, большинству из позировавших перед объективом не нужно было бы менять не только причесок, но и выражения лиц: никаких следов отрешенности от земного — господа как господа, то ли «профессорский корпус» университета, то ли ферейн любителей словесности или симфонической музыки. На фото 1848 года у всех святых отцов — длинные, как диктовала тогдашняя светская мода, волосы. На фото 60-х годов почти у всех прически по требованию времени стали короче — почти такие, как ныне. Единственно, что обращает на себя внимание, — все бриты, и это в эпоху, когда носят пышные усы и бакенбарды… Впрочем, небольшие баки видны на щеках невысокого, начавшего уже толстеть и лысеть монаха лет сорока, который стоит во втором ряду и демонстративно, не к месту — кто это делает в ателье фотографа! — рассматривает сквозь очки цветок фуксии. Это как раз — Грегор Мендель.

Посредине группы — аббат, филолог-ориенталист, невысокий плотный «мужчина в летах», с лицом сосредоточенным и решительным. Восьмидесяти лет ему не дашь.

За его спиной скрестил на груди руки Франц-Теодор Братранек — худощавый длинноволосый «под Шиллера» (новой моде он не подчинился). Братранек — бывший аббатский секретарь, ставший к этому времени ученым. Он литературовед, натуралист и натурфилософ.

Вскоре после поступления Братранека в монастырь прелат Напп отправил его за монастырский счет в университет. По окончании университета Братранек познакомился с семьей Гёте, и это знакомство дало ему доступ к архивам великого. Перу Братранека принадлежат изданные в разные годы работы о переписке Гёте с Гумбольдтами и Штернбергом — по естественнонаучным вопросам, а также публикация на немецком языке писем польского поэта А. Одынеца о посещении — вместе с Адамом Мицкевичем — Гёте в Веймаре [26]. Естественно, публикация открывается довольно большим предисловием самого Братранека о Мицкевиче, его поэзии, его роли в развитии славянских литератур. Сие академическое произведение несет изрядный заряд антиавстрийской взрывчатки: в нем припоминаются разделы Польши, история бунтов Львовского университета, борьба польских писателей за возрождение национальной культуры — тут уж и не один Мицкевич, а и Бродзинский и Фредро, и не только о литературе упомянуто, но и о создании института Оссолинских. И никаких клерикальных или просто религиозных мотивов…

Фотография, о которой идет речь, сделана, видимо, после какого-то собрания капитула святого Томаша, ибо на ней запечатлены два человека, постоянно живущие вне стен монастыря, даже вне Брюнна. И первый из них — как раз Братранек: с 1851 года он профессор Краковского университета по курсу немецкой литературы; на этом посту он пробыл тридцать один год — до конца своих дней, и в монастыре появлялся либо во время вакаций, либо по вызову.

А второй — это Павел Кжижковский, музыкант и композитор, преподающий в Ольмюце. Он стал известен впоследствии как реформатор грегорианского церковного пения, собиратель чешской народной музыки и учитель Леоша Яначека. На фото он сидит в первом ряду, строго глядит сквозь очки в тонкой оправе и держит в руках какую-то раскрытую книгу. Быть может, клавир.

Почти все прочие члены группы не отходят от того же стиля. Выделяется, правда, полный, круглолицый монах, поднявший очи горе, что, впрочем, не придает ему вида особо благочестивого.

Сутана на нем как маскарадное платье. Ему пошел бы любой другой костюм: солдатская форма, роба рабочего, трико циркового борца, наконец. Это патер Матеуш Клацел — философ, астроном и журналист, любимый частный учитель «лучших брюннских семей» и видный деятель чешского национального движения — редактор газеты «Моравски новины», собиратель чешского фольклора и поэт, впрочем, видимо, весьма неоригинальный. Он автор двух сборников «Lyricke basne» и книги «Этика». В 1844 году Клацел был уволен епископом графом Шафготчем из Брюинского Философского училища «за распространение философских идей Гегеля».

Клацел, друг Менделя, — фигура бесспорно незаурядная и противоречивая. В 1867 году после смерти Наппа он баллотировался на настоятельский пост. Его не выбрали. Года Два спустя Клацел пришел к выводу, что сутана — одежда не по нему, и порвал с церковью. Благодаря содействию Менделя, своего счастливого конкурента на аббатских выборах, он получил заграничный паспорт, уехал в Америку и занялся там пропагандой идей утопического социализма, сильно приправленных, правда, религиозной аргументацией из учения Яна Гуса.

Заслуживает упоминания человек, которого нет на фотографии, ибо он умер летом 1843 года — еще до поступления Менделя в монастырь и, быть может, именно для Менделя освободил вакансию в капитуле.

Это патер Аврелиус Талер, страстный ботаник и фенолог. Он с великой тщательностью описывал растительный мир провинции и публиковал в местных газетах сообщения о том, какие цветы распустятся на ближайшей неделе и какая, по его прогнозам, предстоит погода — дабы возбудить у городского юношества интерес к этим предметам. Его руками было составлено монастырское ботанико-минералогическое собрание, благодаря которому Мендель, по собственным его словам, увлекся «естественной историей».

Но нам важны не столько «анкеты» обитателей монастыря, сколько их нравы — в противном случае не к чему было бы рассказывать о людях, изображенных на фотографии, а тем более о человеке, который на ней не изображен. В том-то и дело, что патер Талер — это «нравы».

И к тому же в самом привычном представлении о людях монастыря, ибо он был человеком эпикурейских наклонностей, и наверняка уже в первые дни пребывания в монастыре Мендель был посвящен в историю весьма красочную, которая, кстати, служит иллюстрацией мягкости режима у святого Томаша.

Познакомимся и мы с этой историей.

…Итак, в какой-то момент аббату-востоковеду показалось, что патер-ботаник слишком усердствует в увлечении «сырым весельем» («die feuchte Frohlichkeit»). Напп не был настолько суров, чтобы тотчас применить к почтенному патеру какие-то карательные меры, и однажды вечером, решив пристыдить коллегу, в полном парадном настоятельском облачении стал поджидать Талера в привратницкой. Где-то около часу ночи в привратницкой загремел веселый звонок подвыпившего ботаника. Дверь распахнулась, но вместо служки Талер увидел укоризненно смотрящего на него аббата. «О господи! — воскликнул ботаник с такой интонацией, словно перед ним был не щуплый в те годы ориенталист, а сам грозный Саваоф. — О господи! Я недостоин войти в твой дом!» — повернулся и — так заканчивает эту историю Ильтис — отправился («weitertrinken») пить дальше.

…Нам неизвестно, сколь часто и серьезно нарушали заповеди, обеты и орденский устав остальные члены капитула.

Пожалуй, вряд ли часто и вряд ли серьезно.

Почти все они были людьми интеллигентными, жившими напряженной умственной работой. Они были людьми, которых волновали наука, литература, этика, политика, судьбы Чехии. И еще все они были очень на виду в городе — в небольшом тогда городе, где все знали, чья дочка с кем согрешила и что соседи варят на обед. А их-то — учителей, профессоров, орденских священников, которые не имели права носить светскую одежду, — их-то в городе знали каждый ребенок, и каждая собака, и каждый соглядатай — и жандармский и консисторский. А ведь эти «свободомыслящие», «много о себе думающие» господа из монастыря святого Томаша были на крайне неважном счету.

Но все они были не из бронзы, а из мяса. Они просто были люди. И значит, им надо было быть очень осторожными. И они прошли школу осторожности — в церковной среде. И что-что, а если уж было нужно, то осторожными быть умели. Поэтому мы ни о ком, кроме патера Талера, ничего более не знаем.

Вот, например, через двадцать лет после смерти Менделя биограф Гуго Ильтис стал выпытывать у людей, которые его хорошо знали: «А женщины! Были ли они в жизни Менделя?»

Ильтиса, конечно, не интересовало, нарушал или не нарушал монах Мендель шестую заповедь. Бог с ней, с шестой заповедью. Не должен же в конце концов атеист быть более суров, чем конгрегация августинского ордена. Простой грех прелюбодеяния — даже священнику — после исповеди, покаяния и эпитимии может отпустить любой другой священник, не спрашивая имени грешника!…

Нет, Ильтис собрался писать книгу о долгой жизни человека, которого боготворил. А что за книга без любви? Что за жизнь без любви?… Но друзья Менделя молчали или говорили, что, мол, в связи с положением, которое занимал Мендель, женщины не могли играть в его жизни и судьбе заметную роль.

Густав Ниссль не выдержал все-таки натиска и сказал, что Мендель в определенные годы (он не сказал, в какие) часто бывал в доме у некоей фрау Ротванг и, кажется, были у него какие-то чувства.

Больше он ничего не сказал, Ильтис так все и написал — о положении, при котором роль не могла быть заметной, и том, что ему сказал Густав Ниссль фон Майендорф.

Когда Рихтер стал писать свою контрбиографию, он обрушился на Ильтиса: мол, тот пытался принизить великого ученого и великого католика.

Доводы Рихтера были очень странными. Он написал, что отыскал адреса всех фрау Ротванг, живших в Брюнне. И нашел в Германии сына одной из них — профессора терапии. И профессор терапии написал ему в 1931 году, что его матушка при жизни Менделя была слишком юной, но у нее была дальняя родственница постарше — фрау Анни Ротванг — хозяйка неплохого имения на краю города. Дом ее стоял на Дорнихгассе, 26. В ее доме, говорят, бывали в гостях духовные особы — а у кого из католиков и даже некатоликов они тогда не бывали в гостях!… Умерла Анни Ротванг в 1880 году. Если бы г-н Рихтер обратился к лейпцигскому терапевту пятью годами раньше, профессор мог бы справиться у своей матушки, не бывал ли у родственницы в доме на Дорнихгассе патер Грегор Мендель. Но увы, когда профессор читал в 1924 году только вышедшую книгу Ильтиса, он не обратил внимания на это место, а теперь матушки нет, и не спросишь…

И потому в 1943 году Рихтер обвинял Ильтиса — который уже эмигрировал перед приходом гитлеровцев из Чехословакии в Америку, уже создал там маленький филиал Менделианума и уже погиб в автомобильной катастрофе, — обвинял и проклинал за то, что Ильтис бросил тень на репутацию Менделя.

Вас удивляют выводы Рихтера? Автора тоже.

…А когда Мендель был жив — с самого момента его пострижения и до конца дней, — о его репутации тоже заботились.

Заботились, чтоб не мог нарушить заповедей.

Заботились, чтобы не пропускал молебствий и экзерциций. Когда назначались коллективные упражнения в благочестии, а он оказывался в это время в другом городе, ему писали, что

экзерциций назначены и надо на них прибыть.

Заботились, чтоб не нарушал уставную форму облачения — в монастырском архиве сохранилась записка аббата Наппа, адресованная приору: прелат писал, что патер Грегор систематически появляется с непокрытой головой, и просил приора разъяснить патеру Грегору, что он, будучи полноправным членом капитула, должен блюсти полагающуюся форму и не подавать дурного примера более молодым собратьям. И Мендель если не забывал, то одевался как полагается.

Заботились также и о том, чтобы случайно оброненные насмешливые фразы патера Грегора Менделя становились известны разному начальству и у того не было бы насчет патера Грегора никаких заблуждений. И начальство, до которого эти фразы доводились, реагировало на насмешливые суждения патера в меру своего ума и настроения.

Заботились, наконец, о том, чтобы будущий священник имел максимально глубокую и полную богословскую подготовку, а также и известное светское образование. И он учился так, как привык учиться. Ведь ради учебы он и пошел в монастырь.

После того как закончился год послушнического искуса, Грегор Мендель был тонзурован и рукоположен в низший из духовных сан «привратника» («ostiarius») и зачислен в Брюннский, как и все в Австрийской империи — конечно же, «кайзерлихе унд кёниглихе», — богословский институт.

И первый год он изучал историю церкви, библейскую археологию, древнееврейский язык, Ветхий завет, и введения и комментарии к Ветхому завету, и по всем этим предметам его прилежание было оценено высшим баллом: «diligentissime» — «старательнейший». А его знания — «primum eminentium» — «первым отличием». И его поведение было признано «ad prime conformes» — «первой степенью совершенства».

А на второй год он изучал церковное право, библейскую текстологию, Новый завет и комментарии к нему, и еще греческий язык и педагогику, ибо каждый священник при надобности должен уметь преподавать «слово божие».

И еще два года ушло на догматику и нравственное богословие, на литургические дисциплины и снова на методику преподавания в народных школах, а также на древние языки, без которых высокоученый богослов обойтись не может, ибо старинные сочинения, примыкающие к библейским и евангелическим, написаны на них.

То были халдейский и арамейский языки.

И еще он изучил язык корана — арабский.

И всякий раз его прилежание оценивалось баллом

«diligentissime», экзаменационные ответы — «primum eminentium», монашеское поведение — первой степенью совершенства.

И эти блестящие его успехи, и столь ярко продемонстрированные способности, и трудолюбие во всех областях, а также, в частности, в области изучения древних восточных языков, пробудили особую благосклонность у профессора библейской текстологии и восточной филологии — высокопреподобного настоятеля монастыря святого Томаша, его милости Сирила-ФранЦа Наппа. Ибо одно дело, когда ты слышишь лестные аттестации от других, и совсем другое, когда ты видишь воочию, что ты сеешь «разумное и доброе» на столь благодатную почву, как молодой брат по ордену патер Грегор Мендель.

И потому с необычайной быстротой патер Грегор Мендель поднимается по ступенькам церковной иерархии. Из «остиариев», «привратников» его посвящают в пономари («exortista»), из пономарей — в ктиторы, из ктиторов — в субдиаконы.

А три последние ступени лестницы он проходит за феноменальный срок — в… семнадцать дней. В субдиаконы его посвящают 22 июля, в диаконы — 4 августа, в священники — 6 августа 1847 года!

Перерывы меж посвящениями делаются только из приличия, и вот сам епископ моравский — высокородный граф Шафготч — совершает обряд в соборе своего ордена — в Доминиканском соборе святого Михаила. Грегор Мендель снова лежит на каменных плитах пола, раскинувши руки крестом, и снова под сводами плывет пение «Veni, Creator». Только на нем теперь не старенький сюртучишко, а сутана и стихарь.

Трижды епископ вопрошает братьев и паству, знают ли они посвящаемого и нет ли такого, кому известны препятствия к его положению в сан.

Тремя пальцами, смоченными в вываренном масле, епископ совершает миропомазание, возлагает на голову посвящаемого руки, дотрагивается ладонью до плеча и набрасывает на него ризу. Затем следует месса. Ее служит весь капитул. Такая коллективная месса совершается только по очень торжественным случаям, и это действительно высокое торжество, ибо вчерашний крестьянин, клирик Мендель посвящен в сан, равный дворянскому, рыцарскому. Правда, посвящаемого в рыцари ударяли по плечу мечом, а ему на плечо епископ положил только ладонь, но все равно он теперь рыцарь духовного воинства.

Затем Грегор Мендель вкладывает свои руки в ладони епископа и произносит обет слепого послушания — ему, графу Шафготчу, лично и его преемникам в диоцезе. Церкви он дал обет

четыре года назад. Но церковь — организация строгая. И подчинение расписано строго. Теперь ему отведено точное место. Отныне он личный вассал графа Шафготча.

Это снова древний обряд. Он так и называется, как обряд рыцарской вассальной присяги «homagio», ибо вассал объявляет себя «homo» — человеком сеньора. Только у рыцарей он обязательно завершался символическим вручением феода, бенефиция. Сеньор что-нибудь вручал после клятвы вассалу — стрелу, палочку, соломинку — неважно что. Соломинка обозначала землю, отданную во владение за службу, землю с людьми, на ней живущими.

…Теперь он рыцарь церкви.

Через год — в 1848-м — он окончит курс богословия и тоже получит бенефицию. Приход. И долю с десятины, которую в этом приходе сбирает церковь.

Ему предстоит еще одно торжество: «primitium» — «первая месса после рукоположения». По обычаю ее служат на родине. Он будет служить ее в Гросс-Петерсдорфской церкви, где по сей день еще, кряхтя, взбирается на кафедру старенький Иоганн Шрайбер, перепутавший дату его рождения.

Это будет большое торжество. Все Хинчицы будут в церкви. И мать с умилением станет следить, как он поднимет дарохранительницу:

— Hoc est enim corpus Meum! — Сие есть тело Мое! — скажет он и пойдет с чашей мимо коленопреклоненных прихожан, тех, что исповедались, и будет аккуратно вкладывать в рты — упаси бог, чтоб не уронить! — круглые лепешки из пресного, как для еврейской мацы, теста, ставшего «телом Христовым». А потом он вернется к алтарю и причастится сам, как полагается священнику, уже не одной облаткой, а и хлебом и вином из другой чаши.

— Hie est enirn calix sanguinis Mea! — Сие есть чаша крови Моей, за многих изливаемой,.,

На тайной вечере Христос причащал вином и хлебом лишь апостолов, лишь тех, кому перед Голгофой предназначил проповедовать его учение. Но, кроме апостолов, на той вечере некого было причащать.

…А зятю Штурму придется хорошенько раскошелиться: ведь по договору он обязан оплатить все расходы по первой мессе. Хинчицкие и гросс-петерсдорфские жители — родственники, свойственники, прочие — знают, чем должно сопровождать такое событие. И перед расходами Алоиса Штурма не постоит никто.

VIII. ПОРОХ ДЛЯ ФИНАЛЬНОГО ВЫСТРЕЛА

Потом в его жизни совершилось новое событие — еще один, не угадывавшийся прежде, серьезный и казавшийся ему счастливым поворот.

И как только свершилось, он тотчас опять очутился на мели: «Денег, денег, денег и денег!!!»

Он писал в монастырь Рамбоусеку:

«Цнайм [27], 31/10

Милый Ансельм!

Твое письмо с вложенными пятнадцатью флоринами я получил. Благодарю за услугу и прошу Тебя и впредь быть моим поверенным в делах при Его высокопреподобии г-не прелате. Было бы очень мило, если бы Е. В. г-н прелат соизволил разрешить выплату месячных и платяных денег под конец следующих каникул включительно. Я рассчитываю на 42 фл. от месячных денег с апреля по сентябрь (январские, февральские, мартовские уже отписаны патеру Матеушу) и еще на 24 фл., причитающихся на одежду, белье и облачение. Из 66 этих флоринов пятнадцать я уже заполучил, а 50 фл. причитаются г-ну приору, ибо он был настолько любезен, что выдал мне эту сумму в Цнайме, когда я ему сообщил о затруднительном своем положении. Тот один гульден, что от этого остается, принадлежит патеру Христозомусу, коего я тут же прошу набраться терпения до наступления моей платежеспособности при раздаче топливных денег.

Окажи мне любезность и приведи эти 51 флорин в движение с елико возможной скоростью, дабы был удовлетворен г-н приор. Хорошо будет, если ты при сем не удосужишься сообщить Е. В. г-ну прелату, что эти 50 флоринов я уже одолжил, а просто скажешь, что эти деньги немедленно высылаешь мне, так как я, мол, очень нуждаюсь. Упомянутые же 50 фл. ты передашь г-ну приору вместе с моей благодарностью — и дело с концом.

Ящичек с бельем прибудет в среду между 6 и 7 часами вечера в гостиницу «У трех петухов». Фрау Смекаль [28] будет очень добра, если тем же вечером пошлет его в стирку. С той же оказией я перешлю Вам пробный оттиск «Славянской народной поэзии» [29]. В Цнайме ничего интересного.

Шлю свои приветы Е. В. г-ну прелату и многократно приветствую всех господ братьев.

Г. Мендель.

Моя квартира находится в Верхнем Богемском переулке, № 50» [3].

Вот так: он, Мендель, прославившийся упорядоченностью, на этот раз, ставя дату, забыл написать год… Очень торопился. Такие письма в ту пору почтой посылать не стоило. Добрые католики на брюннской почте могли бы прочесть и доставить не Рамбоусеку, а прелату или в епископскую канцелярию. Тогда плакали бы все расчеты и не оберешься греха. И в монастыре, где все друг другу братья, тоже могли бы найтись любопытные глаза и длинные языки. Такое письмо лучше было посылать с оказией, чтоб его наверняка вручили милому Ансельму в собственные руки.

Вот он и боялся упустить оказию и спешил, наверное.

Однако известно, когда жил он в Цнайме: с сентября 1849-го по август 1850-го. А так как сохранились кое-какие документы года, предшествовавшего переезду, и еще кое-что из свидетельств этого времени, можно попытаться реконструировать события, хотя «белые пятна», увы, останутся в изобилии.

Не правда ли, заметны изменения в его характере?… Смиренный, робкий, прилежный, приветливый — поведением своим непременно «ad prime conformes», — патер Грегор бойко теперь наставлял Ансельма Рамбоусека, как тому надлежит изворачиваться перед прелатом Наппом, выпрашивая для него, Менделя, денежное содержание аж за год вперед. И ни одного благочестивого слова при этом.

А в Цнайме он очутился после того, как в последние дни сентября 1849 года ему, канонику Менделю, было вручено послание, подписанное самой высокой в Брюнне персоной:

«В Цнаймской гимназии открывается седьмой класс, и тамошняя городская община берет на себя расходы по его содержанию. С этим связана необходимость назначения нового супплента, который бы преподавал в пятом классе латинскую, греческую и немецкую литературу, а в пятом и шестом классах математику. Учитывая Ваши старания, я нахожу Вашу кандидатуру подходящей для исполнения в Цнаймской гимназии должности супплента по этим дисциплинам и предлагаю Вам незамедлительно направиться туда, представиться тамошнему учительскому корпусу и приступить к службе, получив на месте компенсацию за расходы по переезду и жалованье супплента в размере 60% от установленного для дипломированного преподавателя гуманитарных наук.

Штатгальтер граф Лажанский».

В документе есть незнакомый термин «супплент».

«Сулшлент», или полным титулом «супплент-профессор» [30], буквально соответствует российскому «экстраординарный профессор». Но в России «профессор» — звание чисто университетское, а в Австрии и Германии так непременно величали даже наставника самых сопливых гимназических первоклашек (последних те называли студиозусами, студентами), и не от любви к громким чинам: просто эти немецкие слова, перейдя в русский язык, получили несколько более узкий смысл.

Впрочем, любовь к громким чинам тоже была, и она комбинировалась со строжайшим соблюдением табели рангов. Для различия говорили и писали «эмеритальный профессор Троппауской прогимназии» [31] и «супплент-профессор Венского университета». А гимназический супплент — это «зауряд-учитель», «учительский помощник», «исполняющий обязанности»: он, быть может, преотличнейше преподает, но при этом является лицом не вполне правомочным, так как либо не имеет диплома, либо принят временно.

Судя по цитированному посланию, ведомство просвещения на супплентском жалованье как раз и наводило экономию.

Предписание наместника вкупе с другими документами позволяет начать восстанавливать события.

В нашем распоряжении автобиография Менделя. По полагавшейся форме, без тех вольностей, что в письме из Цнайма, он писал обо всем предшествовавшем так:

«…В 1843 году упомянутый испросил и получил согласие и был принят в августинский монастырь святого Томаша в Альтбрюнне.

Благодаря этому шагу его материальное положение в корне изменилось. В столь необходимом для каждых занятий благотворном благополучии физического существования к нему, с глубоким почтением нижеподписавшемуся, вернулись и мужество и силы, и он в течение пробного года штудировал предписанные классические предметы с большим прилежанием и любовью. В свободные часы занимался он маленьким ботанико-минералогическим собранием, предоставленным в монастыре в его распоряжение. Его пристрастие к области естествознания становилось тем большим, чем большие возможности получал он отдаваться ему. Хотя упомянутый в этих занятиях был лишен какого-либо руководства, а путь автодидакта [32] здесь, как ни в какой иной науке, труден и ведет к цели медленно, все же за оное время упомянутый приобрел такую любовь к изучению природы,

что он не жалел уже сил для заполнения имевшихся у него пробелов путем самообучения и следуя советам людей, обладавших практическим опытом. В 1846 году упомянутый слушал также относящиеся к этой области лекции по хозяйствованию, садоводству и виноградарству в Философском институте в Брюнне (приложение H, J, K).

Далее, в 1848 году, завершив курс богословия, с глубоким почтением нижеподписавшийся получил от своего Высокопреподобного господина прелата разрешение готовиться к экзаменам на степень доктора философии. Когда же в следующем году он укрепился в намерении экзаменоваться, то ему было вручено предписание занять место супплента императорско-королевской гимназии в Цнайме, каковому зову он последовал с радостью…»

Кажется, все просто: поступил в монастырь — сам просился туда; учился самоотверженно богословию, самообучался естествознанию. Чуть было не стал доктором теологии, но вдруг в Цнайме открылась вакансия, и штатгальтер сказал: «Подать сюда Менделя!» — словно больше некого было подать. А он человек, обученный смирению. Он идет с радостью исполнять новую миссию, хотя посылают его преподавать не естествознание, не ботанику, которой он увлекался, а литературу — латинскую, греческую и немецкую. И математику.

Для Освальда Рихтера и монсеньера генерального викария ван Лиерде эти строки автобиографии не в пример предыдущий были бальзамом для ран душевных. Кстати, и доктор Алоис Шиндлер, племянник патера Грегора, «добрый католик», даже не попытавшийся уберечь от печки дядин архив, в том же духе говорил еще в 1902 году в речи памяти Менделя:

«Быть может, еще в пору искуса, когда он немало времени проводил в монастырском саду на вольной природе Божьей, разум и внимание Менделя были привлечены к естественным наукам, в особенности — к ботанике, ибо «…среди всех явлений природы ничто не влияет столь властно на дух и сердце, как изобилие растительного царства: растения — как уже давно их назвал поэтический дух народа — это платье земли, которое наподобие пестрого ковра опоясывает ее скалистое тело, смягчает неподвижность форм и оживляет ландшафт».

Процитировав сей пышный пассаж, Алоис Шиндлер тотчас сослался в речи на первоисточник: Карл Мюллер, «Книга растительного мира». Шиндлер подчеркнуто придерживался хорошего тона.

…Итак, в Цнайме открылась вакансия, и прелат Напп, поскольку он — как мы помним — был «K.K. Gymnasial-Studien-director fur Mahren und Schlesien», дабы дело не страдало, подсунул штатгальтеру заготовленный рескрипт и, сорвав с места почти готового доктора богословия, отправил его на иное поприще.

Но здесь приходится сделать поправку.

В 1849 году Его Высокопреподобие Напп был уже отстранен от должности директора всех императорско-королевских гимназий провинции. И что интересно, это произошло именно в 1849 году: в год разгула в Австрии контрреволюции, в период «закручивания гаек» и накануне заключения конкордата с Ватиканом, по которому католическая церковь приобретала невероятную власть в стране.

Противоречиво? Да. И официальные мотивы отставки нам не известны.

Но зато известно, что в дни революции высокий церковный и государственный сановник, кавалер высших орденов империи Напп и подчиненные ему монахи-августинцы, особенно чехи, вели себя так, что это по меньшей мере должно было вызвать недовольство властей, взбешенных восстанием Венгрии, баррикадными боями в Вене и Праге, студенческими демонстрациями и делегациями, колесившими по стране, крестьянами, которые не дождались утверждения учредительным рейхстагом новых законов, явочным порядком срывали с себя ярмо барщины и феодальных податей.

Революция поставила на край пропасти весь феодально-бюрократический габсбургский режим. Пришлось увольнять в отставку наиболее ненавистных чиновников, сочинять конституции, заигрывать с буржуазией и крестьянами, расстреливать из пушек рабочие кварталы Вены, впускать в Венгрию армию Паскевича и даже менять императоров: Франц-Фердинанд отрекся в пользу Франца-Иосифа.

И когда режим все-таки удержался, счеты стали сводить со всеми.

Шестидесятишестилетний Наш, прелат и «Gymnasial-Studien-director», конечно, и близко не подходил к баррикадам. И его монахи тоже. И вряд ли они перестали на время революции молиться и служить мессы. Но они все же посмели проявить неподобающие им симпатии.

Ярослав Кршиженецкий обратил внимание на обнаруженное в монастырском архиве письмо патера Ансельма Рамбоусека патеру Матеушу Клацелу, которому — как мы помним — Мендель позднее задолжал свое трехмесячное жалованье. (Клацел

накануне событий был отпущен аббатом на родину — это практиковалось, а у него была больна мать.)

Рамбоусек сообщал, что весной 1848 года из Брюнна в Вену выехала депутация революционных студентов и патриотов (то есть чешских патриотов, сторонников национального возрождения). В депутацию вошли двое чехов-монахов из общины святого Томаша — Филипп Габриель и Франц Теодор Братра-нек, одна из наиболее ярких в монастыре фигур, в то время личный секретарь аббата.

«Неделю спустя, — рассказывал Рамбоусек в письме, — приехала ответная депутация из венских студентов и гвардейцев [33]. Нам предстояло расквартировать 20 человек. Прелат сделался среди них весьма популярен, особенно после того, как однажды вошел в трапезную в широкополой фетровой шляпе и с великолепной студенческой трубкой в руке…»

Собственно, сам Напп всего только позволил двум «братьям» участвовать в революционной депутации, а всем остальным — принимать венских студентов, и еще проявил себя как радушный хозяин. Но так себя вели далеко не все аббаты и высокие чиновники — столпы церкви и трона. Весьма вероятно, что его отставка была связана именно с этими событиями…

Сам Грегор Мендель — по свидетельствам — встретил события 1848 года радостно. Он был сыном барщинного крестьянина, а революция хоть и потерпела поражение, все-таки смела остатки феодальных институтов, тяготевших над сословием, из которого Мендель вышел.

…Вернемся к Наппу. Он отстранен и в судьбе школьного дела города Цнайма не может быть теперь заинтересован по службе. Однако он заинтересован судьбой Менделя, своего меньшего собрата и ученика, вызвавшего его восхищение способностями и трудолюбием. Эмеритальный директор гимназий и училищ хоть он и не у дел, но все же персона. Связи и авторитет не утрачены совсем, и желаемого он может добиться.

Но вот новая загвоздка: судьба Менделя по окончании Богословского института уже устроена. Рукоположенный в священники двадцатисемилетний каноник получил превосходный приход в Старом Брюнне, и, конечно же, хоть он и отрекся от собственности, какие-то деньги за труды по Службе Спасения должны были попадать в его кошелек. (Кстати, о приходской службе почему-то в биографии не упомянуто.)

Следует не забывать еще такого обстоятельства: Мендель чувствовал себя обязанным помогать родителям деньгами, а более того, возместить младшей сестре Терезии жертву, принесенную семь лет назад. Сейчас для этого самое время:

Терезии исполнилось двадцать. Право, приход в центре Брюнна должен приносить, пожалуй, несколько больше, чем шестидесятипроцентный супплентский оклад.

Есть документ, поясняющий причины происшедшего, — официальное письмо прелата епископу графу Шафготчу. Вот оно:

«Ваше Милостивое Епископское Преосвященство!

Высокий Императорско-Королевский Земельный Президиум декретом от 28 сентября 1849 года за № Z 35338 почел за благо назначить каноника Грегора Менделя супплентом в Цнаймскую гимназию. Сообщая об этом Вашему Милостивому Епископскому Преосвященству в соответствии с возложенным на меня долгом, осмеливаюсь лишь присовокупить, что оный каноник образ жизни имеет богобоязненный, отмеченный скромностью, воздержанием и добродетельным поведением, его сану полностью соответствующим, сочетающимся с большой преданностью наукам;

к попечению же о душах мирян он, однако, пригоден несколько менее, ибо стоит ему очутиться у одра больного, как от вида страданий он бывает охватываем непреодолимым смятением и сам от сего становится опасно больным, что и побуждает меня сложить с него обязанности духовника.

Напп».

Таким образом, нам становятся известными некие любопытные детали событий, происшедших, когда новоиспеченный каноник попытался исполнять обязанности приходского священника. Позволим себе, однако, не ограничиваясь цитированием документов, поразмышлять над этими уже известными читателю деталями.

У патера Грегора — так свидетельствует это письмо — упорно не вырабатывалась профессиональная отчужденность гробовщиков, патологоанатомов и священнослужителей — способность близ мертвого тела с привычной деловитостью рассуждать о размерах гроба, качестве глазета, изменениях, обнаруженных при вскрытии в органах, или о райском блаженстве, уготованном душе покойного, если он был истым праведником или своевременно покаялся во грехах. Проза ремесла, хоть оно и способно «освободить от мучительных забот о хлебе насущном», оказалась для Менделя невыносимой настолько, что он чуть ли не очутился на грани душевного расстройства…

Что ж, может, так оно и было. А может быть, все было совсем не так?… Объяснение причин его ухода со священнического

поста, данное прелатом Наппом, было безоговорочно принято всеми биографами. Однако в 1967 году были опубликованы письма младшего из менделевских племянников — врача Фердинанда Шиндлера, написанные им в 1902 — 1909 годах на ужасном английском языке (одно — на немецком) замечательному английскому генетику Бэтсоиу. Младший племянник внес сумятицу в объяснение ряда событий жизни своего знаменитого дяди. Он писал, например, что в госпитале святой Анны, входившем в старобрюннский приход, каноник Мендель посещал не только палаты, где ему полагалось утешать больных к напутствовать умирающих. Он посещал еще и морг и присутствовал при вскрытиях трупов. Ему, видите, было интересно ознакомиться с анатомией человеческого тела; он рассказывал, вероятно, об этом своим племянникам, когда посылал их учиться на медицинский факультет. Трудно сказать, не вызвала ли нареканий такая любознательность каноника. Впрочем, среди медиков в католических странах и в те времена и позднее было известное число монахов. Но упомянутое свидетельство не согласуется с особой чувствительностью, описанной прелатом Наппом для оправдания ухода Менделя с пастырского поста. Можно предположить, что аббат-филолог просто считал не очень целесообразным, чтобы способнейший, отмеченный высшим отличием выпускник монастырской богословской школы нес обычную священническую службу, в которой его таланты не могли бы раскрыться должным образом.

…Впрочем, долго ли предстояло ему отбывать приходскую повинность?… Ведь он уже целый год готовился сдавать экзамен на степень доктора богословия (в Австрии вместо диссертаций писали письменные экзаменационные сочинения на предложенную тему). До сих пор все экзамены завершались для Менделя «primura eminentium» — «первым отличием». Вряд ли бы он провалился на докторском, а получив степень — пожалуй, это было тоже в пределах возможностей г-на Наппа, — мог бы занять и место преподавателя одной из богословских дисциплин в Брюннском теологическом институте.

И вот он, почти уже доктор теологии, меняет все эти перспективы на место «супплента», то есть «зауряд-учителя», «учительского помощника»!

В чем здесь дело? И почему в первый же месяц пребывания в Цнайме Менделя навещает приор — правая рука прелата?… Из-за чего столь скорая инспекция?… Может быть, какое-то происшествие вынудило отправить Менделя под благовидным предлогом из Брюнна?… Может быть, он преступил шестую заповедь и мотивы, содержащиеся в рапорте Наппа, — это всего

лишь благовидное прикрытие для скандала?… Уж на что, а на такие скандалы давно научились набрасывать камуфляж…

Но все это чистые домыслы.

Нет ни одного документального свидетельства, никаких отголосков «происшествия». Да к тому же, провинись Мендель, вряд ли было бы столь спокойным его письмо от 31 октября. И поэтому приходится остановиться на свидетельстве самого Менделя, на его автобиографии, на словах: «…упомянутый приобрел такую любовь к изучению природы, что он не жалел уже сил…»

У него появилась новая страсть, и ради этой своей страсти он пошел на жертвы.

Мы знаем, как складывалась его судьба, но мы помним, к чему он стремился в юности. Его приход на шаткую должность учителя без диплома был закономерен куда более, чем поступление в монастырь, если говорить, конечно, о логике стремлений, а не о логике обстоятельств. Будущее подтвердило, что в этой фразе официальной биографии он формулировал символ новой своей веры.

Но для епископской канцелярии, для «Его Милостивого Епископского Преосвященства, Высокородного Графа» — для ярого, реакционнейшего клерикала Антона Эрнста Шафготча, управлявшего Моравской епархией, логика стремлений молодого каноника не могла служить доводом. И единственным, что могло оправдать «перевод Менделя на другую работу», были доказательства его «непригодности» для несения основных обязанностей «по попечению о душах своих прихожан». Эти доказательства должны были говорить, что, продолжая нести такие обязанности, каноник Мендель может подорвать авторитет святой церкви.

И на приход в центре Брюнна, который Мендель освобождал, тоже хватало охотников.

А впрочем, и это только предположения…

Итак, осенью 1849 года каноник и супплент Мендель прибыл в Цнайм, дабы приступить к новым обязанностям.

То был маленький городок на юге провинции, очень живописный и, как говорят, славный разливанными реками доброго местного вина.

Жизнь складывалась, право, неплохо. Хоть Мендель и получал на 40 процентов меньше коллег, имевших дипломы, но он все-таки был теперь на собственных ногах, и, кстати, он пользовался у коллег уважением, ибо хорошо справлялся со своими обязанностями и, как говорят, был очень приятен в общении. Наконец, его любили ученики, которые всегда любят

людей талантливых и добрых.

Казалось бы, чего еще ему было нужно!…

Однако классическая литература, древние языки и математика не самые любимые предметы Менделя. Его привязанность — физика, ведь он был истым учеником Фридриха Франца, внедрившего в Моравии дагерротипию и увлекавшегося наблюдениями за солнечными пятнами. Но после Ольмюца круг его интересов расширился: привлекала ботаника, привлекала минералогия или — если говорить в совокупности — «естественная история». Именно эти дисциплины — никакие другие! — хотел он преподавать. Но Философские классы и Богословский институт — для штатного преподавателя физики это маловато!… Право, все снова складывалось по-дурацки! Он отказался от карьеры богослова, уже обеспеченной, а к тому, ради чего он от нее отказался, все еще не пришел, и ему уже стукнуло двадцать восемь.

Да и коллеги, единодушно ему симпатизировавшие, тоже советовали действовать предприимчивее. Ведь у Менделя не было учительского диплома, а посему, появись обладатель диплома, господину канонику пришлось бы уступить ему место; кроме того, супплент получал лишь 60 процентов полагавшегося по должности содержания. А почему бы, кстати, господину Менделю не получать полный оклад, благо часть своего скромного дохода он отсылает родителям и сестре в Хинчицы?…

Итак, был нужен диплом.

К диплому было два пути.

Один, более сложный и более долгий, — окончить университет.

Другой путь — более краткий — сдать в Вене перед специальной комиссией имперского министерства культов и просвещения экзамены на право преподавать такие-то предметы в таких-то классах, а такие-то — в таких-то.

Эрудиция лучшего из выпускников Троппауской гимназии, Ольмюцких философских классов и Брюннского богословского института казалась добрым цнаймским учителям ослепительной.

— О! Вам ничего не стоит сдать эти экзамены с вашим, патер Грегор, умом! С вашей, господин Мендель, памятью! С вашей, дорогой коллега, начитанностью… Даже особой подготовки при ваших знаниях это, пожалуй, не потребует, — твердили Менделю цнаймские «профессора», и такие же, как он, суппленты, и даже сам господин директор гимназии Шпалек.

А впрочем, не одними благими пожеланиями все исчерпывалось. Есть протокол заседаний цнаймского учительского корпуса, из которого следует, что еще в день

представления нового супплента коллегам гимназическое начальство столкнулось с серьезной проблемой. Доктор медицины Ротт, преподававший в Цнайме естественные науки, отказался работать еще в одном классе, в связи с открытием которого и появилась для Менделя вакансия. Когда Ротт отказался, то преподавать естествознание в этом классе вместо него вызвался Мендель. Однако вести сей предмет он имел право лишь временно. Слово протоколу:

«Это обстоятельство (отказ Ротта. — Б.В.), а также назначение к исполнению обязанностей преподавателя гимназии нового члена учительского корпуса требует четкого разделения курса и усовершенствования всего плана учебного процесса, тем более, что, как выяснилось, новый кандидат в учителя г-н Грегор Мендель не прошел по сию пору открытого конкурса на должность гимназического учителя» [34].

Не в одних лишь благих пожеланиях было дело, но и в суровой необходимости. Пусть она не всплывала в течение всего года, пока он работал. Но она могла всплыть впереди — эта необходимость иметь диплом!…

Конечно же, дирекция и «корпус» учителей с готовностью снабдили Менделя необходимыми ходатайствами, которые были отосланы по соответствующим адресам в Брюнн — в канцелярию штатгальтера и в Вену — в министерство. По тем же адресам пошло покорнейшее прошение самого соискателя учительского диплома с приложением автобиографии — той автобиографии 1850 года, которая так часто поминалась нами и в которой, если читатель заметил, Мендель, пожалуй, не совсем осмотрительно подчеркивал, что в монастырь он поступил лишь по принуждению обстоятельств, а помыслы его всегда были обращены к науке куда более чем к религии. И почему-то не упомянул, что был приходским священником, а лишь затем подался в учителя.

Может быть, нечто из этого было причиной, что ответ на прошение задержался. А вместо него из каких-то высоких инстанций — то ли венских, то ли брюннских, нам неведомо, — в гимназический директорат поступила бумага, которая свидетельствовала, что вопрос о допущении супплента Менделя к экзаменам еще не решен положительно. В той бумаге содержалось требование представить доказательства благонадежности господина Менделя, в течение года в Цнайме жившего, в Цнайме преподававшего, а следовательно, и находившегося под неусыпным наблюдением соответствующих персон: у одних — по долгу их службы, у других — по

доброхотному пристрастию к такого рода деятельности.

Та бумага, пришедшая из официальных инстанций, не сохранилась — во всяком случае, ни Ильтису, ни Кржиженецкому и никому из других биографов ее отыскать не удалось. Зато еще Ильтисом в архиве министерства культов и просвещения был обнаружен ответный документ, скрепленный рядом подписей и гимназической печатью. Он позволяет предположить, какие именно вопросы были поставлены перед лицами, которым надлежало надзирать за каждым шагом нового цнаймского обывателя. И не просто ответить «благонадежен», «не вполне благонадежен» или «неблагонадежен» должны были эти господа. От них требовались тщательные мотивировки каждого из пунктов секретной характеристики.

Вот он, примечательный документ тайных канцелярий Австрийской империи. Примечательно его содержание, примечательна лексика и особенно синтаксис, чиновничий синтаксис, позволяющий уложить в две фразы доводы и заключения, благодаря которым жандармским комарам не удалось и носу подточить:

«Со дня вступления его на отведенную ему учительскую должность упомянутый с каждым днем все в большей и большей степени развивал в себе наиболее положительные качества примерного и основательного учителя молодежи; к тому же упомянутый, используя возможности наглядной и яркой лекции и используя себя самого без отдыха и получая совершенно соответственно этим усилиям результаты, каждодневно доказывал, что он не только хорошо знаком со своим предметом, но и что благодаря постоянному неугасающему усердию и выдержке в деле чтения лекций и в тренировке по заучиванию учебного предмета, а также не в меньшей степени благодаря весьма деятельному влиянию на воспитание чистой морали и религиозности своих учеников проявил себя с особо выдающейся стороны, к чему стремился всеми своими силами.

В отношении же его морально-религиозных устоев, а также патриотических настроений и принципов, кои могут представлять особый интерес, нижеподписавшиеся считают своим долгом клятвенно заверить, что упомянутый всеми своими поступками и действиями доказывал, что он безупречно носит свой сан священнослужителя, что с приличествующим сыну церкви достоинством в разговоре никогда не прибегает к слову, которое, имея в виду морально-религиозные церковные принципы или принципы политические, в какой бы то ни было степени оказалось бы неподобающим или предосудительным для духовного лица; напротив, совершенным своим благонравием и

уединенностью, выражавшейся в том, что он ни с кем не имел обыкновения поддерживать общения, кроме как со своими коллегами, и ограничивал свои появления в свете лишь посещениями здешнего Ферейна Любителей Книги, да и то лишь совместно с остальными уважаемыми лицами города, за исключением только еще шестикратного посещения театра, но совершенного им всякий раз в обществе хотя бы одного из коллег,

— выше сообщенные затребованные сведения одновременно с чистой душой подтверждаются местными светскими и духовными властями».

Хорошие люди шили в городе Цнайме!… Хорошие люди были коллегами Менделя по Цнаймской гимназии, хотя по долгу службы им и надлежало наблюдать, не прибегает ли он к «слову, которое, имея в виду морально-религиозные церковные принципы или принципы политические, в какой бы то ни было степени оказалось бы неподобающим…», тем более что такое слово было Менделем произнесено. И более того, оно было зафиксировано. Правда, Мендель не затронул в нем принципов патриотических и не усомнился в существовании бога вслух. Просто Цнайм осчастливило своим посещением «Его Милостивое Епископское Преосвященство, Высокородный Граф Шафготч», и, нанеся подобающий визит своему сеньору, Мендель после визита прищурил глазки и обронил о его преосвященстве неосторожное:

— Ему куда тяжелей таскать свое сало, чем свои мозги!

Как пишет Ильтис, сие высказывание вассала было доставлено Шафготчу «тепленьким». Право, хорошие люди жили в городе Цнайме, в городе на юге Моравии, славном разливанными реками доброго местного вина!…

Но к экзаменам Менделя допустили.

Он претендовал на получение права преподавать физику в старших классах, а в младших — естественную историю.

И, судя по всему дальнейшему, он приступил к экзаменам в полной уверенности в удаче, рассчитывая, как и прежде, очаровать почтенных господ профессоров способностями и эрудицией, накопленной автодидактом.

Он привык к неизменному успеху. Нет ничего опасней такой привычки.

А будь Мендель в те дни менее самонадеянным, его, скромного супплента, должны были повергнуть в трепет уже одни имена экзаменаторов. Председателем комиссии был сам господин бывший министр общественных работ, физик Венского университета Баумгартнер, издатель «Zeitschrift fur Physik». Тот Баумгартнер, чьим учеником был сам господин Франц, добрый

ольмюцкий учитель Менделя!… Вторым экзаменатором по физике был господин Доплер, тот Доплер, которому суждено было прославить свое имя знаменитым «доплер-эффектом». Менделю, следившему, во всяком случае, за тогдашней научно-популярной литературой по физике, это имя тоже должно было быть известно. А экзаменатором по биологии был университетский профессор Кнер, автор фундаментальных монографий по ихтиологии и палеонтологии и более — автор учебника по естественной истории для высшей школы. Этот учебник издали недавно. Увы, к моменту экзамена он не дошел еще до маленького Цнайма, до библиотеки гимназии, в которой Мендель учительствовал, до библиотеки Ферейна любителей книги, какою он пользовался. Сей момент был роковым.

Другие члены комиссии числились в звездах подобной же величины.

…На первом этапе испытаний кандидату в дипломированные учителя полагалось представить письменные домашние рефераты по физике и естественной истории.

Первый этап испытаний кандидатов в гимназические учителя производился заочно. Мендель получил из Вены темы рефератов — темы серьезные, трудоемкие.

«Следует рассказать о механических и химических свойствах атмосферного воздуха и на основании первых объяснить природу ветров» — таким было задание профессора Баумгартнера.

Мендель мобилизовал все, что было им слышано, читано и проделано за годы учебы у Фридриха Франца. Он перерыл полки цнаймских библиотек — гимназической библиотеки и библиотеки Ферейна любителей книги.

Он собрал все сведения, какие мог, и все описания опытов, какие знал, видел и делал: опыт Торичелли с ртутным столбом и собственные чисто крестьянские его модернизации — с льняным маслом, водой и свежим молоком.

«Если поднять из долины на гору слабо надутый пузырь, складки на нем разгладятся. Если же надутый горным воздухом пузырь принести в долину, тамошний ветер сдавит его, и пузырь окажется слабо надутым, он сморщится».

Так рассказывал в реферате Мендель о наглядной демонстрации существования давления атмосферы. И быть может, Баумгартнеру или Доплеру при чтении привиделся незнакомый коренастый человечек с надутым пузырем в руке,

упрямо топающий из долины на один из бескидских хребтов, дабы собственными глазами увидеть, как давление будет раздувать пузырь изнутри, когда воздух снаружи окажется более разреженным. Боже мой, какое же это истинное чудо, когда ты собственными пальцами осязаешь описанные в скучных учебниках фокусы природы!…

Среди десятка описаний канонических демонстраций разных физических и химических явлений было, например, такое изложение опыта по разложению воды на составляющие ее компоненты:

«Если ствол ружья набить железными опилками и соединить с ретортой, в коей налита вода, а затем одновременно раскалить ствол с опилками и кипятить воду в реторте, дабы пар из нее попадал в ствол, произойдет исчезновение воды и изменение окраски железных опилок. Химическое разложение воды, по-видимому, вызывается тем обстоятельством, что кислород выделяется из воды и соединяется с раскаленными железными опилками в окись железа».

Нет, право же, ни один из химиков не пользовался для такого эксперимента ружьем!… Тогдашние лаборатории знали уже немало специальных и куда более удобных приспособлений — колб, реторт, дутых трубок, банок, ящиков, тиглей, созданных специалистами-стеклодувами, гончарами, медниками и жестянщиками для ученых опытов. И лишь крестьянскому парню, приехавшему на каникулы в свою деревню, могло вздуматься, дабы продемонстрировать соседским мальчишкам чудеса природы и науки, воспроизвести процесс разложения воды и окисления железных опилок в стволе от старого дробовика!…

Собственноручностью исполнения веяло от описанных опытов! Собственноручностью!…

И так как «профессор Цнаймской гимназии Г. Мендель» — именно этот титул с наивной горделивостью поставил он на обложке реферата — столь же подробно описал множество доказательств разного рода механических и химических свойств воздуха и составляющих его газов, а также вполне вразумительно в соответствии с тем, что писалось в заслуживающих доверия книгах, ответил на вопрос о природе ветров, сей труд заслужил благожелательнейший отзыв профессора Баумгартнера и профессора Доплера.

Однако вместе с этим сочинением в Вену в адрес высокой комиссии было отправлено и другое — по естественной истории, где ему следовало:

«…рассказать о вулканических и нептунических процессах и об образовании минералов».

И хотя он был, бесспорно, столь же прилежен в перекапывании библиотечных полок и компилировании сведений, почерпнутых из проштудированных книг, второе его сочинение заслужило резко отрицательный отзыв экзаменатора по естествоведению господина профессора Кнера. И сей отзыв мог бы оказаться роковым уже на этом этапе. Но не оказался.

Из-за Баумгартнера. Баумгартнер был все-таки председателем комиссии и бароном. Он уже побывал в министрах общественных работ, а к этому времени ведал одной из секций министерства финансов. Слово его весило много.

Барону Баумгартнеру крайне понравился реферат этого молодого господина, который по любознательности явно сам проделывал множество физических и химических опытов, чем выказал истинный интерес к познанию природы и известную изобретательность в этом деле.

Приложенные к прошению дипломы и рекомендации свидетельствовали, что кандидат в учителя в прошлом успешно учился. Он хоть и назвал себя на обложке рефератов «профессором Цнаймской гимназии», но тем не менее проявил известную скромность, оценивая свои прежние достижения — в автобиографии, которая, конечно, была прочитана и господином Баумгартнером и господином Доплером. Ими, видимо, с особенной благосклонностью были встречены слова о трудности и ненадежности самообразования, «автодидакта». Всем университетским профессорам такая мысль всегда по душе. Она утверждает их общественную ценность.

Нет, Баумгартнер счел необходимым настоять на том, чтобы автор столь понравившегося ему реферата был допущен ко второму этапу испытаний — к письменным сочинениям по физике и биологии, которые он должен был выполнить в Вене, в присутствии экзаменаторов. И Мендель написал в присутствии экзаменаторов письменные сочинения.

Второе сочинение по физике — теперь уже по физике металлов — было не столь удачно, как первое. Относительно металлов знания «профессора Г. Менделя» были книжны и необширны, и в сочинении уже не звучала наивная радость от собственного общения с изучаемым предметом. В монастыре металловедение как-то было не в моде, а в Ольмюце и в Хинчицах опытов по структуре стали он тоже не делал. Тем не менее профессор Баумгартнер и профессор Доплер сочли возможным

допустить кандидата к третьему этапу испытаний, к устным экзаменам.

Но отзыв профессора Кнера на второе сочинение по естественной истории был уже просто разгромным, и неведомо какие дебаты шли за закрытыми дверями комиссии, пока физики и биолог выработали некую общую точку зрения. Но факт есть факт: в августе 1850 года на экзаменах в правительственной комиссии Имперского министерства просвещения провалился прилежнейший из учеников Ольмюцких философских классов, провалился непременный «erster vorziiglicher» и постоянный «primum inter eminentius» — «первый среди отличившихся» из выпускников Брюннского богословского института, чуть было не ставший уже доктором философии. Провалился талантливейший из супплентов, когда-либо пробовавших свои учительские силы в Цнаймской гимназии, которому, по мнению его добрейших коллег, было по колено само синее море. На экзамене по биологии провалился, наконец… но не будем забегать вперед в перечислении достоинств и заслуг Грегора-Иоганна Менделя перед человечеством. Он пока всего лишь кандидат в учителя, который был обязан доказывать комиссии, что его знаний достаточно для преподавания физики в старших классах гимназии, а естественной истории — в младших.

Над этим происшествием много лет спустя долго будут ломать головы биографы Менделя и менее осторожные — из тех людей, что пытаются отыскать проявления гениальности в каждом чихании человека, заслужившего бессмертие, — станут слагать легенды об этом событии.

Итак, что же было известно о загадочном конфликте между Менделем и Кнером?

Во-первых, что Мендель явился на экзамены в каникулярное для членов комиссии время, и Кнер, так говорили, был страшно недоволен, когда его оторвали от отдыха.

Во-вторых, профессор Кнер, как говорили, был известен своими крайними антиклерикальными настроениями. А перед ним предстал в качестве экзаменующегося монах, представитель ненавистного ему лагеря! — эта ситуация так и толкает нарисовать картину красочную и драматичную, однако не имеющую с действительностью ничего общего, ибо монах и антиклерикал, коль речь шла о взглядах, должны были на экзамене найти общий язык. Да, да! Ибо в раскритикованном Кнером первом — домашнем — сочинении о вулканических и нептунических процессах Мендель излагал теорию Канта — Лапласа о происхождении мира и утверждал, что эта теория дает объяснение почти всем основным проблемам геологии, которые

трактовал близко к идеям Лайеля, тогда широко популярным. Вот написанные его рукой весьма примечательные строки:

«…Вулканические и нептунические образования еще не достигли своего завершения, и творческие силы Земли все еще находятся в действии. Пока ее огонь горит и атмосфера колеблется, до тех пор история ее творения не завершится».

В этом случае остается предположить, наконец, и такое: мышление Менделя пришлось профессору Кнеру не по душе, ибо молодой монах оказался большим материалистом, чем воинствующий антиклерикал.

Право, биографам было о чем гадать до той поры, пока им был известен только сам факт провала Менделя на экзаменах по биологии и пока дотошный Ильтис еще не отыскал в архивах министерства просвещения упраздненной Австрийской империи педантично «подшитые к делу» подлинники экзаменационных работ одного из многочисленных супплентов, претендовавших на звание гимназического учителя, — мы уже цитировали эти работы. Вместе с ними ведь были подшиты в дело и отзывы на эти работы Кнера, одного из многих экзаменаторов, заседавших в правительственной комиссии. Но когда Ильтис в 1924 году опубликовал результаты своих розысков, все оказалось весьма прозаичным.

Увы, супплент Мендель действительно изложил теорию Канта — Лапласа и идеи Лайеля, и тем не менее в своем домашнем сочинении по естественной истории вечный первый ученик все же не был на должной высоте. Как ни были правильны его исходные посылки, вместо того, чтобы четко отвечать на вполне конкретные вопросы о чередовании геологических эпох, он отделывался уклончивыми общими фразами.

Но если можно еще спорить о том, не был ли профессор Кнер слишком резок в своей оценке первой его работы, то второе сочинение — по зоологии, написанное цнаймским супплентом в присутствии экзаменатора, увы, не может вызвать двух мнений.

Воистину неверен и тернист «путь автодидакта» в науке!…

Мендель должен был дать классификацию млекопитающих и указать хозяйственное значение наиболее важных видов.

Он дал эту классификацию. Дал по старому учебнику. Да и ее переврал изрядно — и по недостатку знаний и от растерянности.

Как все дилетанты, он хорошо знал полюбившиеся ему вопросы биологии. Попади перст экзаменатора в другой пункт программы — в ботанические ее разделы, и Менделю, может быть, удалось бы блеснуть, ведь он так прилежно и долго корпел

над ботанико-минералогическими коллекциями патера Талера и над ботаническими книгами библиотеки святого Томаша — в том числе над трудом брата Братранека «Эстетика растительного царства»! Но коллекции были «ботанико-минералогические», а не «зоолого-минералогические»… И на экзамене сработала не случайность, а закономерность. Перст Кнера уперся в «белое пятно» — сначала в одно, затем в другое, — и млекопитающие были поделены Менделем на 1) рукокрылых, 2) зверей с лапами, 3) ластоногих, 4) копытных и 5) «когтеногих». В одну группу («зверей с лапами») он свел кенгуру, зайца и бобра. Слон попал в копытные, к «когтеногим» были причислены три вида: собака, волк и кошка. Дало себя знать и церковное воспитание тоже, ибо экзаменуемый каноник не решился зачислить человека, наделенного бессмертной душою, в отряд приматов вкупе с обезьянами. Хотя до выхода известного Дарвинова труда оставалось еще довольно много времени («Происхождение человека» увидело свет в 1871 году), зоологи-классификаторы давно установили родство между всеми «гоминидами». Кощунственное родство!

…Видимо, прежние успехи и бесконечные похвалы вскружили ему голову, а теперь, в панике, охватившей его в предвидении неизбежного, никогда прежде не случавшегося с ним провала, испытуемый утратил и гладкость слога и остатки здравого смысла, ибо написал, что из этих трех видов лишь кошка единственная, бесспорно, имеет хозяйственное значение, «благодаря тому, что она питается мышами» и «ее мягкая красивая шкурка перерабатывается скорняками». Право, в своей рецензии зоолог был даже к нему снисходителен — и в ней есть строки, свидетельствующие о том, что Кнер понимал, где причина ошибок экзаменуемого. Старые учебники, по которым Мендель готовился, были еще тому виной!… О библиотека Цнаймской гимназии! О библиотека Цнаймского ферейна любителей книги!…

И где-то в той рецензии даже проскочило замечание, что если бы кандидат готовился к экзамену по его, Кнера, учебнику, такой накладки могло не получиться. Но две-три снисходительные фразы не меняли смысла оценки.

Решение комиссии прозвучало для Менделя как приговор.

«Кандидат обладает известными познаниями, однако ему недостает воззрений и, в частности, необходимой ясности в знаниях, вследствие чего комиссия вынуждена пока что отказать ему в праве преподавания физики в прогимназии. Однако, имея в виду совершенно очевидную добрую волю кандидата,

позволяющую с полным основанием полагать, что, продолжая учение при надлежащем руководстве, он бесспорно в не слишком отдаленное время достигнет знаний, необходимых для преподавания в гимназии, сочтено целесообразным предоставить кандидату право допущения к повторным испытаниям в означенной комиссии по прошествии года».

Полемика, происходившая за закрытыми дверями, нашла в решении свое отражение. У супплента был защитник — Баумгартнер. Мендель вызвал у него симпатии. И рефератом, и тем, что учился в Ольмюце, где профессор когда-то начинал свою карьеру, и тем, что был учеником его ученика патера иранца, — ведь Баумгартнер узнал обо всем этом. И это он настоял на том, чтобы в решение были внесены слова о способностях и доброй воле кандидата, который при надлежащем руководстве, бесспорно, быстро достигнет нужных знаний и потому, в порядке исключения, может быть сызнова допущен к экзаменам через год. И все же это было катастрофой. Полной катастрофой, ибо, получив официальный отзыв о своих знаниях, которые так восхищали его добрейших коллег по цнаймскому учительскому корпусу, Мендель не мог более преподавать естественную историю и физику в гимназии городка, славного добрым вином. На черта были ему латынь, греческий, математика и литература? На черта?!!

А ведь он так надеялся — скажем прямо — навсегда избавиться от перспективы то ли время от времени, то ли регулярно тарабанить требы. Он так мечтал посвятить себя естествознанию! Сколько страсти было им вложено в слова прошения, обращенного той весной к высокой экзаменационной комиссии!…

«Преисполненный благоговения, нижеподписавшийся полагает, что на сем он может закончить краткий обзор истории своей жизни. Полная невзгод юность его рано познакомила с серьезными сторонами бытия, она же научила его и трудиться. И даже когда ему представлялась возможность вкушать плоды жизни, свободной от забот о хлебе насущном, в нем не угасала мечта зарабатывать на жизнь своим трудом. Нижеподписавшийся посчитал бы себя счастливым, если бы он мог соответствовать требованиям достопочтенной экзаменационной комиссии и достиг бы, таким образом, воплощения своей мечты. Если бы это случилось, он, конечно, не пожалел бы ни сил, ни старания, дабы исполнять свой долг самым пунктуальнейшим образом».

Так надеялся, так надеялся!…

Из Вены он поехал не в Цнайм, а в монастырь.

Он не мог заставить себя показаться на глаза коллегам по гимназии, столь обманувшимся в высоком своем мнении о способностях и знаниях «профессора Г. Менделя». Он лишь отправил почтой своим квартирным хозяевам очередную и последнюю плату за жилье, сообщил, что, увы, возвращается в обитель и будет хранить в душе добрые воспоминания и вечную благодарность за заботы. Еще он просил собрать оставленные им вещички и книжки и переслать их в Брюнн с оказией по тому же маршруту, каким он прежде отправлял свое исподнее, когда оно нуждалось в стирке. Фрау Смекаль в нужный час отправила мальчишку-посыльного в гостиницу «У трех петухов», и вещички были водворены в келье.

Он был разбит происшедшим так, что в пору было противу природы и закона божьего руки на себя наложить.

Период с августа 1850 года по апрель 1851 года — сплошное «белое пятно» в его биографии. Болел ли он с расстройства или все-таки был здоров, молился ли, как подобает честному отшельнику с утра до ночи и снова до утра в своей келье и в часовнях, кляня себя — «Mea culpa! Mea culpa!» — за гордыню, за самонадеянность, или, наоборот, смиренно благодарил бога в молитвах за соответствующее вине наказание и за отеческое вразумление, — мы не знаем.

Это могло происходить, если бы он был таков, каким его рисовали Рихтер и ван Лиерде.

Но весьма вероятно, что, без особого благочестия отработав положенное монастырскому нахлебнику число поклонов и молебствий, вместо всего упомянутого прежде все свои свободные минуты он штудировал учебник по естественной истории, вышедший из-под пера профессора Рудольфа Кнера, и разные другие биологические книжки, которых в библиотеке святого Томаша, между прочим, хватало. Известно, кстати, что всю осень после возвращения он проработал в монастырском саду. Садом он занимался с самого поступления в орден. Прежде садом ведал Талер, теперь он.

Не стоит тратить труда на поиск вещественных доказательств того, что у Менделя на душе в ту пору скребли кошки — эти «единственно полезные в хозяйстве «когтеногие». Однако в какой-то момент он твердо предпочел слезам дело. Есть основания утверждать это. Вот они, основания.

В марте 1851 года заболел доктор Хельцелет, преподаватель естественной истории Брюннского технического училища. Эта

фамилия нам встречалась: доктор Хельцелет прежде работал в Ольмюце, и Мендель учился у него в Philosophische Lehranstalt. 3 апреля 1851 года «учительский корпус» — по-нынешнему «педагогический совет» — училища принял решение пригласить для временного замещения профессорской должности каноника монастыря святого Томаша г-на Грегора Менделя.

Протокол этого заседания нашел в 1922 году Рихтер. Судя по его изложению, в протоколе содержатся, право, любопытные подробности. При обсуждении предложения пригласить Менделя в суппленты два члена учительского корпуса — профессор Коленатый и профессор Грубый — расточали кандидату истинные дифирамбы, рассказывая о его выдающихся способностях и уже осуществленных научных работах. И как ни странно, все это говорилось после провала в Вене, и на совете Мендель-естествоиспытатель был назван не менее как «звездой первой величины на ученом небосводе». Обоснований столь высокого мнения Рихтер не привел (может быть, они и в протоколе не зафиксированы). А нам теперь остается только гадать, чем дифирамбы были заслужены.

Погадаем.

Из восьми лет, прошедших от поступления в монастырь, шесть лет — до Цнайма и некое время по возвращении — вперемежку с монашескими упражнениями в благочестии, штудированием халдейского языка, церковного права и технологии богослужений Мендель проработал в монастырском саду и в оранжерее. Работать полагалось всем монахам, а он был сыном садовника и влюбился в природоведение.

А сад отшельнической общины святого Томаша был знаменит и в Брюнне и за его пределами. По авторитетному мнению городских мальчишек, лучших незрелых груш в городе не было. (Груши, если помнит читатель, способны были соблазнить даже будущего святого Августина.) Однако, кроме мальчишек, сад уже через калитку навещали и более солидные господа — известные и в Брюнне, и во всей Моравии, и даже во всей империи специалисты по части помологии, то есть плодоводства. Их интерес был уже не только дегустационным, но и академическим. Не один десяток лет — с тех пор как августинцев переселили из здания, занятого под штатгальтерство, к подножью Шпильберга, здесь выращивались под небом и под стеклянной крышей оранжереи редчайшие сорта. Сад и оранжерея являлись как бы частью знаменитых монастырских ботанических коллекций. Поле для деятельности было. Так, быть может, именно его успехи в помологии и дали профессорам Технического училища право расточать в адрес Менделя такие похвалы?…

Быть может, быть может.

Кроме того, в 1846 году он слушал двухсеместровый курс плодоводства и виноградарства в Брюннском Philosophische Lehranstalt и, конечно, получил очередное свидетельство, сей факт подтверждающее. Не может быть двух мнений насчет того, насколько он был целеустремлен и сосредоточен в изучении этого курса, а практический багаж, усвоенный еще от отца и накопленный за первые годы работы в монастырском саду, вероятно, выделял его среди более молодых слушателей… Быть может, вопросы, которые он задавал лекторам, и споры по разного рода конкретным проблемам помологического дела, которые он заводил с ними, соблюдая, конечно, подобающие ему. как ученику и монаху, рамки почтительности и смирения, — быть может, это заставило увидеть в канонике Менделе потенциальную «звезду первой величины на ученом небосводе» Брюнна?…

Быть может, быть может… В это очень хочется поверить, тем более что конец книги жизни Менделя хорошо известен не только пишущему эти строки, но и людям, читающим их. В том и беда всех биографических книг о великих людях: как бы хитроумно ни компоновал свое повествование писатель, сколько бы ни напускал он туману в начале и в середине, рассчитывая удивить читателя неожиданностями, — все это тщетно. Как только читатель — на обложке, или на первой, или на пятой странице — увидел имя героя, конец ему уже известен. И вот беда еще большая: конец известен и самому автору еще задолго до того, как он положил перед собою стопку бумаги и заправил авторучку чернилами. Как же ему не искать во всем, что придется описывать на длинном пути, ведущем к концу книги, крупицы того пороха, без которого невозможен обязательный, диктуемый законами жанра финальный выстрел!… Просто невозможно, физически невозможно не искать этот порох.

…Итак, предположим, что помологические успехи Грегора Менделя дали ему право на звездный титул и на временное исполнение должности супплента по естественной истории в приготовительном классе Технического училища. Брюннские училищные профессора оказались, таким образом, более прозорливы в оценке его знаний, чем суровый зоолог из Венского университета Рудольф Кнер, и вопреки приговору министерской комиссии они решили бережно поддержать его талант!… Складывается весьма заманчивая коллизия, Менделю остается только оправдать в будущем возложенные на него надежды, а автор вместе с читателем уже знают, что он их оправдал!… Да!

Но вот загвоздка: ровно через два месяца «звезде первой величины» пришлось освободить означенное место — освободить,

так было сказано, для лица, постоянно его занимавшего, хоть и не аттестовавшегося столь «звездно». В теплый солнечный день 6 июня 1851 года явившийся на занятия Мендель был неожиданно для него приглашен в кабинет директора училища, где господин Флориан Шиндлер — конечно, «профессор», — вручил ему письмо, написанное в весьма торжественных тонах:

«Дирекция с удовольствием пользуется возможностью выразить Вашему преподобию свою полнейшую признательность за проявленное Вами усердие, за Вашу методу преподавания(!!), принесшую большую пользу, за уважительное отношение к Вашим слушателям и ко всем коллегам и служащим училища;

Дирекция выражает Вам также искреннейшую свою благодарность за Вашу самоотверженность, старание и за действенное способствование достижению задач, стоящих перед Училищем».

Ах, как красиво было ему сказано «вот бог, а вот порог»!… Неплохо, верно?… Более того, директор Шиндлер настолько великодушен, что он не замкнул свои восторги одними рамками этого письма — пусть официального, но все-таки адресованного лишь самому восхваляемому им лицу. В тот же день 6 июня 1851 года он направил не в иное место как в канцелярию штатгальтерства великолепнейшую аттестацию на бывшего временного супплента. Она, конечно, была изложена в классических корявейших оборотах тогдашнего австрийского «канцелярита»:

«В личности члена орденского капитула Грегора Менделя… [был найден супплент по естественной истории [35]], о котором благодаря его одаренности в научном и дидактическом отношении как педагогический корпус, так и покорнейше подписывающаяся дирекция полагают, что они могут быть спокойными после того, как многие профессора, в особенности профессор д-р Коленатый, засвидетельствовали естественноисторические труды [36] упомянутого члена капитула, исправлявшего одновременно обязанности кандидата в гимназические учителя».

Отлично, не правда ли?… Но вот в чем вопрос: с чего это вдруг господину Шиндлеру понадобилось посылать в самую высокую провинциальную инстанцию такую характеристику на педагога, временно исполнявшего обязанности супплента и уже от их несения освобожденного?…

В этой истории есть еще один весьма примечательный момент: супплент Мендель проработал два месяца, но ни в середине этих месяцев, ни по окончании ему не заплатили ни крейцера, и неделю спустя расхваленному супплементу пришлось подавать прошение:

«Брюнн, 15 июня 851 г. [37]

Уважаемый Директорат!

После того, как нижеподписавшийся письмом Уважаемого Директората от 6 июня с.г. за №221 был освобожден от исполнения должности супплента по всеобщей естественной истории в подготовительных классах здешнего императорско-королевского Технического училища по причине выздоровления профессора И. Хельцелета, упомянутый — буде Уважаемый Директорат явит свою благосклонность — покорнейше просит принять меры, дабы за исправление им своей должности с 7 апреля с. г. по 6 июня ему было выдано условленное вознаграждение.

Грегор Мендель, член капитула
монастыря святого Томаша».

И по непонятной причине это письмо проделало какой-то очень длинный путь. Во-первых, оно было зарегистрировано канцелярией училища только 20 июня, и это дает основание думать, что пять дней оно бродило или лежало где-то, быть может, в ожидании, пока ординарная просьба будет подкреплена чьими-то вескими словами. Во-вторых, господин Флориан Шиндлер, полномочный директор заведения, лично распоряжавшийся выплатами отработанных вознаграждений, почему-то не стал в данном случае сам решать сей простой вопрос, а переправил менделево прошение ни много ни мало, как политическому директору Моравского земельного правительства господину Шедаю, который, в свою очередь, переправил прошение советнику штатгальтера господину Дрбалу, и только сам господин Дрбал по размышлении разрешил господину директору училища выдать Менделю заработанные им деньги.

Это маленькое событие можно было рассматривать и как простой образец австрийских бюрократических порядков. Но поскольку малозначащее дело вдруг сделалось объектом консультаций на высоком правительственном (в масштабах Моравии) уровне, возникает мысль, не стояли ль за этими бумагами какие-то события, из-за которых мог загореться весь долгий сыр-бор.

Конечно, следует сразу отвергнуть мысль о том, что Мендель был лицом, нежелательным из-за политической

неблагонадежности. Полицейские архивы были тщательно изучены и Ильтисом и Рихтером, в них среди доносов многочисленных осведомителей, меж секретных характеристик и предписаний ничего примечательного из того, что относилось к особе Менделя, обнаружено не было. Наше собственное знакомство с архивами полиции другой тогдашней провинциальной австрийской столицы — Лемберга (нынешнего Львова) позволяет судить, что в таких случаях в начале 50-х годов прошлого века дело принимало иной оборот: шпионаж в Австрии был поставлен на высоком уровне, а меры к крамольно мыслящим людям принимались быстрые и жесткие. Наконец, вся сохранившаяся переписка свидетельствует, что политика Менделя в ту пору интересовала мало и его суждения о событиях не выходили за рамки того, что писалось в высочайше дозволенных газетах.

В начале этой главы было упомянуто о не вполне ясных обстоятельствах отказа Менделя от получения степени доктора богословия и быстрого переезда в Цнайм. Степень ни в коей мере не могла помешать заниматься преподаванием излюбленной им ботаники, и в начале главы было предположено, что вызвали отъезд некие «внешние причины». Можно было бы теперь предположить, что эхо неизвестных событий сыграло какую-то роль и ныне — два года спустя… Однако такое нагромождение одного предположения на другое вряд ли покажется при всей заманчивости корректным. Нам придется отказаться от него и пытаться реконструировать события по-иному. Например, так.

…Как читатель помнит, Мендель всегда чувствовал себя должником своей сестры, а Терезии в 1851 году исполнилось двадцать два, и ее замужество «стало на повестку дня». Монашеские «компетенции» были в ту пору небольшими, и после увольнения из Цнайма Мендель вряд ли мог выкроить десяток золотых для покрытия долга и поддержки родителей, чье положение в доме Алоиса Штурма было не очень завидным. А тут выдался случай заработать 25 флоринов!… И конечно, аббат Напп поспособствовал тому, чтобы на педагогическом совете училища было решено именно Менделя пригласить в суппленты.

Однако всему городу было уже известно, что Мендель провалился в Вене на экзаменах и высокая кайзеровско-королевская комиссия официально лишила его права преподавать биологию. Именно поэтому в протокол заседания учительского корпуса Технического училища, который мысли не имел противопоставлять себя министерской комиссии, были занесены дифирамбические отзывы о кандидате, приглашаемом на временную вакансию. Что до появления на свет характеристики,

скоропалительно отправленной Флорианом Шиндлером в канцелярию штатгальтера, то, вероятно, сначала в оную канцелярию от добрых людей поступил донос: мол-де, провалившийся в Вене каноник допущен к преподаванию… (Мы уже убедились, сколь по-разному добрые люди встречались на менделевом пути.) Естественно, из канцелярии раздался начальственный рык, и директору Шиндлеру осталось лишь защищать самого себя лестными аттестациями по адресу супплента, незаконно принятого на службу и уже уволенного. А дабы избежать дополнительных неприятностей, директор на всякий случай жалованье задержал и предоставил начальству брать на себя ответственность за его выплату.

…Так было или не так, узнать вряд ли удастся. Однако происшедшее, конечно, послужило толчком к последующим событиям. Все говорило, что без диплома или университетского образования можно было работать лишь приходским священником. Но такая карьера Менделя определенно не интересовала и аббат Напп, кстати, и не предлагал ее ему больше.

Неизвестно, о каких «естественноисторических трудах» Менделя шла речь в директорской характеристике. Быть может, они действительно казались Грубому и Коленатому хорошими и даже были хороши на самом деле — нам в этом случае лучше соблюсти осторожность. Зато известно, что и коллеги по Цнаймской гимназии и коллеги по Техническому училищу непременно подчеркивали в своих аттестациях бесспорный педагогический талант супплента. Флориан Шиндлер даже писал об особой менделевой методе преподавания, и мы имеем, таким образом, уже два «перекрестных» свидетельства, а если забежим вперед, то найдем новые и абсолютно достоверные подтверждения того, что Мендель обладал даром истинного педагога.

Но талант надо было оттачивать и подкреплять подлинной эрудицией. Для этого надо было учиться, и Мендель всегда хотел учиться, а человек, от которого зависела его судьба, профессор восточной филологии и церковного права прелат Сирил Напп понимал, что истинные знания можно получить лишь в настоящей школе, лишь при «надлежащем руководстве».

Напп был человеком дела и, взвесив все происшедшее, решил устроить Менделя в университет и найти для устройства союзника повлиятельнее. Он выбрал в союзники «его превосходительство» барона Баумгартнера, возвысившегося снова из начальника министерской секции в министры (правда, торговли).

«Благожелательные мнения о каноникe Грегоре Менделе, направленные в мой адрес, — написал он Баумгартнеру, — побудили меня послать его для получения высшего научного образования в Вену. Я не остановлюсь перед расходами, необходимыми для содержания его на время этих занятий, и осмеливаюсь лишь просить Вас, чтобы Ваше превосходительство соблаговолили бы оказывать ему свое высочайшее благорасположение, которое он со своей стороны постарается оправдать»:

В выборе союзника Напп не ошибся. Министр-физик ответил ему быстро и благожелательно. Но если бы все будущее Менделя зависело только от благорасположения Баумгартнера и готовности Наппа тратить монастырские флорины на его обучение! Ведь существовали еще и епископская канцелярия и епископ Антон-Эрнст граф Шафготч. Ему тоже было послано письмо. И Напп не поскупился в нем на сладкие слова:

«Ваше превосходительство! Высокородный граф! Ваше Милостивое Епископское преосвященство!

Поскольку каноник Грегор Мендель не пригоден, для заботы о душах верующих, а с другой стороны, обладает выдающимися умственными способностями и упорным прилежанием в изучении естественных наук, учитывая также, что его выдающиеся познания в этой части засвидетельствованы самим господином министром (министра, конечно, надо было припомнить, не указывая при этом, что речь о министре торговли, а не культов и просвещения. — Б.В.), в настоящее время мне представляется необходимым и желательным для получения полного практического образования послать его в Венский университет, где в его распоряжении будут любые средства. И я намерен в этих целях в течение ближайшего месяца послать его в Вену в университет и на время пребывания поселить его и поставить на довольствие в общине милосердных братьев, где он будет должен подчиняться установленному порядку и участвовать в отправлении общих молебствий».

Как видите, в письме все вероятные возражения были предусмотрены заранее, и Шафготчу, наверняка не забывшему насчет сала, которое доставляет ему столько хлопот, пришлось написать сердитое:

«Разрешить при условии, что данный каноник будет жить в Вене жизнью монаха и не оторвется от своего сословия».

Ну как не восхититься аббатом Наппом!… Однако похвалы Наппу похвалами, а надо заметить еще, что в общем-то речь шла

об интересах одного из членов церковного клана, о пользе, которую он в итоге сможет принести этой своей корпорации.

Напп принялся выполнять жесткое указание епископа.

Он написал настоятелю одного из венских монастырей письмо, выраженное в тонах овечьего смирения. Он просил не отвратить его, Наппа, от калитки обители, поминал и министра, и епископа, и самого господа бога, лишь бы коллега-настоятель предоставил канонику Менделю в своем монастыре кров, возможность получать там обед и ужин «без употребления вина и пива» и право участвовать в коллективных молебствиях. Аббат Напп клятвенно заверял, что каждые полгода он будет уплачивать вперед и за жилье, и за питание, и за отопление, «учитывая нынешнее вздорожание жизни». Но венский настоятель отказал Менделю и в обедах и в приюте, сообщив при этом, что теснота у него в монастыре отчаянная и «некоторые из братьев даже живут в кельях по двое». Поэтому хоть епископом и были даны самые суровые указания, Напп отправил Менделя в Вену «в неорганизованном порядке», снабдив напутствием поселиться обязательно в духовном доме, дабы не вызывать нареканий вольностью жизни.

Во всех этих письмах настойчиво оговаривалось предъявляемое Менделю требование — строго соблюдать обязательные обряды. Почему оно звучало столь назойливо? Ради проформы? Или, может быть, патер Грегор, который в официальных характеристиках именовался смиренным и благонравным (попробуйте-ка добиться чего-либо, предоставляя другую характеристику!), дал все-таки разик-другой повод усомниться в своей монашеской благонадежности?… Это неведомо, но зато как не признать, что Грегору-Иоганну Менделю всю жизнь все-таки чертовски везло на добрых, по-настоящему добрых людей!… Вот теперь благодаря заботам прелата Наппа он приехал в Вену, чтобы учиться в университете. И точь-в-точь, как было ему приказано аббатом, Мендель устроился в духовном доме.

Он снял комнату в здании, принадлежавшем ордену монахинь-елизабетинок. Квартирную плату там получала елизабетинская мать-казначейша. В остальном же то был обычный венский доходный дом. А Вена была городом шумным. И венцы во все времена славились как люди весьма жизнелюбивые и склонные ко всякого рода вольностям. Венским духовным властям наплевать было на каноника из чужой епархии. Власти же светские могли им заинтересоваться лишь в одном случае: если бы он занялся политикой. А он ею не занялся.

И началась студенческая жизнь.

…Стоило автору приметить «белое пятно» в биографии героя, как он тотчас принимался возводить на обнаруженном пустыре громоздкие и шаткие конструкции досужих предположений.

Но теперь герою книги уже исполнилось тридцать, он достиг зрелости, а повествование достигло середины, и домыслы пора оставить.

Итак, Вена. Что известно нам о венской менделевой жизни Достоверно?… Вот что.

Известен дом, где жил Мендель.

Известно, что он был зачислен на философский факультет Университета вольнослушателем.

Известно, что в течение первого семестра учебы он не перегружал себя посещением лекций: в его матрикуле указано, что он записался на посещение занятий лишь по одному предмету — по экспериментальной физике к Христиану Доплеру. За целую неделю — всего десять часов в аудитории и лаборатории университетского Физического института, возглавляемого первооткрывателем знаменитого «доплер-эффекта», — не мало ли?

Отчего он не посещал лекций по другим предметам? Быть может, оттого, что прочие курсы, читавшиеся на факультете с октября 1851 по апрель 1852 года, его не интересовали. Но, может быть, и оттого, что у него не было в те дни денег на оплату посещения других лекций. А денег не было — это известно доподлинно. Там же, в матрикуле, где указано, что он записался на занятия к Доплеру, в графе «подтверждение квестуры об оплате занятий» стоит пометка «задолженность» — и подпись факультетского квестора под ней. Однако, несмотря на эту пометку, в другой графе сам Христиан Доплер подтверждает посещение всех занятий. Вероятно, подобно Баумтартнеру, «президент Физического института» доктор Доплер не забыл неудачливого, но весьма примечательного кандидата в учителя из Цнаймской гимназии и, рассчитывая на порядочность вольнослушателя, сделал вид, что не заметил суровой пометки квестора. Более того — как свидетельствовали университетские однокашники Менделя — профессор взял его к себе на кафедру помощником лекционного ассистента, возложив обязанность демонстрировать студентам опыты, и за это Мендель, видимо, получал еще и некоторое вознаграждение, и весьма кстати.

А куда же все-таки делись деньги?… Неужели слова прелата Наппа о том, что он будет уплачивать за своего собрата сполна за жилье, и питание («без употребления пива и вина»), и за отопление, «учитывая настоящее вздорожание жизни», оказались

пустым звуком?… Непохоже это на Наппа. Зато как все это похоже на самые первые месяцы цнаймской жизни, когда Мендель сидел без гроша, и все его монашеские «компетенции» аж до следующих каникул, а также деньги «платяные», «бельевые», «на облачение» и «топливные» уходили на уплату долгов.

…Он не мог посылать деньги родным из Вены. А он был хорошим сыном и хорошим братом — для Терезии в первую очередь. И кроме того, уже восемь лет прожив вне родного дома, он не мог оторваться от него и, хоть овладел богословием, философией Гёте и Гегеля, хоть числился в общине святого Томаша в ряду первых ее интеллектуалов вместе с Вратранеком, Клацелом, Кжижковским и Рамбоусеком, а теперь постигал еще материальные тайны мироздания у Доплера — в нем не умирал крестьянин, которого волновали прозаические, подчас горькие деревенские дела.

«20 декабря 851 года

Дражайшие родители!

С ужасом я узнал, что у вас распространилась картофельная гниль. Это бедствие нанесло много ущерба полям и погребам почти по всей Северной и Центральной Европе. Во всяком случае, бесспорно, в нем повинны предшествовавшие нынешнему сырые года. Сия беда разрастается для бедного народного класса с каждым днем, так как при продолжающих оставаться высокими ценах на зерно покупка картофеля стала почти невозможной (одна мера в Брюнне стоит около 3 гульденов).

Со средствами борьбы против гнили вас уже познакомили «на путях начальства». Самое лучшее — это отделить здоровые от прогнивших, первые хорошо высушить и хранить в сухом месте. Последние же для того, чтобы избежать дальнейшей порчи, провялить, дабы иметь возможность использовать их хотя бы как фураж.

Вот уже 14 дней, как у нас зима с довольно частыми снегопадами. Сегодня целый день идет дождь, снег тает, и все уже плавает. От Густля у меня никаких известий нет…

Я заканчиваю, дражайшие родители, с искреннейшим пожеланием: да ниспошлет Бог Вам и всему дому в новом году свое благословение и здоровье, и да сохранит он Вас нам надолго…

Вас, сестер и зятя сердечно приветствуя и целуя, остаюсь

Ваш всегда благодарный Сын».

Итак, вместо денег советы, приветы и пастырские благословения, которые в Хейнцендорфе котировались тоже

высоко.

А ведь жил он теперь в Вене, в шумной космополитической столице. И при крутом Меттернихе и при либерального Доблхоффе она была знаменитой веселой Веной: благочестия в ней было намного меньше, чем соблазнов!

Жил он здесь без присмотра, и много позднее — уже на склоне лет — он с удовольствием вспоминал шумливые студенческие сборища и мурлыкал «Gaudeamus» и «Edite, bebite collegiales» — «Возрадуемся, пока молоды» и «Ешьте, пейте сообща». В 1942 году в «Journal of Heredity» была опубликована статья некоего Эйхлинга. «Я разговаривал с Менделем» — называлась она. Эйхлинг и поведал в ней миру, как при встрече в 1878 году патер Грегор среди прочего вспоминал свои студенческие времена. А чтобы запастись такими воспоминаниями, было нужно все то же — монета! И доподлинно известно, что в нарушение принесенного в костеле Вознесения Девы Марии отречения от всякой собственности патер Грегор пытался разжиться деньгами, играя в лотерею, — он сам об этом писал. Тогдашние лотереи — поразительно азартные предприятия. Устроитель-государство дразнило доверчивую публику сообщениями о том, сколько билетов уже погашено и сколько драгоценных выигрышей еще не разыграно: постоянно получалось, что шансы сорвать хороший куш все повышаются. С повышением шансов жучки-перекупщики вздували цены на билеты. Игроки-знатоки изобретали мистические системы высчитывания счастливых билетных номеров. А ничто так не заставляет мечтать о неожиданной, с неба свалившейся удаче, как нужда. Ну как тут не спустить последнюю рубашку!…

«Милый Ансельм!

Весьма печально, но я опять остался без белья. А никому на свете новое белье не нужно так, как мне, ибо из той дюжины рубашек, которые я взял в Вену, протерлись и порвались ровно двенадцать. Я прошу фрау Смекаль купить за шесть флоринов полотна на три рубахи и отдать его в работу как можно скорее, чтобы у меня была новая, хотя б для экзерциций. Разве это не будет позором, если тот новый человек, в которого я обращусь в результате упражнений в благочестии, окажется принужденным влезать в рваную рубаху? О, сколь стыдно будет (Апокалипсис: «И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтоб они успокоились еще на малое время…»), коль придется мне щеголять в драном наряде!

Господин прелат уже предупредил меня, что я, увы, все-таки буду призван на экзерциций, которые должны состояться на

следующей неделе. А так как известно, что университетские семинары заканчиваются 20-го, было бы бессмысленно в данном случае мочиться [38] против ветра, и потому на воскресенье, на 24-е, я все же назначил свой отъезд; в тот же день к обеду я буду в Брюнне…

Коль завтра приключится первое прямое попадание в 25 тысяч флоринов, то к фрау Смекаль придет (ничего не выдающая) телеграфная депеша. Вечером следует о ней справиться.

До скорого — радостного ли (?) — свидания.

Грегор».

Представляете, что было бы, если б это письмо попалось на глаза аббату Наппу!… Конечно, автор критического разбора Оберлейтнеровой грамматики армянского языка, столько лет начальствовавший над многими десятками священников-педагогов и педагогов-несвященников, не страдал излишней наивностью.

Напп вряд ли полагал, что и в Вене патер Грегор по монастырскому расписанию семижды в день, в том числе и перед демонстрацией слушателям Доплера феномена поляризации света или изменения силы тока в цепи при возрастании сопротивления реостата, будет взывать к богу по всем правилам искусства устной и мысленной молитвы. Но прелат все-таки заботился, чтобы сын церкви — тот, к кому он сам некогда воззвал: «Скинь с себя старого человека, который сотворен во грехе, стань новым человеком!» — заслужил все-таки обещанную тогда же ему vita aeterna — жизнь вечную. Он видел, что Мендель без охоты отвечает на его вызовы. Конечно, любая поездка связана с тратами денег и времени и отрывом от дела, ради которого патер Грегор им же, прелатом, отпущен в столицу. Напп не требовал чересчур частых приездов, он обязывал Менделя являться в монастырь только на все время каникул, только на все церковные праздники, только на все очередные общие упражнения в духовном самообновлении. Надо все же время от времени попоститься, недельку помолиться со всеми братьями, исповедаться им публично во всех пришитых в миру, в который он окунулся, грехах. Покаяться. Быть может, побичеваться немножко в темноте. Словом, сделать все необходимое для достижения vitae aeternae.

Прелат-ориенталист не предполагал даже, что и без вызовов на экзерциции он уже в достаточной мере содействовал тому, чтобы Мендель приобрел в будущем право на вечную жизнь.

…А в ту пору Ансельм Рамбоусек среди собратьев был самым близким и верным другом Менделя. И письмо, где патер Грегор

столь неосторожно «прибег к слову, которое, имея в виду принципы религиозные», звучало совсем не благочестиво, ни в какие чужие руки не попало.

Что же касается биографа Освальда Рихтера и монсеньера ван Лиерде, то они были столь деликатны, что постарались не заметить мирской суетности, содержавшейся в этом письме.

IX. ГЛОТНУВ ВЕНСКОГО ВОЗДУХА

В первом семестре учебы он занимался только десять часов в неделю и только физикой у Доплера.

Во втором семестре он занимался в неделю уже по двадцать шесть часов. Из них десять — физикой у Доплера, пять в неделю — зоологией у Рудольфа Кнера. Одиннадцать часов в неделю — ботаникой у профессора Фенцля: кроме лекций по морфологии и систематике, он проходил еще специальный практикум по описанию и определению растений.

Опьянение от свободы, охватившее его в первые венские дни, видимо, прошло. Он сосредоточился и — как нередко бывает — стал набирать, чем дальше, тем все большую и большую скорость. В третьем семестре он записался уже на тридцать два часа занятий в неделю: десять часов — физика у Доплера, десять — химия у Реттенбахера: всеобщая химия, медицинская химия, фармакологическая химия и практикум по аналитической химии. Пять — на зоологию у Кнера. Шесть часов занятий у Унгера, одного из первых цитологов в мире. В его лаборатории он изучал анатомию и физиологию растений и проходил практикум по технике микроскопии. И еще — раз в неделю на кафедре математики — практикум по логарифмированию и тригонометрии.

Как вольнослушатель он отбирал только то, что считал жизненно важным. Каждый час занятий был оплачен полновесной монетой, и он брал от этих часов все, что можно было взять за шестьдесят минут. В такой ситуации галок на лекциях не считают. И чтобы взять от оплаченного максимум, надо было прийти уже до зубов вооруженным, а после практикума рыться в фолиантах, расставленных на полках университетской библиотеки.

С деньгами уладилось: пометка «задолженность» не появлялась больше в матрикуле. Может быть, увеличил «компетенции» Напп. Кое-что давала работа у Доплера. А кроме того, Терезия уже вышла замуж с тем приданым, которое поднакопилось к этому времени.

Письмо Антона Менделя сыну своему Грегору Иоганну Менделю, который стал теперь большим человеком, священником, самолично разговаривает с богом, изучает науки и лучше мирян знает, как надо жить и как поступать в важных случаях.

(Орфография перевода эквивалентна орфографии

оригинала.)

«Хейнцисздорф от 23 августа [1852 г.]
Достапочтенейший г-н сын!

Писмо от 18-того августа мы получили мы узнали так же что наше желание от посещении из замножиства занятия должно быть отвергнуто. В своем последним писме я писал что все пока постарому но вскором времени будут новости. Твоя сестра Терезия, должна ступить вбрак [неразборчиво] с Леопольтом Шиндлером. Мы радители согласились мы надеимся что наш достапочтеный г-н сын будит с етим согласии. Сватьба назначенна 12 октября. Тогда мы с нова обратимся к нашему достапочтеному г-ну сыну которому [неразборчиво] визит не удалос тогда мы по надеялис что это произойдет на сватьбу. Если опять будит помеха то я за Восемь дней с нова сообщу. Новаго у меня ни чего нет только картошки с нова стали болеть только за эту неделю оне испортилис и покрылис пятнами. Достапочтеный г-н сын ожидаю скорово известия на мое писмо. С лутчими приветами отрадителей с тысячми приветов от сестры Терезии чтоб приезд ни отменял и еще ниский поклон от других сестер и зять.

Антон Мендель — быфший хозяин на
учаске №58 в Хейнцисздорфе».

Антон с горечью называл себя «бывшим хозяином». И сын, видимо, болезненно относился к разорению, постигшему родителя в свое время, и с наивным упрямством привирал в университетских анкетах, что отец его по-прежнему «Wirtschaftsbesitzer» — «владелец хозяйства».

Он, конечно, приехал на свадьбу Терезии — за два года учебы это было единственное его посещение родины, — там он провел двенадцать дней — с 9 по 20 октября 1852 года. В его «Heimathschein» — в паспорте, выданном «кайзерлихе унд кёниглихе полицейкомиссариате Брюннского округа коронной земли Моравии», зафиксированы все передвижения. Порядок в империи Франца-Иосифа был четкий: собирается подданный хоть на короткое время покинуть постоянное место жительства — он обязан явиться в полицию. Там в паспорте сделают пометку — и прихлопнут печатью. Приехал на новое место — пусть всего на два дня, — снова пометка, снова печать. Решил возвратиться — перед выездом снова все то же, дабы подданный уже во всем по струнке ходил, чувствуя, сколь неотступно и бдительно печется о нем государство. (В том паспорте записаны еще и его приметы: «Рост — средний». «Волосы — русые». «Глаза — серые». «Особые

приметы»… — мы бы с вами написали «гений», но в полицейкомиссариате этого не разглядели и написали «Особые приметы — отсутствуют». Впрочем, многие уже знают, что он очень талантлив — Напп, Баумгартнер, Доплер. А что он гений — не знает пока никто. Ах, если бы эта пометка своевременно появлялась в паспортах!…)

…Конечно, на свадьбе он был «генералом». Карьера, которую он совершал, казалась родичам и землякам ослепительной. И конечно, всех восхищало, что он, возносясь в верхние этажи социальной пирамиды, оставался по-прежнему со всеми приветлив, ласков, прост и шутлив и привез молодым — из самой Вены! — шикарные подарки, конечно. У него не хватило флоринов, чтобы подарки были шикарны по венским масштабам, но они были шикарны по хейнцендорфским, и этого достаточно.

Все были счастливы, и Терезия в особенности была счастлива. И новобрачный Леопольд Шиндлер (однофамилец директора Технического училища), молодой хинчицкий крестьянин, оказался и милым, и добрым, и заботливым, совсем непохожим характером на Алоиса Штурма. Все годы, пока зять Леопольд был жив, Мендель относился к нему с той же нежностью, как и к младшей сестре. Пока был жив отец, он адресовал свои письма «дражайшим родителям», но непременно посылал Леопольду сердечные приветы и специально для него сообщал, какие в Брюнне на рынке цены на рожь, пшеницу, ячмень, какие виды на урожай, а следовательно, на конъюнктуру в будущем. После смерти отца письма он адресовал Леопольду, как признанному хозяину дома.

В доме Шиндлеров и родителей эти письма заменяли газеты. И как всякие газеты, они при внимательном чтении могут сообщать не только о событиях, но и о своем издателе.

А событий было много в ту пору. События были бурными.

И например, очередной, датированный 22 февраля 1853 года обзор важнейших европейских событий для «Нью-Йорк дейли трибюн», человек иного склада, масштаба, судьбы — постоянный лондонский корреспондент этой газеты Карл Маркс начал так [39].

«Телеграф сообщает следующие новости из Штульвейсенбурга:

«18 сего месяца в 1 час дня на гулявшего вдоль венской крепостной стены австрийского императора Франца-Иосифа стремительно напал венгерский портной-подмастерье по имени Ласло Либени, бывший гусар из Вены, и нанес ему удар кинжалом. Удар был парирован адъютантом, графом О'Доннеллем. Франц-Иосиф ранен ниже затылка. Венгр, которому 21 год, был повержен на землю ударом сабли адъютанта и

немедленно арестован».

«…В Венгрии, — продолжал Маркс, — только что раскрыт очень широкий заговор с целью свержения австрийского господства.

«Wiener Zeitung» публикует несколько приговоров военного суда по делу 39 лиц, которые обвинялись главным образом в том, что они состояли в заговоре с Кошутом и Рущаком из Гамбурга.

Немедленно после подавления революционного восстания в Милане Радецкий издал приказы о прекращении всякого сообщения с Пьемонтом и Швейцарией…

…Миланское восстание замечательно, как симптом приближающегося революционного кризиса на всем Европейском континенте. Оно достойно восхищения как героический акт горстки пролетариев, которые, будучи вооружены лишь ножами, отважились напасть на такую твердыню, как гарнизон и расквартированная вокруг армия в 40 тысяч лучших солдат Европы, в то время как итальянские сыны Мамоны предавались пляскам, пению и пиршествам среди крови и слез своей униженной и растерзанной нации. Но в качестве исхода вечных заговоров Мадзини, его напыщенных воззваний, его высокомерных декламаций против французского народа, это восстание является весьма жалким по своим результатам. Будем, однако, надеяться, что этим revolutions improvisees [40], как называют их французы, отныне положен конец. Слыхал ли кто когда-нибудь, чтобы великие импровизаторы были также великими поэтами? В политике дело обстоит так же, как в поэзии. Революции никогда не делаются по приказу. После страшного опыта 1848 и 1849 гг., для того чтобы вызвать национальную революцию, требуется нечто большее, чем бумажные призывы находящихся вдали вождей… [41]

Что революция побеждает даже тогда, когда она терпит поражение, видно лучше всего по тому страху, который миланская echauffouree [42] возбудила среди континентальных властителей, поразив их в самое сердце…

…В первую минуту тревога была так велика, что в Берлине было арестовано около двадцати жителей, и единственной причиной ареста явилось «глубокое впечатление» от миланских событий… В Вене аресты и домашние обыски сделались повседневным явлением. Между Россией, Пруссией и Австрией немедленно начались переговоры о том, чтобы заявить английскому правительству совместный протест по поводу политических эмигрантов. Как слабы, как бессильны так

называемые европейские «силы»! Они чувствуют, что все троны Европы сотрясаются до самого основания при первых же предвестниках революционного землетрясения. Окруженные своими армиями, виселицами, тюрьмами, они содрогаются перед тем, что сами же называют «разрушительными поползновениями немногих подкупленных злоумышленников».

«Спокойствие восстановлено». Да, это так. То зловещее, страшное спокойствие, которое наступает между первой вспышкой бури и ее повторным мощным ударом…»

Так писал человек, каждой своей клеточкой ощущавший поступь истории.

Статья Маркса увидела свет в номере «Нью-Йорк дейли трибюн» от 8 марта 1853 года.

…В мартовские дни этого года вольнослушатель Венского университета каноник отшельнического ордена святого Августина Грегор Мендель корпел над микроскопом в лаборатории Унгера, одного из первых цитологов мира. Он учился окрашивать препараты.

Впрочем, занятия на кафедре Унгера одними препаратами не ограничивались. Профессор увлекся проблемами не микроскопического плана — движущими силами эволюции. Ролью внешних влияний на изменчивость растений. (Кстати, он установил в своих экспериментах, что изменение солевого состава почвы само по себе не порождает новых видов растений.) Он пытался очертить путь развития жизни от примитивных существ до человека и опубликовал в либеральной «Wiener Zeitung» — в «Венской газете» — семнадцать «Ботанических писем».

Тотчас на Унгера набросился «аки лев рыкающий» Себастьян Бруннер, издатель «Wiener Kirchenzeitung» — «Венской церковной газеты».

«Человек, который открыто отрицает Творение и Творца, и самого Бога в его Триедином Существе, никогда не может быть избран деканом», — писал Бруннер в одной из статей. Это можно было бы оценить всего лишь как мнение по частному вопросу, но позднее патер Бруннер заговорил резче:

«Стоит только удивляться, если газеты приветствуют сегодняшний материализм, если газеты провозглашают человека каким-то возвысившимся орангутангом, а орангутанга каким-то ухудшенным человеческим существом и, следовательно, превращают землю в гигантский зоосад, а государства в укротителей, и если, с другой стороны, профессора так

называемого «католического» университета строят свои лекции на настоящих скотских теориях и на протяжении многих лет наставляют молодых людей во взглядах на природу и на мир так, будто их собственные воззрения происходят от фармазонов, кои проповедовали перед французской революцией…»

Сию тираду, как и многие прочие, преподобный Бруннер завершал словами, которые целомудренная цензура заменяла в тексте многоточиями.

Вот в чьей лаборатории окрашивал препараты преподобный каноник Мендель. Окрашивал и раздумывал над тем, за какие занятия ему стоит платить в последнем — четвертом его семестре, ибо был предупрежден прелатом Наппом о необходимости в июле 1853 года вернуться в монастырь. Семестры были неравные. Осенне-зимний длился с октября до конца марта (до пасхальных каникул). Весенне-летний — с апреля по июль. Мендель снова записался на занятия по физике — только уже на другой цикл — «Основы конструирования и применения физических приборов и высшая математическая физика». Затем снова зоология у Кнера, палеонтология у Цекели и энтомология у Коллара.

Профессор Коллар, мягкий и доброжелательный руководитель зоологического отделения Академии наук и энтомологического кабинета дворцового музея, был силезцем, земляком. Несколько месяцев назад, когда Мендель заглянул в его владения — он время от времени бродил по разным лабораториям, вынюхивая, где, что да как, — Коллар разговорился с молодым священником и по говору сразу опознал земляка. Как не опознать, если силезец до гроба обязательно будет выговаривать «п» и «т» так, словно это не краткие взрывные звуки, а шипящие!… И, говоря по правде, Мендель давно уже бесплатно занимался в колларовой лаборатории, возился с жуками, учился определять их. (Как не проникнуться Коллару симпатией к тому, кого заинтересовали его жуки!) Нет, право, у Менделя не только не исчезла, а наоборот, обострилась примеченная еще Баумгартнером и Доплером склонность все ощупывать собственноручно в этом мире науки. Прекрасная склонность!…

И все-таки как мало говорят нам немногие уцелевшие его письма и документы!… Ведь до Вены, с того момента, как он запродал душу и тело церковной корпорации, большая часть его времени уходила на богословие, на церковное право, на древние языки, на молитвы и мессы. Конечно, был сад, превосходная монастырская библиотека и курс плодоводства и виноградарства. Но без истинной исследовательской школы это могло быть только

дилетантством — пусть самого высокого уровня, но дилетантством. Дилетантство было удостоверено, проштемпелевано провалом на экзаменах, и доброжелатель Баумгартнер написал о необходимости «надлежащего руководства», и вот он — университетский вольнослушатель, для которого не существует официальной программы. Он предоставлен самому себе, он как бы брошен в реку, из которой должен выплыть сам. И «куда нам плыть» — он выбирает с удивительно профессиональной точностью.

Он твердо знал, к чему стремится. Выбор был сделан еще перед несчастливыми экзаменами. Но нужны ли гимназическому учителю для вдалбливания законов Ньютона и Кулона в головы школяров математическая физика и теория конструирования приборов? И так ли уж нужны ему палеонтология и техника микроскопических исследований? И нужно ли месяцами копаться в энтомологических и ботанических коллекциях?… Сколько школьных педагогов Австрии, Германии, Франции, России годами зарабатывали свой хлеб, долдоня «от сих до сих» по стабильному учебнику!… Нет, не только ради учительской эрудиции впитывает он знания по необычному плану. Еще в Ольмюце премонстрантом Францем он был отравлен азартом собственноручного начинения старых ружейных стволов железными опилками, потребностью своими глазами убедиться, как окисляет металлы кислород. И нечто подобное он нашел и в работе с растениями монастырского сада, и, наверно, все-таки Коленатый и Грубый наделяли его эпитетами превосходной степени не только потому лишь, что Напп просил поспособствовать его приглашению в супплеты…

А в Вене был Доплер, взявший его в помощники ассистента, и был Коллар, без оплаты и без визы факультетского квестора допустивший его в свои владения. Видимо, они подсказали, что выбрать из множества университетских курсов, дабы прочно стоять на своих ногах в облюбованном им исследовательском деле, и помогли сосредоточиться после краха лотерейных надежд и упоения свободой в первые месяцы.

Университетские учителя оценили его высоко. По рекомендации Коллара и… Кнера — да, провалившего его Кнера! — Мендель еще студентом принят в члены Венского зоолого-ботанического общества, где заседали все ученые светила австрийской столицы… Таким был итог двух венских лет.

…Он был полностью сосредоточен на том, что увлекло его. Настолько, что перестал реагировать на неудобства, связанные с необходимостью нести обязанности, полагавшиеся ему как члену ордена. Он жил в своем мире, а вокруг был большой мир: монастырь с экзерциями в благочестии, империя, покушения,

аресты, революции, конфискации газет, казни, цены на рынке. И он, наконец, непроизвольно нашел для себя комфортабельную позицию: в том внешнем мире он сделался «дисциплинированным подданным», чьи суждения не выходили за рамки высказываний газет умеренного направления, любое отклонение — вправо или влево — требовало бы отвлечься от того, что сделалось центром мира внутреннего. Он стал дважды отшельником — по положению и по жизненной позиции. В этой позиции он уже внутренне отрезал себя и от мира и от монастыря.

И в бурные дни марта 1853 года, когда империя вздрогнула от блеска кинжала Либени, эха заговоров в Венгрии и восстания в Италии, он писал родным спокойные письма. Его письма заменяли в доме газеты, но такие газеты, по которым нельзя судить о событиях всерьез:

«Любимые родители!

Я прибыл в Брюнн уже на прошлой неделе для того, чтобы провести пасхальные дни в монастыре…

В моем положении совершенно никаких изменений не произошло. Я непрерывно здоров и занимаюсь прилежно; все остальное, надеюсь, приложится.

О покушении на императора и о счастливом избавлении от опасности вы уже, конечно, слыхали. Перед отъездом из Вены я видел императора вполне отремонтированным. Убийцу звали Либени, и 26-го прошлого месяца его уже повесили.

Поздравления с моими именинами я получил 12-го, шлю за них мое самое прочувственное спасибо. Я узнал, что вы чувствуете себя вполне хорошо и что молодая чета хорошо ориентируется в своем новом положении…»

Император отремонтирован. Либени повешен. И о том и о другом в равной мере спокойно.

Летом 1853-го он вернулся в Брюнн и теперь уже «со щитом» и теперь уже навсегда.

«Навсегда» не значит, что он не высовывал носу из этого города. Он потом немало поездил и по стране и по Европе, но он ездил как паломничествующий монах, ездил как турист, как делегат научного съезда и под конец как больной, которому нужны целебные воды. Просто теперь навсегда дом его был в Брюнне, в стенах святого Томаша. Попыток вырваться оттуда он не предпринимал… Он был хорошо теперь устроен в жизни. Через год по возвращении ему предоставили отличнейшее место супплента по физике и естественной истории в недавно

открывшейся Оберреальшуле — Высшей реальной школе.

Такие заведения в империи стали появляться перед революцией 48-го года — знамение времени! Сюда брали, уже не различая совсем сословной принадлежности, — то были школы для разночинцев. Различали только по способности платить за обучение и усваивать физику, химию, алгебру, геометрию, начертательную геометрию. Австрийским буржуа срочно нужны были технически грамотные служащие. Для одаренных, но неимущих юнцов было установлено даже некое количество бесплатных вакансий, а вместо латыни, греческого, курса этики — католической нравственности — и эстетики здесь преподавались машиноведение и минералогия — она входила в цикл естественной истории. Добавим: к этому времени Техническое училище, в котором два года назад Менделю задержали выплату 25 флоринов, было превращено в Технологический институт. С классическим гимназическим образованием в его стенах оставалось бы только хлопать глазами.

Конечно, человек, прошедший физическую школу у Доплера, а биологическую у Унгера, Коллара и Кнера, вполне подходил для роли профессора Оберреальшуле. Но, впрочем, среди его коллег были люди и с более громкой научной биографией — например, дипломированный доктор математики Александр Маковский. Кроме математики, он занимался еще геологией и палеонтологией и оставил после себя серию фундаментальных работ как о современной структуре лёссовых почв и геологической истории Моравии, так и о находках останков ископаемых животных и останков древних людей в Моравии (кое-что из этого он обнаружил, кстати, у стен августинского монастыря). Он был исследователем самого высокого класса.

Правда, Маковский появился в Высшей реальной школе несколько позже — в 1860 году, а в 1854-м клан физиков и естественников возглавлял 57-летний Александр Завадский — темпераментный красноречивый поляк — низенький, седой, с растрепанной, уже редеющей шевелюрой и совершенно белыми и тоже совершенно растрепанными бакенбардами (он напоминал глуховатого льва).

Завадский обладал множеством титулов — «доктор философии и свободных искусств, эмеритальный профессор физики, математики и воспитательной науки университетов в Лемберге [43] и Перемышле и многих других научных обществ, отечественных и зарубежных, член».

Он был также автором изрядного числа аккуратных толстеньких томиков, изданных в тогдашнем Лемберге, Вене, Берлине. Томики и по сей день стоят на полках многих

книгохранилищ, и с них регулярно — по расписанию — снимают пыль. Во Львовской научной библиотеке — бывшей библиотеке «Оссолинеума», института Оссолинских — стоит его «Определитель растительного царства Галиции и Буковины». Автор с надлежащей скромностью замечает в предисловии, что среди множества известных растений в определителе значатся четыре доселе неизвестных вида: «Chrisanthemum Zawadzkii» и «Sylene Zawadzkii», которые были открыты на галицийских полях и лугах другом Завадского Гербихом и названы в честь автора, а также «Herbichia abrotanifolia» и «Erisium Wittmani», найденные уже самим Завадским и, конечно же, названные по имени профессоров Гербиха и Виттмана, которые помогли ему в составлении определителя.

Среди печатных трудов физика — «Лечебник», распространявшийся, как свидетельствует предисловие, по подписке среди поименно перечисленных в нем господ. Затем — «Описание позвоночных, обитающих в Галиции и Буковине», верноподданнейше посвященное Его Королевскому Высочеству Эрцгерцогу Фердинанду-Карлу. Затем — «Флора города Лемберга, или Описание дикорастущих вокруг Лемберга растений, сгруппированных по времени их цветения». Сия «Флора» также посвящена по велению эпохи «Его Высокоблагородию и кавалеру Гиальберту-Иозефу фон Павликовскому, попечителю медицины и прочая и прочая» — одному из галицийских штатгальтеров. Труд снабжен весьма красивым эпиграфом:

«Из внимательных наблюдений за природою человек черпает благороднейшую часть своих радостей и величайшее утешение -

БЕССМЕРТИЕ».

Описание добрюннского — подчеркнем это — творчества эмеритального лембергского профессора было бы неполным, если бы мы не упомянули еще об одном его произведении, также размноженном на печатном станке. Это стихотворная «Эпитафия господину профессору статистики доктору Карлу фон Хюттнеру», исполненная с приличествующей патетикой и скорбью:

С миром спи! Морфей да будет

Твой подобен ночи майской!…

По совершенно непонятным причинам оказалось, что среди множества творений главы физиков Высшей реальной школы единственным относившимся к собственно физике трудом была лишь его письменная конкурсная экзаменационная работа на степень доктора и на право занимать должность профессора «коллегии философского факультета в Лемберге». Печатного станка сей труд не увидел, ибо соискатели должностей должны были доказывать своё преимущество перед конкурентами путем наилучшего изложения сведений общеизвестных. Украшенная тремя ярко-красными сургучными кляксами с оттиснутым на них имперским орлом, эта работа хранится в личном деле Завадского — оно сейчас находится во Львовском областном архиве.

Да, с 1818 года и по самый 1853-й Завадский был сначала ассистентом, а потом профессором во Львове. Посвящал свои книги эрцгерцогам и штатгальтерам, которые, видимо, жертвовали деньги на издания — университетские оклады были скудны. Он проявлял и религиозное благочестие тоже, пользовался доверием начальства и симпатиями коллег-профессоров философского факультета. Он был верноподданным господином и оставался таким в бурные времена.

В 1846 году, когда в Галиции вспыхнуло очередное антиавстрийское движение, большая группа львовских университетских профессоров-юристов была отправлена за решетку и задним числом — по предписанию полицейпрезидиума — факультетская профессорская коллегия лишила их должностей.

В 1848 году университет — особенно его студенты и молодые преподаватели — был во Львове главным источником революционной крамолы, сотрясавшей устои империи. Когда загрохотали пушки императорских полков, верноподданные осведомители выглянули из щелей, в которые прежде попрятались, и принялись строчить донесения на лиц, в революционные дни проявивших опасный образ мыслей. В

доносах имя Завадского снова не фигурировало. Однако когда в 1853 году он появился в Брюнне, его окружал ореол мученика, пострадавшего за свободомыслие. И люди, помнившие профессора, рассказывали Ильтису, что Завадский был лишен в Лемберге должности и выслан из Галиции в Моравию за революционные настроения. А как мы помним, в Брюнне даже члены августинской общины были склонны к известному свободомыслию, особенно в вопросах, касавшихся возрождения славянской культуры и национального самосознания. Надо заметить, что в империи немецкие слои буржуазии были наиболее радикально настроенными. Интеллигентные австрийские немцы симпатизировали чешскому культурному движению. Завадский был окружен почетом. Естественным было отыскать в архивном фонде «кайзерлихе унд кёниглихе» Лембергского университета «Дисциплинарное дело профессора Александра Завадского». Увы! В этом деле сохранились лишь третьестепенные документы. Обвинительные материалы против Завадского, занимавшего пост декана, были истребованы канцелярией галицийского штатгальтера для ознакомления и не возвращены [44]. Из переписки ясно, что всей профессорской коллегии были поставлены в вину какие-то решения, принятые на двух заседаниях коллегии летом 1851 года. Всем членам коллегии министерство культов и просвещения объявило выговор. Бывший декан Завадский и квестор Козма были уволены в отставку. Характерно, что не пришедшиеся начальству по вкусу решения были приняты в середине 1851 года, дисциплинарное дело начато в середине 1852-го, а увольнение последовало уже в 1853-м.

Итак, Завадский был вынужден покинуть столь хорошо им обжитый Лемберг и удовлетвориться скромной должностью профессора уже не университета, а профессора всего лишь реальной школы. Его самолюбие было уязвлено, конечно.

В Брюнне на дружелюбные расспросы новых коллег Завадский мог со спокойной совестью ответствовать, что пострадал за правду. Еще он утешал себя словами, некогда им самим поставленными в эпиграф к «Определителю», — насчет благороднейших радостей и самого бессмертия, которые человек может почерпнуть только из внимательнейших наблюдений за природою. А так как в Брюнне университетские профессора физики, Даже опальные, на дороге не валялись, он оказался окруженным вниманием, продиктованным у одних — почтением к ученым трудам, заслугам, знаниям и званиям, у других — сочувствием к пострадавшему за вольномыслие, а у третьих, наконец, — необходимостью получше знать каждое слово

«высланного», дабы своевременно донести об этом слове куда следует.

Для директора Оберреальшуле господина Ауспитца присутствие в числе педагогов школы бывшего университетского профессора было фактом попросту выгодным. Оно поднимало акции возглавляемого им учреждения, а кроме того, Завадский действительно способствовал подъему интеллектуальной жизни на иной уровень. Пусть как исследователь он проявил себя лишь в ботанике, пусть не было у него оригинальных представлений о кардинальных процессах, о движущих силах природы, но ведь он все равно профессиональный исследователь, который технику дела знает идеально — и да будет с его помощью в жизни Оберреальшуле и всего Брюнна поднят новый пласт!

Выказывая профессору свое почтение, директор Ауспитц при каждом совместном фотографировании педагогов школы непременно сажал самого крупного в своем заведении ученого рядом с собою по левую руку, а по правую руку он сажал, конечно же, «законоучителя», преподавателя обязательного и в реальном обучении краткого курса религиозных наук монаха ордена премонстрантов патера Вацлава Краткого. Лицо у патера Вацлава было квадратное, глаза невыразительные, а уши оттопырены слегка и навострены. Он сделался потом, как и Мендель, аббатом своего монастыря, и членом той же избирательной курии, и вместе с епископальным комиссаром Хаммермюллером был избран депутатом ландтага. И это против его избрания протестовал потом Мендель. И Краткий, конечно, проклинал Менделя за то, что он спутался с либералами. Но здесь на фотографии все тихо, все мирно. Все бури впереди. И господин директор Ауспитц пока еще тоже только школьный директор, еще не редактор газеты, еще не партийный лидер. Он еще не ведает местами в банковских правлениях. Он только рекомендует своим учителям, как сесть перед объективом фотоаппарата, чтобы профессорский корпус был представлен повыгоднее.

Кроме Завадского и Краткого, в первый — более почетный — ряд фотографирующихся Ауспитц обязательно просил сесть еще августинца патера Фоглера, преподававшего немецкий язык, и августинца патера Менделя. Этим подчеркивалось почтение к церкви, которую они представляли, и вес означенных персон в реальшуле, хотя — заметим это особо — Грегор Мендель и после университета был все-таки не дипломированным учителем, а по-прежнему всего лишь супплентом.

…Он так и остался супплентом. Он проработал в реальной школе четырнадцать лет и все четырнадцать лет супплентом, потому что пробыл в университете всего лишь четыре семестра, и

только вольнослушателем. Потому что прошел лишь выбранные курсы, а не все, какие полагались для получения диплома. И, окончив избранные курсы, он не сдавал экзаменов, ибо не это ему было нужно, а нужно было ликвидировать «белые пятна» в знаниях, чтобы чувствовать себя в мире, который его занимал и волновал, хозяином. Чтобы приобщиться к подлинной науке — к царству строгого эксперимента и осторожности в суждениях, в котором самонадеянность и суетность уже не грех, требующий публичного покаяния, а просто гибель.

И он приобщился к нему у Доплера и Коллара, чьи имена первые по возвращении месяцы не сходили у него с языка.

Впрочем, он мог получить еще диплом гимназического учителя — все-таки это кое-что. И у него было разрешение баумгартнеровой комиссии. С дипломом в кармане он получил бы право титуловаться «профессором» уже всерьез, а не контрабандой, как в Цнайме.

И он поехал сдавать эти экзамены весной 1856-го и насмерть удивил будущих биографов, ибо экзаменов снова не сдал.

Он вернулся из Вены, еле держась на ногах; он был столь плох, что перепуганные собратья по монастырю вызвали из деревни его отца и дядю — вот все достоверное, что было известно в течение многих лет. Ильтис нашел в министерском архиве упоминание, что Мендель не сдал экзамена опять же по биологии… Но второй-то провал Менделя на экзамене по биологии — дело совсем несуразное!… Потом один из бывших педагогов реальшуле сказал Ильтису, будто Мендель поспорил с кем-то из экзаменаторов, и тотчас родилась еще одна легенда об отце генетики: он якобы одержал верх в дискуссии о том, как нужно ставить биологический эксперимент, но экзамен не лучшее место для дискуссий, у одного из участников всегда есть возможность прервать полемику двойкой.

То была всего лишь легенда, родившаяся «в поисках пороха». Несколько лет назад Ярослав Кржиженецкий, покойный ныне, приводя в порядок менделевский архив, обнаружил свидетельства, относившиеся к этому эпизоду. Мендель заболел во время экзаменов. Он неожиданно утратил способность писать. Трудно сказать, что послужило причиной этой «аграфии» — заболевания, относящегося к компетенции психоневрологов: простое ли переутомление — ведь он нес и монастырские обязанности (включая сюда и «экзерциции»), и преподавал, и уже вел исследовательскую работу, и к экзаменам готовился; или, быть может, в обстановке, в которой некогда постиг его столь обидный провал, наступило нечто вроде психического шока?… Чем человек талантливей, тем он ранимее, ибо талант — это в

первую очередь особая обостренность восприятия и реакций. В клетках мозга с другой скоростью и в других количествах вырабатываются ферменты, быстрее сгорают вещества… А иногда и сами клетки. И сами люди…

Он снова не сдал экзаменов.

Это значило, что на следующий год все надо начинать сначала, и Мендель просто решил не возиться с этим больше. Каждая попытка, как ни была серьезна теперь его подготовленность, требовала времени, треволнений, трат. Диплом же мог быть нужен лишь «honoris causa» — «чести ради», и не в общепринятом смысле, а просто для самолюбия. Положение его было теперь куда как твердым!… И не только оттого, что проучился в университете, и не только оттого, что зарекомендовал себя в очередной раз великолепным педагогом — прочно зарекомендовал… Завадский тоже был отличным лектором да еще обладал высокими степенями, но его вышвырнули из Лемберга в 57 лет, как щенка.

Позиции патера Менделя были много лучшими, чем и у титулованного, но опального Завадского и у неопального Маковского, ибо патер Грегор носил черную униформу Службы Спасения душ и по одной лишь принадлежности к церковной гвардии после подписания конкордата 1855 года пользовался абсолютным преимуществом перед всеми этими учеными-мирянами с их дипломами и степенями.

И наконец, кроме всего, его полюбил господин директор Ауспитц. Директор приметил супплента Менделя еще за три года до того, как господин каноник появился в стенах Оберреальшуле — да, да, в Техническом училище, где Мендель временно замещал заболевшего профессора естественной истории. Да, да, Ауспитц работал в Техническом училище инспектором, а возглавив реальную школу, не преминул пригласить Менделя в свое заведение. И теперь ничто не могло заставить его переменить мнение о своем подчиненном — «феноменальные педагогические способности!», «светлейшая голова!», «задатки настоящего исследователя!» «удивительной души человек!», «прямая, честная натура!» и т. д. и т. д.

Ауспитц плевал на то, что Мендель снова не смог получить диплома, — уж он-то знает истинную цену и дипломов и Менделя. И супплентский оклад патера Грегора теперь не отличался от окладов дипломированных господ.

А кроме всего, все-таки не из-за одного лишь личного уважения к умению патера Краткого преподавать мальчишкам-реалистам слово божие, а патера Фоглера — немецкий язык, а патера Менделя — физику и биологию господин директор

Ауспитц приглашал их фотографироваться в первом ряду! Трое людей в униформе Службы Спасения душ олицетворяли господство духа благонамеренности во вверенной директору школе.

Впрочем, сутану постоянно носил только Краткий.

Мендель и Фоглер упрямо ходили по городу в цивильном костюме особого образца, разрешенного монахам для ношения вне монастыря в то время, когда им не предстояло исполнять свои пастырские обязанности: высокие сапоги, в которые заправлены черные брюки, просторный чуть мешковатый.сюртук (увы, под ним виднелся не элегантный галстук-«бабочка» на крахмальной манишке, а подрясник со стоячим мундирным воротником). На голове — уже не по форме — Мендель носил цилиндр. Он был шутлив, смешлив, Стоило ему покинуть классную комнату, как он окутывался сигарным дымом… В нем настолько что-то сдвинулось за эти годы, до такой степени по манерам своим казался он теперь мирянином, что когда один из его учеников-реалистов в первый раз по какому-то делу прибежал к нему в монастырь, то остолбенел на пороге кельи, увидев своего физика в полном облачении августинца… В представлении мальчика это облачение совсем не вязалось с учителем.

А в монастыре святого Томаша, кроме дел по саду и оранжерее, на Менделя ныне была возложена постоянно еще одна очень важная в отшельнической общине нищенствующего ордена должность «патера кюхенмайстера» — шефа кухни. И неведомо, какую роль сыграл здесь опыт, приобретенный в столице, но августинская кухня, которая никогда не была в загоне, в течение всего менделевского шефства над ней непрерывно процветала и потом — при его аббатстве — тоже. И брюннские бюргеры присылали своих дочек-невест к поварам святого Томаша в обучение: тамошняя кулинарная подготовка весьма поднимала акции будущих хозяек респектабельных домов. Кухня специально была расположена так, чтобы фрау и фрейлейн могли попадать в нее, не нарушая царившего над частью помещений монастыря запрета — клаузуры. Обучение кулинарному делу, видимо, тоже способствовало процветанию монастырской кассы.

А то, что кухня была поистине замечательной, зафиксировано даже в строго научной печати. Недоверчивого читателя мы адресуем к столь солидному источнику, как «Journal of Heredity». Уже упоминалось, что в 1942 году в нем была напечатана статья «Я разговаривал с Менделем», написанная бывшим коммивояжером французской цветочной фирмы Эйхлингом.

Эйхлинг, которому в 1878-м было 22 года, не только разговаривал с Менделем, но еще и обедал с Менделем!

Шестьдесят лет спустя он как нечто несравненное вспоминал суп, ветчину и монастырское пиво, которыми его угощали!…

Поминая свое голодное отрочество, супплент-«кюхенмайстер» подкармливал иногда забегавших к нему на монастырскую квартиру мальчишек-реалистов.

Они нередко к нему бегали, особенно летом, когда было хорошо в монастырском саду… Классы в реальшуле были огромные — по 85 — 90 человек. И почти треть ребят в каждом классе были иногородние, и обязательно десяток из них были из семей победнее — такие, кого даже освобождали от платы за обучение. Вот он и подкармливал их… И обучал приемам садоводства: бывший его ученик садовник Прессбургер писал, что скрещивать груши его научил Мендель. А помня другие события своей жизни, он за четырнадцать лет в реальной школе ни одного ученика не провалил на экзамене!…

Но пост «кюхенмайстера» не принес ему добра, ибо с сорока лет и до конца дней Мендель страдал от тучности. Впрочем, тучность была в его роду наследственной: сестричка Терезия считалась самой толстой женщиной в Хейнцендорфе.

…Время тревог и забот осталось позади. Одна лишь принадлежность к Службе Спасения душ, привычное исполнение обязанностей — регулярные «capitulum culparum», экзерциции, мессы, которые надо было время от времени по очереди с другими членами братства служить в костеле Вознесения Девы Марии, да личная несвобода обеспечили безбедное бытие.

В реальной школе он был самым любимым из учителей. Он был в равной мере доброжелателен ко всем мальчишкам — к австрийцам, чехам, полякам, к католикам, лютеранам, евреям. Патеру Краткому его терпимость не нравилась, но это оставалось личным делом патера Краткого. Однако чтобы ученики полюбили, одной терпимости и доброты недостаточно. Но он еще блестяще знал свое дело и очень интересно преподавал.

Как всякий человек, отлично владеющий предметом и слогом, время от времени — для разрядки — он вставлял в свои лекции шутку. Он был ровен. От его спокойствия веяло уверенностью в своих силах.

Лишь дважды при учениках он вышел из себя. Первый раз когда в зверинце обезьяна неожиданно сорвала с его носа очки в тонкой золоченой оправе, а второй — когда класс, которому он рассказывал о процессе оплодотворения, расхохотался: ведь в нем же были мальчишки в том возрасте, когда само слово «оплодотворение» производит фурор!…

Мендель покраснел и крикнул: «Не делайте из мухи слона! Это совершенно естественные вещи!»

…В его монастырской квартире был устроен маленький зверинец. Там жил пойманный на одной из загородных прогулок с учениками лисенок; жил еж, иногда залезавший в его сапоги бутылками; жили мыши — белые и серые, которых он скрещивал, хоть никто и не понимал зачем. Маленький зверинец тоже приманивал мальчишек, но слух об опытах с мышами дошел до высокого церковного начальства.

«Non licet!» — «Не подобает!» — так было сказано. И канонику Менделю пришлось подчиниться уставу. Мыши были убраны из кельи. Еж и лиса остались.

Он по-прежнему много работал в саду, занимался пчелами и растениями. Разводил цветы. Прививал груши. Даже, выращивал в оранжерее ананасы. Все это считалось столь же угодным богу, как и трюки жонглера, адресованные лично Мадонне, и приносило монастырю доход и честь.

И он без труда выпросил себе у Наппа участочек специально для каких-то опытов, крохотный — 35 на 7 метров — палисадник под окнами прелатуры. Плотник Иосиф Шипка обнес участок оградой, за что получил из монастырской кассы «по 1 фл. 5 крейц. за день работы — итого за 12 дней — 12 фл. 60 крейц. за забор для патера Грегора».

Участок он получил еще в 1854-м — в первый год своей работы в реальной школе. Тем не менее прелат Напп мог уже удостовериться, что урожай экспериментов, которые соберет здесь патер Грегор, не пропадет втуне, ведь еще летом 1853-го в Вене на заседании зоолого-ботанического общества вновь принятый в его состав преподобный студент Мендель уже сделал доклад о биологии вредителя редиса, репы и капусты — бабочки «Botys margaritalis». Гусеницы этого племени опустошили в предыдущем году огороды Моравии. Бедствие постигло и Хейнцендорф и Брюнн, а к таким событиям потомственный крестьянин Мендель не мог оставаться равнодушным, и он решил разобраться в нем так, как подобало человеку из университетской лаборатории: принялся копаться в огородной земле, но не лопатой, а пинцетом, и обнаружил в корнеплодах гусениц. И конечно же, привез их в Вену в аккуратном деревянном ящичке. Прорезал в источенных гусеницами редисках окошечки, дабы наблюдать за поведением личинок, уже впавших в оцепенение. Наблюдал за ними всю зиму, вывел из них бабочек и описал их.

Сам Коллар сравнил полученные экземпляры с тем, что было в коллекции Императорского музея, точно определил вид и указал, что прежнее описание, содержавшееся в очень известном руководстве, страдало рядом погрешностей.

В том же 1853 году этот доклад преподобного господина

Менделя был опубликован в «Трудах Венского зоолого-ботанического общества». Под заглавием его стояло посвящение: «Моему высокочтимому учителю г-ну доктору Коллару». Том трудов занял свое место в библиотеке монастыря, а также в библиотеке реальной школы. Отдельные оттиски были, конечно, по обычаю презентованы друзьям и покровителям — оттиски первого научного труда!

Второй труд последовал быстро. Быть может, Мендель сам даже не ожидал, что так получится. Насекомых-вредителей было в ту пору множество. Следуя законам, тогда еще неведомым [45], насекомые неожиданно бурно размножались, заполняли посевы, и столь же неожиданно их нашествие вдруг прекращалось. В 1853-м и 1854-м пострадали не одни огороды, но еще и плантации гороха. Неприятель значился в энтомологических трудах под именем гороховой зерноедки «Bruchus pisi». Мендель, конечно, понимал, что проведенные им наблюдения могут заинтересовать и Коллара и зоолого-ботаническое общество. Он, быть может, даже рассчитывал, что его пригласят в Вену сделать новый доклад, и — дабы заинтересовать в этом учителя — послал Коллару письмо, начинавшееся так, как могут начинаться лишь личные письма — с полушутки:

«Глубокоуважаемый господин Директор!

Позволю себе сообщить о Преступнике, серьезно опустошившем за два последних года окрестности Брюнна. Это «Bruchus pisi». Сей зверь в истекшем году почти уничтожил большую часть гороха еще в поле, а собранный урожай сделал несъедобным для человека из-за того, что перезимовал в зернах. Бедствие достигло столь великих масштабов, что торговая инспекция зачастую не разрешала продавать на рынках привезенный на продажу горох.

В начале января я обследовал партию зараженного гороха и обнаружил в большом числе зерен жучков, их яйца, куколок и личинок. С виду горошины были гладки, но при тщательном наблюдении удавалось увидеть нечто подобное следам игольных уколов — на противоположной стороне этих зерен оказывались круглые темные пятна размером в $^1/_2$ линии [46]. При разламывании зерен легко обнаруживался путь, проделанный в них личинками, ибо зерна были ими проедены от точки укола до темного пятна. В области пятна выросшие из личинок жучки выходят на поверхность. Я следил в моем жилище за их развитием.

Мне не был известен факт зимовки жучка в горошинах. Взламывая зеленые бобы [47], я часто обнаруживал довольно уже

развитых личинок, лежавших рядом с объеденными зернами, и полагал, что их окукливание происходит не в горошинах, а лишь внутри самого боба.

Теперь я придерживаюсь иного мнения, но должен признать, что эта манера зимовки не согласуется с предположением о том, что самка откладывает яички только в цветок. Весьма достоверно, что личинка вскоре после своего выхода из яйца проникает в зерно — об этом свидетельствует очень узкий канал, по которому она двигалась.

…Если яйцо действительно было отложено в цветок, то зернышко в тот момент, когда оно подвергается нападению личинки, должно быть очень молодым, нежным и весьма восприимчивым к ранениям. Приходится в таком случае удивляться тому, как стало возможным, чтобы оно развивалось столь же хорошо, как и другие здоровые зерна, ибо оно должно было переносить непрекращающееся травмирование. У других растений в подобных случаях мы наблюдаем, как завязи заболевают и гибнут. Точно так же в тех гороховых бобах, где личинка лежит свободно, одно или несколько зернышек оказывались совершенно деформированы — предположительно те, что самыми первыми были повреждены личинками.

В целом же все становится понятным, если предположить, что зернышко стало крепче или совсем созрело к моменту, когда в него проникла маленькая еще личинка. Из этого, правда, вытекают выводы и предположения, которые я не решаюсь высказать наобум. Во всяком случае, представляется желательным тщательно изучить способ существования этого животного, дабы получить возможную ясность насчет его размножения и распространения; в противном случае есть основания опасаться, что мы лишимся одного из самых питательных земных плодов. Как я слышал, владельцы больших имений настроены уже в следующее лето отказываться от разведения гороха.

Примите, Ваше благородие, уверение в совершенном к Вам почтении

Грегор Мендель».

Если бы он знал, как повернется дело, то, наверное, написал бы по-другому. Он был теперь достаточно требователен к себе и в письме Коллару лишь набрасывал контуры увиденного — бегло и осторожно, и не считал работу оконченной. Весной на отведенном ему под окнами прелатуры участочке он даже посеял горох. Быть может, чтобы просто наблюдать за жучком. А может быть, и за жучком и за чем-то еще?…

Он ждал ответа, замечаний, предложения доложить обществу или написать заметку в «Труды», но никак не предполагал, что, не откладывая дела в долгий ящик, Коллар просто возьмет и огласит его письмо на ближайшем собрании зоологов и ботаников Вены, ибо страницы этого письма оказываются новыми, прежде никем не заполненными страницами книги Науки о природе — пусть не самыми важными, но все-таки не заполненными доселе. И никак не предполагал, что в IV томе «Трудов» венского общества за 1854 год будет напечатано:

«Г-н директор Ф. Коллар ниже сообщает о поступившем в его адрес письме от его высокопреподобия г-на Г. Менделя…»

И далее шло целиком его письмо, начатое им так, как и начинают личные письма, с полушутки: «Позволю себе сообщить о Преступнике, серьезно опустошившем за два последних года окрестности Брюнна. Это «Bruchus pisi». Сей зверь в истекшем году…»

Еще один том столичного научного сборника с его, Менделя, работой очутился на полках библиотеки монастыря и библиотеки реальной школы. Коллеги оценили сей важный факт, и это серьезно меняло мироощущение.

И для себя самого он был теперь не просто любитель науки, не просто учитель, знающий предмет и умеющий учить, и не только функционер Службы Спасения душ.

Он был теперь человеком, способным создавать научные ценности — пусть небольшие.

А почему только небольшие?…

На отведенном ему под опыты участке монастырского двора весной 1854 года был посеян горох. \

X. КТО ВЫ, ГРЕГОР МЕНДЕЛЬ?

Он оказался в итоге совсем не прост и совсем не благостен — так же, как и небесный покровитель его монашеского ордена святой Августин из Тагасты.

Во всяком случае, именно из-за него в крайне неудобном и обидном положении очутился много лет спустя виднейший голландский биолог Гуго де Фриз. В 1900 году, когда все и приключилось, де Фриз был уже «виднейшим»: ему шел пятьдесят второй год от роду, его печатные работы по физиологии растений были известны множеству коллег — почти всему тому множеству, какое тогда было. Особую славу де Фризу принесла вышедшая в 1889 году книга «Внутриклеточный пангенезис». В ней он излагал свои взгляды по важным вопросам — свои представления о физиологии роста и развития живого организма, об эволюции, о том, что такое «вид», о том, наконец, что обусловливает передачу по наследству признаков родителей их потомкам. Де Фриз вводил в науку новый термин «пангены» [48] — так он называл материальные единицы, каждая из которых обусловливает передачу одного признака. В многочисленных наблюдениях за растениями де Фриз установил, что иногда признак растения может самопроизвольно изменяться и затем в таком измененном виде передаваться из поколения в поколение. Он предположил, что это изменение связано с изменением «пангенов», и назвал явление «мутацией». О неожиданных самопроизвольных наследственных изменениях признаков де Фриз говорил не первым — такие явления еще Дарвин в знаменитом «Происхождении видов» считал одним из основных факторов развития. Но де Фриз первым четко описал, как мутации выглядят воочию, — на огромном, достоверном, тщательно обработанном статистическом материале.

С 1892 года Гуго де Фриз начал большую серию экспериментов по скрещиванию растений. Он скрещивал меж собою близкие формы кукурузы, мака, дурмана и растения, носящего игранное имя «Ослинник», причем один из видов назывался «Ослинник Ламарка» — «Oenothera Lamarciana», да и других растений. Результаты наблюдений позволяли де Фризу четко сформулировать очень принципиальные выводы — законы наследования.

Де Фриз так и поступил — сформулировал законы и в начале 1900 года послал в «Известия Германского ботанического общества» подробный отчет о своей восьмилетней работе, со всеми выкладками и полагающимися в каждой серьезной научной

статье ссылками на сходные данные и положения, имеющиеся в специальной литературе. Изложив в начале отчета два основных своих вывода, де Фриз замечал кратко:

«Существеннейшие моменты обоих этих положений были уже давно установлены Менделем[1] для одного специального случая (горох). Они были, однако, снова преданы забвению и не признаны[2]. Из моих же опытов следует, что они носят характер всеобщей закономерности».

Внизу страницы стояло примечание:

«[1] См. Грегор Мендель, «Опыты над растительными гибридами» в «Трудах Ферейна естествоиспытателей в Брюнне», т. IV, 1865, стр. 1. Эта важная статья цитируется настолько редко, что я сам ознакомился с ней лишь после того, как закончил большую часть своих опытов и вывел из них приведенные в тексте положения».

Затем шла еще одна сноска, относившаяся к фразе «были снова преданы забвению и не признаны»:

«[2] См. далее в кн. Фоке «Растительные помеси», стр. 110».

Эти замечания, прямо скажем, были глуховатыми, но они все-таки были.

«Известия Германского ботанического общества» считались одним из самых уважаемых научных органов того времени. Лучшего места для публикации работы и придумать было нельзя. При своей известности де Фриз мог рассчитывать на самое благоприятное отношение к своему посланному для публикации труду — итогу многолетних наблюдений и раздумий. Отношение было действительно самым благоприятным: не успела работа 14 марта прибыть, как 30 марта 1900 года ее уже доложили на заседании общества и тотчас отправили в набор

Однако, не дождавшись даже заседания, де Фриз отправил краткий вариант, работы — предварительное сообщение в вестник Парижской академии наук — «Comptes Rendus». И в этом сообщении имени Менделя он для краткости не упомянул. Полученная 26 марта столь важная заметка де Фриза была тотчас заверстана в очередной номер «Comptes Rendus» и уже в середине апреля увидела свет.

Вот тут-то и началось.

Любой серьезный исследователь тщательно следит за всем, что появляется в специальной печати. И конечно, столь же, как де Фриз, видный немецкий ботаник Карл Корренс просматривал «Comptes Rendus» в тот же день, как его приносил почтальон.

Номер с предварительным сообщением де Фриза попал ему в руки 21 апреля. Прочитав сообщение, Корренс буквально взбеленился потому, что в нем не было имени Менделя.

Дело в том, что и сам Корренс на протяжении нескольких лет, как и де Фриз, занимался скрещиванием растений. И на многих сотнях гибридов разных растений — кукурузы, гороха, лилий и левкоя — он получил точно такие же данные, как и де Фриз, и тоже пришел к мысли, что имеет дело с еще не сформулированными законами или правилами наследования. Корренс их сформулировал и в 1899 году решил написать об этом статью для тех же «Известий Германского ботанического общества». Человек он был очень добросовестный и основательный. Он отлично знал всю основную литературу по изучаемому вопросу. Подобрать эту литературу было нетрудно: немецкий врач В. Фоке, ботаник-любитель, выпустил в 1881 году капитальнейший обзор всех имевшихся в европейской литературе трудов по проблеме гибридизации. Любую справку у Фоке можно было навести мгновенно.

Принявшись за статью, Корренс, конечно же, взял в руки том Фоке «Растительные помеси». Стал педантично выверять, все ли упомянутые в нем работы по вопросам, которых он коснулся в своих исследованиях, им учтены, и вдруг в главе «О гибридах гороха» — а эту главу надо было перечитать обязательно, ибо Корренс с горохом тоже работал — он наткнулся на фразу, на которую прежде внимания не обратил:

«Многочисленные скрещивания Менделя дали результаты, совершенно сходные с полученными Найтом, однако Мендель полагает, что он установил постоянные численные отношения между типами помесей».

Фамилия была знакомой. Корренс ее слышал… Где же?… От кого же?… В Мюнхене… от своего знаменитого учителя Карла-Вильгельма Нэгели… Корренс учился у Нэгели. В последние годы своей жизни Нэгели уже нередко вдавался в разного рода воспоминания и иногда рассказывал, что он одно время переписывался с неким аббатом Менделем из Брюнна. Письма аббата были очень интересны. Господин Мендель работал над скрещиваниями… Нет, Нэгели ничего не говорил о гибридах гороха, но он говорил о работах по скрещиванию ястребиной — это были самые любимые растения учителя. Нэгели даже написал особую монографию «Ястребинки Центральной Европы».

Отыскать работу Менделя не стоило труда: в книге Фоке было дано и ее название и название сборника, где она напечатана, все тридцать семь томов «Трудов Ферейна естествоиспытателей в Брюнне», вышедших к 1899 году, аккуратным рядком стояли и на полке библиотеки Берлинского университета и на полке библиотеки Ботанического общества.

И почти все, что хотел сказать Корренс в итоге своего пятилетнего труда, оказалось сказанным в работе Менделя. Все открытое Корренсом было уже открыто 35 лет назад!

Это был, конечно, удар для исследователя, но чувство досады у Корреиса было оттеснено восхищением перед четкостью эксперимента и ясностью мысли неизвестного человека, который располагал много меньшими возможностями, чем его будущие коллеги, жившие на рубеже XX века. Этот брюннский монах словно прошел из своего времени в другое, оснащенное более совершенным аппаратом познания!

Корренс написал предварительное сообщение для «Известий Германского ботанического общества», где, кстати, изложил итоги своих опытов и указал, что все им открытое было уже открытым, а посему он считает своим долгом описать труд первооткрывателя. В сообщении де Фриза, опубликованном в «Comptes Rendus», Корренс увидел желание голландского коллеги застолбить за собой приоритет на чужое открытие.

Номер «Comptes Rendus» Корренс получил 21 апреля 1900 года, а 24 апреля в редакции «Известий Германского ботанического общества» уже лежала поспешно завершенная Корренсом статья «Правила Менделя о поведении потомства расовых гибридов». Через три дня она была доложена на заседании общества и отправлена в печать — в номер «Известий», следующий за номером, в котором была статья де Фриза.

И Корренс не поскупился на саркастические замечания:

«…Когда мной была выявлена закономерность в поведении гибридов и дано объяснение этому поведению, — к чему я сейчас вернусь, — со мной произошло то же самое, что, по-видимому, случилось и с де Фризом. Свои данные я считал за нечто новое. Но затем мне пришлось убедиться в том, что аббат Грегор Мендель в Брюнне в шестидесятых годах, на основании своих многолетних и очень удачных опытов с горохами, не только пришел к тем же результатам, к которым пришли де Фриз и я, но и дал такое же толкование, поскольку это было возможно в 1866 году… [49]

Эта работа Менделя, правда цитированная у Фоке в его «Pflanzenmischlingen» («Растительные помеси»), но недостаточно оцененная и прошедшая почти незамеченной, является одной из лучших, когда-либо написанных по поводу гибридов, если не принимать во внимание некоторых возражений второстепенного значения, которые можно сделать, например, по поводу терминологии.

Я не счел нужным закрепить за собой путем предварительного сообщения приоритет на это «вторичное

открытие» (Nachentdeckung), а решил продолжать свои опыты».

И де Фризу — ученому поистине блестящему — пришлось почти всю жизнь время от времени оправдываться и доказывать:

…что он мысли не имел преуменьшать значения труда подлинного первооткрывателя законов наследственности;

…что он опустил имя Менделя в сообщении для «Comptes Rendus» только ради краткости; ранее он уже послал в «Известия Германского ботанического общества» статью, где все было сказано как надо;

…что правила наследования он открыл совершенно независимо от Менделя;

…что работа Менделя ему, как и Корренсу, попалась на глаза, только когда все основные эксперименты были уже закончены, — не ранее 1895 года.

Да, именно не ранее, ибо фамилия Менделя стала известной ему, де Фризу, по списку литературы из книги Бейли «Селекция растений». А она вышла впервые в 1895 году… Ну вот, кажется, инцидент и исчерпан.

Но все дело в том, что в первом издании книги Вейли «Селекция растений», увидевшем свет в 1895 году, никакого списка литературы напечатано не было. И имя Менделя тоже не упоминалось. Все это появилось только во втором издании, которое вышло уже в 1902 году. Увидев спасительный список в нем, де Фриз решил, что в первом издании список тоже был… Впрочем, ссылка на Бейли была не случайной. Действительно, де Фриз впервые увидел имя Менделя в книге Бейли, — но только в другой — «Cross breeding and hybridisation». Но она вышла в свет не в 1895-м, а в 1892-м — в год, когда де Фриз не заканчивал, а лишь начинал свои эксперименты с гибридами!… Память подвела! Ах, как подвела!… И еще подвел датчанин Мартин Вейеринк, замечательный микробиолог, тот, что первым установил существование ультрамикроскопических живых существ, получивших имя «вирусы». Вейеринк сообщил, что у него валялся неизвестно каким путем попавший к нему отдельный оттиск работы Менделя. Узнав, что де Фриз принялся работать над той же проблемой, он, Бейеринк, в 1892 году послал ему этот оттиск!…

Как она страшна, большая слава!… Блестящий ученый, сумевший точно предугадать, какой вопрос надо задать природе, как его надо задать и какой должен будет прийти ответ, когда выяснилось, что вопрос был уже задан и ответ был уже получен другим безвестным исследователем, — не смог устоять перед соблазном вступить в спор за частицу этой славы! Вот какие

мысли напрашиваются после ознакомления с этой историей. Но напрашиваются они еще и потому, что история помнит немалое число конфликтов из-за приоритета, в которых иные ученые вели себя не лучшим образом… Стоит все же поосторожней отнестись к обвинениям, которые были адресованы де Фризу. Ведь всю свою жизнь — полвека, прожитые им прежде, и тридцать пять лет, прожитые им позднее, он был кристально чистым человеком, мудрым и добрым. И в сообщении, посланном в «Известия» германских ботаников, имя Менделя он назвал достаточно внятно, пусть и не уловил он, что Мендель придавал своим законам всеобщее значение… Пусть и позабыл, когда в его руки попала работа предшественника…

Впрочем, Мендель лишил славы первооткрывателя не только де Фриза и Корренса, но еще и австрийца Эриха Чермака фон Зейссенегга, надворного советника, кавалера рыцарского креста ордена Франца-Иосифа и ботаника, который в том же 1900 году закончил точно такую же работу и послал ее в те же «Известия Германского ботанического общества». И англичанина Вэтсона, открывшего правила наследования в опытах по скрещиванию животных, он тоже лишил этой славы.

Четыре человека одновременно пришли к осознанию важнейшего механизма бытия живой природы. Наука созрела для открытия. Но оно было уже сделано прежде.

Эти события произвели фурор в тогдашнем научном мире.

И весь тогдашний научный мир стал мучаться над вопросом, кем же был он, Грегор Мендель, — человек, обогнавший свое время?…

И оказалось, что он был монахом, а потом аббатом августинского монастыря.

Что он был учителем Цнаймской гимназии и реальной школы в Брюнне, но не был даже полноценным «школьным профессором», а был всего лишь супплентом, ибо дважды пытался получить диплом учителя, и оба раза безуспешно.

Что он учился в Венском университете, но полного курса не прошел.

Что в течение восьми лет, с 1856 по 1865 год, он ставил свои опыты в маленьком — тридцать пять на семь метров — садике во дворе монастыря и ему в них помогали иногда два монаха — патер Линденталь и патер Винкельмайер, и еще пропойца садовник Мареш (последнее — о помощниках стало известно недавно).

Что он в 1865 году доложил эти опыты брюннскому Ферейну естествоиспытателей и доклад его был принят холодно, хотя он и был опубликован в «Трудах» общества.

Что в 1868 году патер Мендель был избран настоятелем монастыря и после этого, кажется, отошел от биологических исследований.

И что, наконец, в последние годы он стал очень видной персоной в Моравской провинции, занимал многие важные посты и прославился десятилетней борьбой против принятого рейхсратом и утвержденного императором закона о Религиозном фонде.

И на основе этих фактов был создан облик довольно милого человека, работяги-любителя, которому подвернулся по случаю удачный объект опыта и который благодаря своей педантичности и аккуратности сумел зарегистрировать замечательнейшие явления. А так как дилетантам всегда свойственно мечтать о великих открытиях, патер Мендель по наивности решил, что он действительно открыл важные законы природы. Но на самом-то деле он ни чуточку не понимал, что сделал, как сделал…

Легенды о случайности открытий — о яблоках, делающих задумчивых джентльменов Ньютонами и тому подобном, — в равной мере тешат и дилетанта от науки и профессионала. Первому они сулят возможность сравняться с великими вопреки суровой реальности исследовательского дела. А профессионала, которому недостало таланта, терпения, остроты ума или материальной базы для крупных свершений, эти легенды утешают, оправдывают в собственных глазах и — изредка — в глазах их ближних.

Эти легенды уравнивают гениев с неудачниками.

Биографы Менделя разделились на две партии не только по своему мировоззрению, а прежде всего именно по оценке Менделя как ученого. Одни по документам реконструировали историю его жизни и труда. Другие, не вчитываясь в документы, творили легенду, и таких оказалось больше.

«В литературе Мендель предстает, пред нами в облике простого и бесхитростного монаха, это способно создать впечатление, будто его открытие явилось делом случая, будто открытие было совершено человеком, далеко стоящим от предмета», — с неудовлетворением заметил недавно один из современных генетиков.

Чем мы располагаем для того, чтобы восстановить историю самых важных в жизни Менделя лет — с 1854 по 1865 год?

Немногим.

И очень многим.

Немногое — это четыре письма Менделя: два адресованы Розине Мендель, два — Леопольду Шиндлеру. Из них можно

узнать, что Менделя волновало здоровье матери и он посылал для нее деньги. Еще — он вместе с патером Клацелом совершил паломничество в Мариацелль к Богородице, еще — был очень занят занятиями в реальной школе и не мог приехать на какое-то семейное торжество в Хейнцендорф. Из них становится известно также, что из-за апрельских заморозков в саду святого Томаша померзли орехи и вишни, зато сливы, груши и яблоки отцвели на славу, а виноградные лозы просто в исключительном состоянии.

Еще — о ценах на брюннском базаре.

И еще — о коварстве и злодействе «императора Франции Наполеона, который в своем высокомерии вступил в союз с королем Сардинии, дабы отнять у нас (т. е. у Австрии и Менделя) итальянские провинции».

Очередной этот выпуск домашней газеты Мендель изрядно насытил публицистикой:

«С помощью хитрой игры он (Наполеон III. — Б. В.) умеет придавать своим действиям видимость порядочных и привлекать на свою сторону других. Но горе им, когда этот архилицемер сбрасывает с себя овечью шкуру. Однако как говорит старая пословица: «повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сложить»…

…В конце концов он должен потерпеть поражение! Хотя ложь и может торжествовать какое-то время, она все-таки, бесспорно, будет посрамлена. Однако как велико может оказаться несчастье, которое он несет нам, если в Италии не станет сопутствовать нам удача? Как же в конце концов будет обстоять дело с нашими деньгами, если уже сейчас бумажный гульден стоит всего лишь 58 крейцеров серебром!

…А теперь цены на последнем воскресном базаре…»

Удачи в Италии не было. Через двенадцать дней после отправки этого письма — 10 июля 1859 года австро-венгерская армия была наголову разбита при Сольферино. Что же до менделевских замечаний о «Наполеоне малом», то они оказались на удивление точны. Демарши Наполеона III в те времена запутывали даже таких опытнейших политиков, как сардинский министр Кавур, император Франц-Иосиф и глава его кабинета. К началу войны с Австрией Наполеон был весьма популярен во многих кругах. Но стоило после Сольферино Францу-Иосифу согласиться на присоединение к Франции Савойи и Ниццы, как Наполеон подписал с ним мир, «позабыв» пригласить на переговоры своих сардинских союзников.

Эпитет «архилицемер» был выбран для него Менделем верно.

И кроме того, католический монах Мендель писал это о монархе, который был в то время главной опорой ватиканского престола! Ведь с 1848 года светская власть папы Пия держалась в Папской области только на французских штыках. Наполеон III по просьбе папы ввел в Рим гарнизон, и как только гарнизон был выведен, светская власть папы рухнула. Пристало ли представителю Службы Спасения так относиться к главному союзнику высочайшего своего повелителя?

Впрочем, не стоит преувеличивать: ведь письмо написано подданным воюющей державы.

Что еще можно узнать из писем?… Что спустя три года, в 1862-м, среди родичей были какие-то трения, и, обсуждая с посетившей его в монастыре родственницей семейные сплетни о взаимоотношениях одной из дам и одрауского волостного писца, Мендель неосторожно «распустил язык». Родственница обиделась за даму и перед возвращением в деревню даже не зашла к нему, чтоб взять письмо. А присланное с нею зятем масло «было очень вкусным и сестры удостоились больших похвал всех братьев, которых я угостил им тут же в день получения посылки».

Что еще?…

«В четверг 24-го числа этого месяца (24 июля 1862 г. — В. В.) я отправлюсь в несколько более дальнее путешествие. На этот раз путь пойдет через Вену, Зальцбург, Мюнхен, Штутгарт, Карлсруэ, Страсбург и Париж — в Лондон, на большую промышленную выставку. В Париже я задержусь на неделю, столько же пробуду в Лондоне…»

Примечательное известие, не правда ли?… Мы вернемся к нему позднее, а сейчас придется констатировать, что и в этом письме об исследованиях нет ни слова. Правда, адресат — человек от науки далекий.

Еще у нас есть опубликованный текст публичной лекции господина Александра Завадского, прочитанный в 1854 году в почтенной аудитории, состоявшей из педагогов Оберреальшуле, учеников и их родителей, чиновных особ и коллег из прочих учебных заведений, конечно же, собравшихся, дабы из уст эмеритального университетского профессора и члена многих научных обществ услышать «О требованиях, кои предъявляемы к естественнонаучным исследованиям в настоящее время».

Сия лекция заслуживает того, чтобы мы с нею познакомились. Вряд ли есть другой источник, из которого можно было бы узнать, какой представлялась брюннским (именно

брюннским!) естествоиспытателям того времени благонамеренная наука, прославляющая мудрость творца природы. Но отложим и ее, чтоб не отвлекаться слишком, — надо поскорее окончить разборку нашего хозяйства.

Есть в нем еще воспоминания Густава Ниссля, непременного секретаря Ферейна естествоиспытателей:

«Я познакомился с Менделем примерно в 1861 году [50] в стенах основанного тогда естественнонаучного общества. Он был в то время каноником августинского ордена и одновременно учителем в Брюннской императорско-королевской реальной школе, директором которой был г-н И. Ауспитц.

Наряду с ним там подвизался уже весьма пожилой ботаник профессор д-р Завадский.

Мендель занимался опытами в области ботаники, в частности — тогда он занимался опытами по направленному культивированию растений, которые позднее сошли на нет. Непрерывно до последних дней своей жизни Мендель был метеорологом-практиком. На протяжении ряда лет он представлял на рассмотрение Ферейна естествоиспытателей сводные материалы по ежегодным метеорологическим наблюдениям, проводившимся в Моравии и Силезии. Это была очень кропотливая, отнимавшая много времени работа, которую он выполнял со свойственными ему тихим терпением и увлеченностью.

Мендель доставлял из дальних и ближних окрестностей Брюнна растения, которые особенно интересовали его из-за своей атипичности, и приносил домой, чтобы культивировать в специально для него отведенной части монастырского сада при различных внешних условиях. Обычно он охотно водил посещавших его друзей в сад, и там обсуждались результаты работ и изменения, связанные с различными условиями выращивания.

Случайно это было или не случайно, но, как правило, в итоге приходилось констатировать, что бросающихся в глаза изменений заметно не было.

…Полушутя он замечал по этому поводу:

«Настолько-то мне уже ясно, что этим путем природа не будет способствовать дальнейшему видообразованию. Для этого нужно нечто большее!»

Весьма серьезное свидетельство. Из него видно, что Мендель непрерывно был занят исследовательской работой. В ту пору узкая специализация не была нормой. Его испытательские

интересы были в духе времени многогранны. Зато он проявлял себя как истинный ученый в той крайней строгости, с которой оценивал добытые результаты… Впрочем, у него был образец, которому стоило подражать именно в этой работе, — Унгер, его университетский профессор, проклинаемый ультраклерикалами. Унгер уже доказал четко и однозначно, что изменения состава почвы сами по себе не приводят к изменению вида. Стоило ли повторять его опыты?… Но ведь еще Иоганна — не Грегора, а именно еще Иоганна Менделя тянуло все пощупать собственными руками, раздуть бычий пузырь понизившимся на горной вершине давлением воздуха, набить железными опилками ружейный ствол…

Весь тогдашний биологический мир считал, что под влиянием условий культивирования у растений и животных могут появляться новые, передающиеся по наследству признаки!

Правда, к этому времени стали уже не без иронии относиться к наивным представлениям гениального кавалера де Ламарка, полагавшего, что в растениях имеются некие флюиды, способствующие их усовершенствованию. И Ламаркова схема образования длинной шеи жирафа благодаря тому, что многие поколения жирафов тянулись к листьям на вершинах деревьев, тоже удовлетворяла немногих. «Происхождение видов» увидело свет на английском языке в 1859 году. Дарвинова теория естественного отбора нанесла учению Ламарка смертельный удар. Дарвин не произнес ни одного худого слова в адрес своего предтечи, он высказывался о Ламарке только с великим пиететом, он не отвергал ни одного из кардинальных положений его теории. Но он дал эволюции объяснение, которое не оставило места ни для флюидов растений, ни для стремления животных к совершенствованию.

Кстати, Дарвин — особенно к концу своей жизни, — как и многие его современники, все же полагал, что наследование приобретенных признаков возможно. Тогда в научных трудах то и дело появлялись «доказательства» возможности появления под влиянием внешних воздействий этих определенных, благоприобретенных наследственных Ламарковых свойств — и у растений и у животных. Добрых восемьдесят лет, до конца 20-х годов нашего века, даже истинная наука частью еще грешила этой удобной мечтой, пока все до единого «доказательства», в изобилии приводившиеся, не оказались плодом ошибок в экспериментах.

Тогда наука в целом была вынуждена повторить оброненную брюннским учителем фразу: «…этим путем природа не будет способствовать дальнейшему видообразованию». И после 20-х

годов наследование благоприобретенных признаков было уже заботой только лженауки.

…Он занимался кропотливейшими метеонаблюдениями.

Он замахнулся на кардинальный вопрос биологии — на проблему изменчивости, то есть наследственности.

Он ставил, наконец, эксперименты с горохом, который, начиная с 1854-го, из года в год каждую весну высевал в маленьком садике под окнами прелатуры.

Он не был замкнутым человеком, он был приветливым и доброжелательным. Но он ни разу за десять лет никому — ни Нисслю, ни другу по университету Наве — не поведал внятно о главном — о том, над чем проработал с 1854-го до 1864-го.

Почему?… Оттого, быть может, что эта работа была самым сокровенным для него?…

И доклад «Опыты над растительными гибридами», который был прочитан брюннским естествоиспытателям в 1865-м, оказался неожиданностью даже для друзей. Неожиданностью не потому, что Мендель сделал доклад, ведь, конечно, было известно, что работу по гибридизации гороха он ведет уже многие годы, а из-за того, что было в докладе сказано.

Случайно ли занялся Мендель проблемой гибридизации?… Что это было: еще одно «hobby» дилетанта, развлечение типа собирания марок, или подлинное целенаправленное познание, путь которого заранее прочерчен на годы вперед, как курс корабля на штурманской карте? Случайным ли был объект его эксперимента — садовый горох, из-за которого посмертные недруги назвали открытые им законы «гороховыми»?

Пусть на это ответит сам Грегор Мендель.

Начав разбираться в документах тех лет, мы сказали, что располагаем «немногим» и «очень многим». Все предшествующее — из первого разряда. А вот главное свидетельство — его собственный рассказ о том, что он сделал.

Увы, это не дневник, где, кроме фактов, могли быть еще и эмоции. Это текст доклада. И тем не менее не разочаровывайтесь. Два генетика — англичанин Р. Фишер в 1936-м и ученый из ФРГ Ф. Вайлинг в 1966-м по этому тексту восстановили ход событий тех далеких лет календарно — этап за этапом.

Почему один в 1936-м, а другой через тридцать лет? Вайлинг поправлял Фишера в одном важном пункте. А чтобы поправлять, надо было все делать заново.

Итак, первая страница «Versuche fiber Pflanzen-Hybri-den» — «Опытов над растительными гибридами», главного, и очень специального, и весьма краткого его труда:

«Поводом для постановки опытов, которым посвящена настоящая статья, послужило искусственное скрещивание декоративных растений, производившееся с целью получения новых, различающихся по окраске форм. Для постановки дальнейших опытов с целью проследить развитие помесей в их потомстве дала толчок бросающаяся в глаза закономерность, с которой гибридные формы постоянно возвращались к своим Родоначальным формам» [51].

Вспомним раннее его письмо о жучке «Bruchus pisi» — о зерноедке. Заметим, как отличается стиль доклада от стиля письма.

Формулировки жестки. В тексте нет лишнего слова. Каждая мысль выпестована.

Это зрелость.

Он приносит дань уважения предшественникам — Кельрейтеру, Гертнеру, Герберту, Лекоку, Вихуре «и др.», — прежде него изучавшим закономерности изменений, происходящих при гибридизации растений и животных. На литературный обзор и реверансы затрачено аж пять строк. Высшая похвала, которой он наделяет своих предшественников, действительно серьезный титул — «точные наблюдатели».

Затем определение задачи.

«Окончательного решения затронутого вопроса можно достигнуть лишь при наличии детальных исследований, — эти слова Мендель пишет в разрядку, — над растениями из самых различных семейств. Между тем стоит просмотреть работы, посвященные вопросу скрещивания, чтобы убедиться в отсутствии опытов, захватывающих вопрос настолько широко, чтобы можно было с точностью определить число новых форм, получаемых от скрещивания в потомстве, распределить их по отдельным поколениям и установить их взаимное числовое отношение [52]…»

Итак, «зауряд-учитель» Мендель решил добраться до «числовых отношений». Вам за сорок, Грегор-Иоганн! Вы не мальчик, вы читали немало биологических книг и учились у серьезных экспериментаторов. Многие ли из них в ваше время признают возможным учесть биологические явления количественно?… Что вы скажете дальше?

«…Конечно, чтобы принять на себя такую обширную работу, требуется известная решимость [53], и, как кажется, только такая детальная постановка опытов представляет единственно правильный путь для решения вопроса, имеющего большое

значение при выяснении истории развития органических форм».

Не стоит ли быть осмотрительней, патер Грегор! Не слишком ли большую смелость вы проявляете?… Отбросим бесплодный вопрос о духовном сане и совместимости с ним языка нечестивых материалистов, которым написан ваш труд. В нем есть то, что способно смутить и материалистов. Вы прямо говорите, что разрешили вопрос, крайне важный для понимания механизма эволюции! Не стоило ли проявить большую скромность и — пусть даже столь обтекаемо, — но не подчеркивать все-таки: «…чтобы принять на себя такую обширную работу, требуется известная решимость…» и еще — «…как кажется, только такая детальная постановка… единственно правильный путь»?…

То, что вы завершили вступление к статье обычным реверансом в сторону «благосклонной критики» [54], никого не обманет. В ваших строках уверенность, что вы постигли неведомое.

Ничто в этой работе не было случайным.

И хоть он пробормотал в «Опытах» насчет простого разведения декоративных цветочков, которым занимался прежде, чем приняться за дело, которое, как мы убедились, сам считал настоящим, генезис идеи, видимо, был другим.

Вспомним рассказ очевидца, как в том же крохотном садике Мендель в течение многих лет тщетно пытался заставить расти пшеницы [55], непривычные к моравскому климату, и дикорастущие растения, выкопанные на экскурсиях по Брненской округе, привычные к иной почве, к иному соседству. Как тщательно ухаживал за своими подопечными, стараясь помочь беднягам приспособиться вырасти на чужбине и дать потомство. И как убедился в бесплодности этих упражнений: урок, увы, не всем биологам следующих поколений пошедший на пользу.

Заглянем в его библиотеку, перелистаем книги, испещренные пометками. Здесь Кельрейтер, здесь Гертнер и Дарвин — все из его сочинений, что издавались в те годы. «Происхождение видов» — даже в двух экземплярах. На последнем листе менделевский карандаш обозначил номера страниц, на которых написано самое важное.

Он очень серьезно штудировал эту книгу.

«Происхождение», изданное на английском в 1859-м, а на немецком — в 1863-м, поразило умы его поколения. Им восхищались Маркс и Энгельс. Его пропагандировал в России Писарев. Его поносили клерикалы. А здесь, в Брюнне, коллеги по Ферейну естествоиспытателей — и Маковский, и Ниссль, и Наве, и Завадский, изгнанный из Львовского университета в Брюннскую

реальную школу, — все бредили Дарвином.

Но супплент Мендель от восторга не трясся — это запомнили. Однако он и не брызгал слюной от злобы, как многие его другие коллеги по Службе Спасения душ (ах, как этого хотелось биографу Рихтеру!). Он читал Дарвина с карандашом, раз и другой. Обсуждал с деловитым холодком то одну, то другую позицию и, наконец, подвел еретический итог:

— Это еще не все, еще чего-то не хватает!…

И Ниссль, математик и ботаник, чьи схемы чуть ли не по сей день перепечатывались в вузовских учебниках, был его репликой ошарашен.

Но сам Дарвин не удивился бы этой реплике: он знал, каких звеньев недоставало в цепи его великой теории.

Проблема наследственности была главной из неразработанных, и в 1867-м инженер Дженкин обрушил на эту «ахиллесову пяту» дарвинизма град язвительных стрел. Он обвинил Дарвина, что естественному отбору приписаны действия, которых отбор совершить не может.

По Дарвину, вид изменяется, когда у его представителей накопится достаточное количество мелких, случайных изменений, передаваемых по наследству потомству. По мере накопления таких изменений естественный отбор вершит свой суд над существами, менее приспособленными к условиям среды и потому обреченными на вымирание и более приспособленными, — этим суждено, уцелев в борьбе за существование, положить начало новым видам и разновидностям.

Но в жизни — так рассуждал Дженкин — мелкие наследственные изменения возникают не у всех представителей вида, а лишь у некоторых. И эти изменения, утверждал он, не могут накапливаться, ибо каждое скрещивание неминуемо ведет к разбавлению измененной наследственности одного родителя неизмененной наследственностью другого.

А раз так, то должное накопление изменений нереально. И следовательно, вся теория естественного отбора неверна.

То была крайне серьезная атака.

И тогда, в 1867-м, Дарвин не нашел аргументов для отпора своему оппоненту. «Кошмар Дженкина» — так были названы эти события — испортил ему немало крови. Дарвин словно забыл о проделанных сто лет назад широко известных опытах Иозефа Готлиба Кельрейтера — тех опытах по скрещиванию китайской и махровой гвоздик и разных сортов табака, в которых оный профессор «Санкт-Петербургской десиянс академии» доказал существование пола у растений.

При скрещивании — перекрестном опылении — гвоздик двух

разных сортов в первом поколении потомство весьма отчетливо приобретало признаки махрового родителя, педантично регистрировал Кельрейтер. Но у части растений второго поколения, полученного уже от самоопылившихся гибридов, выявлялись признаки другого исходного сорта — китайской гвоздики. Это показывает, что признаки исходных сортов не исчезают в потомстве. Они лишь по неким причинам то не проявляются, то проявляются, словно бы конкурируя друг с другом.

Следовательно, делал Кельрейтер вывод, и пыльца и яйцеклетки растений — суть равноправные носители наследственных свойств, подобно женским яйцеклеткам и мужскому семени животных…

Исходя из этих фактов, Кельрейтер даже взялся «превратить» путем скрещивания один вид табака в другой.

Он получил сначала гибридную форму табака, а далее — пять лет подряд — сначала эту гибридную форму, потом ее потомство опылял пыльцой растений отцовского вида, чьи признаки были склонны преобладать еще в первом поколении. В результате пятилетней работы Кельрейтер вывел группу растений, у которых не было заметно никаких признаков материнской линии.

«Это и есть то превращение Nicot. rustica, начатое в 1761 году в С.-Петербурге», — гордо писал Кельрейтер и принялся убеждать далее читателя, что он достиг на растениях того, чего не смогли выполнить на металлах алхимики.

Он был сыном своего времени, Кельрейтер, но как бы ни толковал он эти опыты — он столь многое зарегистрировал в своих многолетних кропотливых дотошных поисках, начатых в Санкт-Петербурге и продолженных на родине, в Германии, что понадобилось столетие, дабы разобраться в поднятых им вопросах.

Вслед за Кельрейтером преобладание признаков одного из родителей в первом поколении гибридов многих растений и выявление признаков другого родителя во втором и последующих поколениях регистрировали англичане Найт и Госс, Французы Сажре и Ноден. «Форма дыни доминировала», — писал Сажре; «то доминирует отцовское влияние, то материнское», — вторил Ноден, впрочем, не придавая этим фактам ни универсального значения — благо «доминирование» признаков выявляется не всегда, ни значения достаточно важного, чтобы увидеть в нем проявление неких скрытых всеобщих процессов.

Словом, о том, как ученый мир подходил к осознанию явлений наследственности, можно написать целую книжку, даже

не одну. (Кстати, на русском языке такая книжка — весьма полезная — уже написана А. Е. Гайсиновичем.).

Дарвину все это тоже было известно. В его «Очерке 1844 года» говорится:

«Если скрещивать между собой две резко выраженные расы, потомство в первом поколении более или менее следует кому-либо из родителей…»

Но далее следует такое продолжение:

«…или занимает совершенно промежуточное место между ними (в эту строку и будет нацелен удар Дженкина!), или изредка [56] принимает признаки до некоторой степени новые».

…Биология первой половины века еще не разобралась, из чего складывается «следование» одному из родителей или впечатление о «промежуточности» формы. Еще не проведена грань между всеобщим (для данного вида, расы, линии) и индивидуальным. И между наследуемым и ненаследуемым рубеж тоже не обозначен.

Гёте уже произнес: «Следует различать и лишь затем связывать». Этот совет направлен и биологам тоже. Но биологи пока что подавлены мозаичной сложностью наблюдаемой картины. Понятие «unit of quality» — «единичная особенность», «единица свойства», осторожно предложенное в 20-х годах Найтом, еще не укоренилось, его границы не очерчены (и не мудрено — лишь в 1945 году, век спустя, появится, наконец, точная формула «один ген — один фермент»),

И тем не менее точный ответ на вопросы, которые поставлены Дженкином, оказывается, уже дан. Его дал Мендель, человек, труд которого Дарвину был неизвестен. Тот ответ был дан им еще за два года до того, как «кошмар Дженкина» разразился. Он был аргументирован с тщательностью, поистине феноменальной, а опыты, из которых ответ проистекал, были подготовлены как победоносное сражение.

«Каждый опыт приобретает цену и значение, — писал Грегор Мендель, — только при использовании пригодных вспомогательных средств и при целесообразном их применении».

Пригодное вспомогательное средство им избрано — садовый горох, «Pisum sativum» — однодомное растение, самопроизвольно почти не дающее помесей, потому что его тычинки спрятаны в глубокой лодочке цветка, которая сама обычно не раскрывается, и потому созревшая пыльца прорастает только сквозь собственный

пестик, оплодотворяет только собственные яйцеклетки.

Мендель прежде уже работал с горохом — изучал цикл развития зерноедки. Более того, жуки могли дать в его руки тонкую, как паутина, ниточку — такую, что другой, быть может, не обратил бы внимания. И быть может, именно за нее ухватившись, он пядь за пядью выволок на божий свет свое великое открытие. Он был достаточно зорок, чтобы увидеть сквозь свои очки эту ниточку.

…На горохе легко ставить четкий гибридизационный опыт по классической Кельрейтеровой методе. Нужно лишь вскрыть пинцетом крупный, хоть еще и не дозревший цветок и, оборвав пыльники, превратить гермафродита в непорочную девственницу, которая будет терпеливо дожидаться предопределенного ей экспериментатором мужского семени.

А поскольку самоопыление исключено, сорта гороха представляют собою, как правило, «чистые линии» с неизменяющимися от поколения к поколению константными признаками, которые очерчены крайне четко.

И Мендель прозорливо выделил «элементы», определявшие межсортовые различия: окраску кожуры зрелых зерен и — отдельно — зерен незрелых, форму зрелых горошин, цвет «белка» (эндоспермы), длину оси стебля, расположение и окраску бутонов.

Тридцать с лишним сортов использовал он в эксперименте, и каждый из сортов предварительно был подвергнут двухлетнему испытанию на «константность», на «постоянство признаков», на «чистоту кровей» — в 1854-м и в 1855-м.

К чему был этот строгий контроль и почему двухлетний, а не трехлетний и не более короткий?

…Позволим себе сделать предположение в этой не терпящей предположений части повествования.

Он занимался жуком «Bruchus pisi» осенью 1853 года. Но не только тогда в письме Коллару, появившемся на страницах «Известий Венского зоолого-ботанического общества», но и здесь, в «Опытах», пишет Мендель об этом «злодее»:

«…Самка этого вида, как известно, откладывает свои яйца в цветы и открывает при этом лодочку; на ножках одного экземпляра, который был пойман в цветке, в лупу можно было ясно различить несколько пыльцевых зерен».

Жуки могут незаметно от человека производить скрещивание… И когда Мендель в 53-м взламывал бобы, которые мы называем стручками, где и в горошинах и рядом с

выеденными, загубленными зернами лежали личинки, то он мог заметить, что горошины обладают разными признаками — различной формой или окраской, хотя сформировались под одной крышей. И кстати, именно окраска горошин избрана им первым тестом для начатых им главных своих экспериментов. Вот какой она могла быть, ариаднина ниточка, ведущая к открытию. Но Мендель ни звуком о ней не обмолвился, и все это только догадка.

А если бы обмолвился?

…Скажи он одно только слово, и сразу в глазах коллег по ферейну и в глазах всех многочисленных потомков тотчас превратил бы весь свой кропотливый труд в результат счастливой случайности, как пресловутое яблоко свалившийся на голову дилетанта от ботаники.

А он все случайное вытравлял до основания из своей работы. И потому начал с испытаний на чистоту сортов, взятых в эксперимент.

Ему из книг Кельрейтера, Сажре, Нодена было уже известно, что в первом поколении случайных гибридов могут господствовать признаки одного из исходных видов. Первое поколение взошло на грядах, а вскрыв созревшие к осени 1854 года бобы, он придирчиво перебрал все до единой горошины. Они были уже вторым поколением, способным выявлять признаки, невидимые ранее.

Он отбросил все сомнительное и повторил опыт, потому что окраска и форма зерен — это далеко не все, что может проявиться.

Только зерна следующего урожая были материалом, бесспорно чистым.

До Менделя никто таких испытаний не производил. И право, введение в план опытов столь трудоемкого компонента говорит, как целеустремленно и настойчиво он исключал заранее элемент случайности в будущих результатах.

Эрудиция, которой он теперь обладал, позволила из тьмы напрашивавшихся вопросов биологии избрать самый главный, самый животрепещущий, а светлая голова — найти метод эксперимента, который был бы ключом к этому вопросу.

Добросовестность заставила растянуть работу на долгие годы.

Восемь лет шли эксперименты с горохом. Сотни раз за восемь цветений своими руками он аккуратно обрывал пыльники и, набрав на пинцет пыльцу с тычинок цветка другого сорта, наносил ее на девственное рыльце пестика. На десять тысяч растений, полученных в итоге скрещиваний и от

самоопылившихся (это было им дозволено) гибридов, было заведено десять тысяч паспортов. Записи в них дотошно аккуратны: когда родительское растение выращено, какие цветы у него были, чьей пыльцой произведено оплодотворение, какие горошины — желтые или зеленые, гладкие или морщинистые — получены, какие цветы — окраска по краям, окраска в центре — распустились, когда получены семена, сколько из них желтых, сколько зеленых, круглых, морщинистых, сколько из них отобрано для посадки, когда они высажены и так далее…

«…Необходимо подвергнуть наблюдению все без исключения растения в каждом отдельном поколении так, чтобы все члены его полностью вошли в круг наблюдения».

«…Задача каждого данного опыта и заключалась именно в том, чтобы подвергнуть наблюдению эти изменения для каждой данной пары расходящихся признаков, соединенных в гибридных формах, и вывести закон, по которому эти признаки переходят из поколения в поколение».

Карточки… Карточки… Карточки… Десять тысяч карточек… Зерна: гладкие, морщинистые, круглые, угловатые, зеленые, желтые… Цветы с красным «язычком» в глубине лодочки и белой каймой… Цветы ярко-красные. Белые. Розовые…

Семь признаков — семь найтовых «unit of quality» выделил Мендель у садового гороха. Семь признаков — семь пунктов характеристики облика каждого растения. Эксперимент был разбит на множество серий. Готовя опыт, он придирчиво подбирал для каждой серии пары растений с четко различающимися контрастными признаками.

И — главное! — в первых сериях он следил за судьбой не [Вс]ех семи признаков сразу, а каждый раз за судьбой всего одного признака, гениально вычленив элементарное явление из мозаики, из хаоса событий, гениально заставив объект опыта односложно и однозначно отвечать ему только «да» или «нет».

Семь признаков, десять тысяч растений, десять тысяч карточек-паспортов и сотни пакетов с пересчитанными семенами, полученными от его «бастардов» — пакетов, на которых были продублированы паспорта.

Если бы хоть часть аккуратнейших листочков, заполненных каллиграфическим учительским почерком, могла бы попасть сегодня в руки историка науки, перед его глазами развернулась бы картина удивительной работы, и можно было бы уже не реконструировать в уме, а собственными глазами следить, как складывалась система анализа, как, когда и почему в голову

Грегора Менделя пришла мысль заменить описание признаков растений абстрактным кодом «A, B, C, D, E, F, Q» и «a, b, c, d, e, f, g» и когда от наблюдения за судьбой одной пары признаков он перешел к наблюдению за двумя, тремя, четырьмя парами одновременно. А если он записывал и посторонние мысли, то, быть может, еще и о том, какую роль во всем этом сыграла двухвостая комета 1858 года — комета Донати, какие мысли навеяла… Но рабочие архивы Менделя якобы с молчаливого согласия племянника были сунуты в печку, и нам остается только пытаться представлять себе, как на протяжении восьми лет вечер за вечером он перебирал все новые и новые листочки, раскладывая их то так, то эдак в нескончаемом пасьянсе. Как сотни раз регистрировал в мозгу одно и то же непреложно повторяющееся, в общем уже известное, но впервые им учитываемое количественно.

Итак, при скрещивании признаки растений не «сливаются» и не «разбавляются».

У гибридов первого поколения признаки никогда не бывают «принципиально новыми». Каждый из них заимствован у одного из родителей. У потомков растений с красными и растений с белыми цветами — цветы красные. У гибридов Горохов, дававших желтые и зеленые горошины, зерна всегда желтые. Признак одного из родителей господствует; он то ли вытесняет, то ли подавляет соответственный признак другого.

Но в следующем поколении картина обязательно меняется. У части детей растений-гибридов иной облик: у них снова проявляются признаки «вытесненные», исчезнувшие, «отступившие», невидимые у гибридов-родителей — на них распустились уже не красные, а белые «бабушкины» цветы, а в бобах, кроме желтых, очутились зеленые зерна или морщинистые «под одной крышей» с гладкими.

И здесь Мендель отмечает то, что не зарегистрировали его предшественники.

…Признаки, «отступившие» у родителей, комбинируются с «родительскими» мозаично, случайно. Они не зависят один от другого. Окраска цветка унаследовалась от «бабушки», форма зерна — от «дедушки», а окраска зерна может быть снова «бабушкина». Эта «путаница» повторяется с потрясающей закономерностью. И чтобы определить эту закономерность, необходимо отойти, оторваться от конкретности цвета, формы, гладкости и морщинистости и искать язык логической схемы.

…Из всего рабочего архива сохранился лишь один-единственный, да и то пострадавший от чьих-то рук, лист с расчетами. Но известен итог: впервые в биологии для осмысления

ее закономерности Мендель применил математическое кодирование.

Большими A, B, C, D, E, F, G он обозначил «доминантные», господствующие, подавляющие признаки; малыми a, Ь, c, d, e, f, g — «рецессивные», отступающие.

Мы не знаем сейчас, на каком этапе работы он пришел к осознанию целесообразности именно этого способа решения своей задачи. Мы не знаем, как он обрабатывал свои данные поначалу. Но он искал принципы процесса, а принципиальные схемы всегда абстрактны.

Логика физического наблюдения господствовала в работе бывшего помощника ассистента на кафедре Христиана Доплера, и каждый из выводов был сформулирован им с предельной завершенностью. Вот так:

«В этом поколении наряду с доминирующими признаками вновь появляются также рецессивные со всеми их особенностями и притом в ясно выраженном среднем отношении 3: 1».

Каждому из выводов предшествовали тщательные статистические выкладки. К статистике биология его времени тоже была еще не приучена.

Но зато она приучилась к ней позднее. Менделеву статистику изучали чуть ли не под микроскопом, и было отмечено, что данные его наблюдений абсолютно совпадают с логической схемой, с «вероятностным ожиданием». Отклонений удивительно мало! И семьдесят пять лет спустя его последователь, генетик Рональд Фишер высказал подозрение:

— А не обманывали ли Менделя садовники аббатства, которым он, наверное, поручил вести наблюдения? Не округляли ли они чисел, чтобы сделать патеру Грегору приятное?…

Несчастный патер Алиппиус Винкельмайер! Бедный патер Иозеф Линденталь!… На фотографии капитула святого Томаша Линденталь специально снялся рядом с Менделем; он демонстративно рассматривал цветок фуксии, который Мендель столь же демонстративно, дабы подчеркнуть, что он не просто монах, держал перед собою и тоже, словно впервые, изучал сквозь очки.

«Детальная реконструкция его (Менделя. — Б. В.) программы, — писал Фишер, — сталкивается, однако, с противоречиями. Серьезное и почти необъяснимое различие все же проявляется в одной серии результатов, где наблюдаемые цифры точно совпадали в отношении… какое ожидал сам Мендель, но которое значительно отличается от того, что нужно ожидать, если бы его

теория была уже откорректирована, как это было сделано в позднейших исследованиях… Остается возможность того, что Менделя подвел некий ассистент, который знал слишком хорошо, что ожидалось от эксперимента».

Итак, суровый Фишер обвинил — нет, не Менделя, а тихих августинцев Винкельмайера и Линденталя — в фальсификации эксперимента. В 1936 году, когда Фишер произвел ревизию менделевской статистики, об их участии известно не было. Поэтому все возражения поначалу строились на том, что Мендель все эксперименты ставил сам, а его добросовестность — вне сомнений. Затем возникло предположение, что Мендель выпалывал «дефектные» экземпляры растений, которые вели себя «неподобающим образом» — например, если скрещивания у него не получались. Выпалывал с грядок и исключал из подсчетов. Такое объяснение было, например, использовано автором этих строк в повести «Боги Грегора Менделя»:

«Он был истым сыном века — века, в который события текли много медленнее, чем сейчас, и можно было вспомнить, что именно на этом цветке была обнаружена жучиха, а когда он обрывал пыльники с этого, то соскользнул пинцет. А здесь он отвлекся, потому что принесли записку от фрау Ротванг, а здесь и здесь работал рассеянно после того, как был прочитана та записка».

Читатель согласится, что трудно устоять перед соблазном столь простым способом объяснить происшедшее. У этих Доводов был всего один недостаток: аргументам строго научным противопоставлены аргументы не научные, а бытовые, и, как далее оказалось, конечно, неверные. Каково же было автору, когда в его руки попала вышедшая в 1965 году работа английского ученого Гевина де Вира, отстаивавшего те же взгляды, что и Фишер. Так как многие твердили, что садовников не было и, значит, поэтому обвинение беспочвенно, де Вир сообщил, что по полученным им данным Менделю помогали Винкельмайер, Линденталь и, конечно, садовник Мареш. Тут можно было бы приняться возражать, что, мол, помогали они ему в садовых работах, а не в подсчетах, не в статистике, но все это уже выглядело бы совсем не серьезно.

Фишеровская атака на «Опыты» так или иначе гальванизировала легенду об удачливом дилетанте-монахе, которому посчастливилось стать отцом генетики. Именно поэтому генетики и историки науки не раз к ней возвращались, и, наконец, уже в 1966 году в свет вышла работа Вайлинга «Не слишком ли «точным» был Мендель в своих опытах? — Исследование по x^2 -тесту и его значению для оценок

генетических механизмов расщепления».

Вайлинг заново восстановил год за годом всю историю работы Менделя и обратил внимание на замечание самого Менделя о том, что у него всходили не все сеянцы. В одном случае было прямо указано, что из 556 зерен было получено 529 растений, в другом — 639 из 687 и так далее. Зерна могли склевать птицы, их могла повредить зерноедка. Определяя «ожидаемый результат», Фишер не учел этого так называемого «эффекта отбора». Правда, здесь был слегка повинен и сам Мендель. В своих выкладках он не указал всех необходимых поправок. (Что ж, используя новый для своего времени метод анализа, он был вправе и упустить и просто не знать тех тонкостей, которые спустя век стали для его преемников-генетиков привычным делом!)

Не станем пересказывать всех позиций строгого математического переследствия «по делу Менделя — Фишера», к которому в качестве эксперта был привлечен даже электронно вычислительный агрегат. В его итоге было показано, что ре зультаты Менделя достаточно плохи в сравнении с вероятностным ожиданием. Они лишь чуть лучше, чем. У исследователей, которые повторяли его эксперименты полве ка спустя, и потому должны быть признаны абсолютно Достоверными.

Патеры Винкельмайер и Линденталь были реабилитированы.

Но вернемся из двадцатого века в девятнадцатый.

Итак, Мендель вычленил в эксперименте элементарное различие и заставил опыт давать ответ односложный и однозначный. Мендель ввел новые понятия: доминантный признак и рецессивный признак. Он утвердил, что единообразие признаков у первого поколения гибридов — это всеобщий для гибридов закон. Он показал, что далее признаки комбинируются свободно, но расщепление признаков у потомства гибридов происходит всегда в одних и тех же пропорциях. Он рассчитал возможные комбинации для расщепления по двум и трем признакам.

Не сделай Мендель большего, все равно бы оказалось, что он не просто повторил замеченное его предшественниками — от Кельрейтера до Нодена, а дал точную количественную оценку явления и впервые применил для анализа биологических процессов метод вероятностей. Во всяком случае, этим методом до него никто в биологии не пользовался столь широко.

Однако если бы он ограничился лишь постановкой пусть даже такого архичистого эксперимента и еще теми удивительными по кропотливости расчетами, какие произвел, то

Грегор Мендель еще не стал бы Менделем, тем Менделем, чье имя потом оказалось в одном ряду с именами Архимеда, Эвклида, Ньютона, Дарвина, Лобачевского, Эйнштейна.

Но он сделал тот единственный и самый трудный шаг: он понял увиденное. И это был шаг в бессмертие.

«Закон комбинации различающихся признаков, по которому происходит развитие гибридов, находит, следовательно, себе основание и объяснение в доказанном положении, что гибриды образуют в одинаковых количествах зачатковые [57] и пыльцевые клетки, соответствующие всем константным формам, получаемым из комбинирования признаков, соединенных путем оплодотворения».

«…уравновешивание противоборствующих элементов… только преходящее и не распространяется за пределы жизни гибридного растения. Так как во время всего периода вегетации во внешнем виде его нет никаких видимых изменений, то мы должны заключить, что различающимся между собой элементам удается выйти из вынужденного соединения только при развитии половых клеток. При образовании этих клеток все наличные элементы распределяются в совершенно свободных и равномерных группировках и лишь различающиеся элементы при этом взаимно исключают друг друга. Таким путем возможно возникновение стольких зачатковых и пыльцевых клеток, сколько различных комбинаций допускают способные образоваться элементы».

Он был очень сух в формулировках. Он писал строго специальную работу по строго специальному вопросу, рассчитанную на читателя-специалиста.

Он сделал невероятное, невероятное для своего времени. Оптика микроскопа, с которым он работал, была слабой, как оптика всех увеличительных приборов, какими были вооружены в то время биологи. Он исследовал «черный ящик» (этот термин бытовал в физике, а ныне утвердился в кибернетике). Он знал только, какая «информация» была введена в этот «ящик» и что получилось после того, как эта «информация» прошла сквозь целую цепь невидимых глазу процессов.

Он не мог разобрать прибор на детали, разложить на лабораторном столе по отдельности все узлы удивительной машины, спрятанной в клеточных ядрах, разложить их так, как раскладывает перед собою сопротивления и триоды электронного устройства современный инженер. И тем не менее он уловил схему конкретного материального процесса, который никем не был понят до него и который начали понимать лишь спустя

десятилетия.

Его работу может развернуть теперь каждый и, продравшись сквозь тяжкий текст, убедиться в том, что канонику Менделю, исследовавшему сложнейшие процессы жизни, ни на секунду не приходило в голову искать их объяснение в божьей воле или в жизненной силе.

Ему, как и любому из членов августинского капитула монастыря святого Томаша, в порядке некоей живой очереди полагалось служить мессы. И он служил их, приглашая в министранты мальчишек, которым в реальной школе преподавал экспериментальную физику и естественную историю. Но, сняв облачение и положив на отведенное место требник, каноник превращался в биолога, и здесь ему было не до бога и не до молитв.

Объяснение увиденным в эксперименте процессам Мендель искал в материи, в реальном, живом субстрате.

Итак, признак одного родителя господствовал у всех растений-гибридов первого поколения. У части же их потомства выявился отступивший признак другого — у четвертой части! Такое же расщепление сызнова произошло и год спустя — в следующем поколении.

Информация была точно учтена количественно.

«Кибернетик» Мендель принялся расшифровывать процесс, происходящий в «черном ящике».

…Если ранее «исчезнувший» — рецессивный — признак Может у кого-то из потомков гибрида появиться вновь, затем вновь исчезнуть при скрещивании и спустя поколения выявиться опять, значит родители передают своим детям не признаки, а нечто другое — то, что признаки обусловливает.

Это «другое» может реализоваться немедленно, а может, не реализуясь до какой-то поры, передаваться от поколения к поколению, ничем себя не проявляя. «Оно» не исчезает и не возникает вновь, как не исчезает втуне и не возникает «из ничего» материя.

И, поняв это, Мендель вводит в биологию, в представления о наследственности новое слово, новое понятие — «Anlagen» — «задатки», наследственные задатки — носители информации о признаках. Информации, вступающей в скрытый от глаза исследователя процесс и в нем перерабатывающейся.

Из этого понятия «Anlagen» и родится генетика.

…Каждому признаку соответствует материальный субстрат, «наследственный задаток», содержащийся в половой клетке. Таков ход его мысли, если попробовать изложить ее чуть более популярно. Каждая половая клетка несет в себе полный набор

задатков по числу признаков будущего растения. При оплодотворении яйца, при слиянии мужской и женской клеток в зиготу в ней окажется по паре задатков каждого признака.

Когда развившееся из этого оплодотворенного яйца новое существо произведет половые клетки, пары задатков разойдутся, и в гамете — яйцеклетке или сперматозоиде — набор будет одинарным. Наследственное вещество дискретно, поэтому комбинации признаков варьируют по законам математических перестановок. При образовании новых яиц образуются новые сочетания пар, а у будущих растений — новые комбинации признаков.

Эти комбинации, эти математически вероятные варианты были предсказаны им в расчетах и взращены в крохотном — 35х7 метров — палисаднике под окнами монастырской трапезной.

Оптика микроскопа, с которым тогда работал Мендель, мало что помогла рассмотреть в «ящике». Методика окраски клеток, которой обучал его Унгер, была еще куда как несовершенна. Ни Менделю, ни его учителю-цитологу Унгеру и никому из биологов в начале 60-х годов XIX века не было еще ведомо, что в клеточных ядрах накануне деления клетки выявляются хромосомы, то есть «окрашивающиеся тельца», что они удваиваются в числе, а удвоившись, расходятся к полюсам клетки и образуют два ядра двух будущих новых клеток. И тогда никто не знал, что половые клетки, клетки пыльцы растений, яйцеклетки сперматозоидов животных проходят особый путь формирования, при котором хромосомы не удваиваются, а лишь расходятся к разным полюсам клетки-предшественницы, и в каждой из двух половых клеток, из нее образованных, оказывается половинное, а точней — одинарное число хромосом. Лишь при их слиянии, при оплодотворении яйца набор сызнова становится полным, точнее — парным. Эти процессы были замечены только в конце 70-х годов, а изучены в деталях и того позднее…

И конечно, еще никем ни разу не было произнесено слово «ген», которым обозначают единицу наследственного вещества, ответственную за элементарное различие, и никто еще не отождествлял понятие «наследственное вещество» со словосокращением «ДНК», обозначающим удивительное вещество хромосом, дезоксирибонуклеиновую кислоту, в которой сочетаниями азотистых оснований записаны формулы белковых молекул и порядок их синтеза. Это будет изучено и понято уже столетие спустя. Даже само существование нуклеиновых кислот будет открыто лишь через несколько лет после написания «Опытов».

…Мендель не произнес слово «ген», он сказал:

«наследственный задаток». Разница была лишь в терминах.

В «Опытах» была прослежена и понята схема передачи признаков по наследству. И Мендель, соблюдая научную традицию, на протяжении почти всех сорока семи страниц своего доклада говорил только об объекте своего эксперимента — только о горохе. Но ему уже было ясно, что открытые законы охватывают процессы наследственной передачи у всего живого.

«…только опыт может решить, вполне ли сходно ведут себя изменчивые гибриды других видов растений; однако следует предполагать, что в основных моментах не может быть принципиального различия, так как единство плана развития органической жизни стоит вне сомнения».

Всем, кто общался с Менделем в те восемь лет, его жизнь казалась удивительно прозаичной. Он давал уроки по утрам в реальной школе, ходил с учениками на экскурсии по окрестностям, раз в месяц заседал в Обществе естествоиспытателей, трижды выступил в этом обществе с докладами… о метеорологических наблюдениях.

Он командовал монастырской кухней, служил, когда приходила очередь, мессы, совершил полагавшееся функционеру Службы Спасения паломничество в Мариацелль, совершил вместе с прочими брюннскими состоятельными господами туристский вояж в Париж и Лондон на промышленную выставку, рассказал о впечатлениях, а до оных событий и после них работал в своем палисадничке, учил Линденталя секретам гибридологии и корпел в своей келье за письменным столом.

Восемь лет он держал себя в железной узде, ни единым намеком не выдавая никому, что его волнует, что его заботит. В этом можно увидеть элемент честолюбия, какое проявляется иногда у людей, не слышавших прежде слова желанного признания. Что ему сан каноника, аттестат «primum inter eminentium» теологической школы, звание доктора философии, к которому нужно было лишь протянуть руку! Он мечтал о другой славе и, видимо, хотел огорошить коллег по Брюннскому обществу естествоиспытателей сюрпризом, выложив на стол труд, который он сам считал неординарным.

Кажется, Наполеон говорил, что ум полководца должен быть равен его воле.

Воля Менделя поразительна.

О том, чем конкретно он занимался эти восемь лет, даже друзья узнали, лишь когда он сам пришел к убеждению, что все до последнего доказательства собраны, а все объяснения

отточены.

Он решил огласить свой труд коллегам по Брюннскому обществу естествоиспытателей, и в этом тоже был расчет: во-первых, то были люди, хорошо его знавшие, и доброжелательно к нему относившиеся, и в принципе убежденные в том, что он достаточно эрудирован и достаточно серьезен в подходе к делу и вряд ли будет занимать их внимание чем-либо сомнительным. Ведь уже три года он обсуждал с ними разные проблемы — проблемы метеорологии, о которых докладывал сам, находки местных минералов и новые виды растений, обнаруженные в Брюннской округе, дарвиновские труды, вызвавшие в ту пору во всей Европе взрыв интереса к биологии.

И сам он относился к ним с большим уважением: то были высокообразованные естествоиспытатели, знавшие толк в эксперименте, умевшие оценить интересную мысль. Завадский в 1853-м все-таки удостоился кары за проявленное свободомыслие, а имена геолога Маковского и Ниссля дошли до наших дней вне связи с именем их коллеги — супплента.

Видимо, Мендель считал, что если его доклад будет понят в Брюнне, то теории, родившейся у него, удастся проложить себе путь и дальше. Так пусть же коллеги по обществу узнают первыми об одержанной им победе!

Сначала они, потом весь мир.

XI. «БРЮНН, 8 ФЕВРАЛЯ». «БРЮНН, 8 МАРТА»

Чем больше габсбургскую монархию трясло от волнений и восстаний то в польских владениях, то в итальянских вассальных королевствах, тем старательней монархия стремилась выглядеть процветающей, и потому всякая демонстрация развития наук и распространения просвещения считалась благим делом.

В один прекрасный день опальный эмеритальный профессор Лембергского университета Александр Завадский произнес перед коллегами, перед учениками-реалистами, их родителями и департаментскими чинами длившуюся более часа лекцию «О требованиях, предъявляемых к естественнонаучным исследованиям в настоящее время». Немного спустя в соответствующей канцелярии было сочтено целесообразным дозволить отпечатать означенную лекцию типографским способом и выпустить ее в свет, дабы благонамеренные мысли ее распространялись сколь можно шире. Именно поэтому автор имеет возможность привести некоторые выдержки из лекции, а читатель — возможность убедиться, что краснобайство вокруг науки в XIX веке уже практиковалось изрядно. Ботаник Завадский умел препарировать, описывать и классифицировать растения, но не об этом он говорил. Его идеи более общего плана выглядели так:

«…Мир столь великий, заполненный мириадами живых существ, — Небо, Земля, Море, населенные бесчисленными созданиями, пробудили, благоприятствуемые судоходством, умножить знаемое число форм животного и растительного мира, а пытливый Дух, приводя в порядок, сортируя и объединяя, нашел здесь в большей, чем где-либо, степени пищу для себя. Там же, где разум настаивал на застывших догмах, и там, где природные тела проявлялись не только внешне расщепленными, но и разделенными внутренне, — там под препарирующими Руками Дух Природы бежал, а сердце исследователя иссушалось. Лишь того назовем мы Мастером, кто стремится Разгадать Законы Природы, обладая ясностью ума и теплотой чувства…

…В известной степени природа во всех своих частях живая; чувственное и вещественное взаимосвязаны в Природе, которую следует прочувствовать, а не сконструировать в уме. Рационалист рассматривает явление для себя и познает его абсолютную

сущность; зависимость же одухотворения свыше находит лишь кроткий жрец Природы, и лишь ему наука обязана тем расширением Знания, которое она черпает из так называемой натурфилософии…»

Общие фразы подобны омуту, который затягивает все глубже и глубже и слушающих и произносящих эти общие фразы. Речь Завадского была в известной степени «тронной», ибо он оказался самым маститым из ученых людей Оберреальшуле и всего Брюнна. Многочисленные печатные труды и высокие степени автоматически делали его местным научным вождем.

Однако к тому времени, как благовоспитанное внимание слушателей стало сдавать, профессор все-таки, хоть и с трудом, добрался и до основного вопроса лекции, на котором он, правда, не стал задерживаться слишком.

«…Но что же мы должны сказать о насущных принципах, которые в настоящее время лишь одни могут обеспечить науке ее ценность? Ведь сельское хозяйство, горное дело, промышленность и торговля, ведь медицина и другие науки будут как бранящиеся бабы стоять вокруг естествознания, злобно шипя: «Дай нам только то, что нам нужно!…»

Здесь Завадский принялся бегло перечислять проблемы минералогии, ботаники и зоологии, еще не тронутые, не освоенные, он говорил о тайнах, которые раскрывают микроскоп и эксперимент, но беда заключалась в том, что сам он всю жизнь занимался описательной ботаникой. Ни «Chrisanthemum Zawadzkii», найденная Гербихом, ни «Herbichia abrotanifolia», открытая Завадским, не ложились в прикладные задачи, и потому, резким движением оправив бакенбарды, лектор был вынужден сделать новый пассаж, оправдывающий и его жизнь в науке:

«…Конечной целью человечества является: «осветить природу искрой духа, который дает нам жизнь», укрепить дух и объяснить с помощью тысяч голосов, которыми природа обращается к нам с помощью тысяч молниеподобных вспышек явлений, ею излучаемых, как Божественное озарение… Короче: «Учитесь зорко смотреть, точно мыслить, тепло и искренне чувствовать!»

Однако же нельзя было не упомянуть в такой лекции и перед такой аудиторией о достижениях науки последних лет. Профессор, конечно, отдал им должное и сделал это с достаточной быстротой, дабы большая часть слушателей не

успела заметить, что речь идет о делах, не слишком хорошо им знакомых.

«…Кто может изложить, как происходит процесс развития ростка, чем определяется форма семени, кто может определить закономерность в расположении чешуек на елочной шишке, кто может познать законы превращения растений, если он не проникся учениями, внесенными в последнее время в физиологию растений Робертом Броуном, Шлейденом, Унгером и многими прочими!… Мы не сможем увидеть в яблоке цветочную завязь, в землянике — цветоложе, отделяющееся от ножки цветка, и того, как финик рождается из опавшего цветка, если мы не усвоим учения о листе и его превращениях, познанию которых мы обязаны пристальному наблюдению и ясной способности к восприятию. Наш долг познать Природу. Это и долг ученого увеличить знания человечества, это и долг учащегося воспринять дух учения и благодаря этому обогатить себя…»

Речь была завершена лирическим, тщательно отполированным эпилогом:

«…Бди! Когда погожим утром ты вступаешь в долину, где играл, будучи ребенком, где старая буковая роща бросает привычные тени, где зеленая трава манит к покою, и ты как будто снова с любимыми воспоминаниями твоего детства, когда все, на чем останавливается твой сияющий взор, дышит юношеской свежестью, жизнь бьет тысячью ключей и ничто не умирает, не погибает: что же это такое, что так тронуло тебя, что заставило твое сердце биться чаще и взволнованнее?…»

Естественно, тотчас последовали аплодисменты и выражения восторга, кои высказывались оратору коллегами и родителями. Равно последовали и скептические замечания насчет часовой болтовни, в которой Завадский ухитрился самым ласковым образом примирять чистую науку, практику и религию и не задеть ни консерваторов, ни радикалов, ни клерикалов, ни материалистов. Эти замечания коллеги помоложе, дабы не испортить старому изгнаннику триумфа, конечно, высказали не ему, а друг другу.

Что касается учеников, то они ухитрялись и во время речи перекидываться шариками из жеваной бумаги.

Однако на это событие стоит посмотреть и с другой стороны. Завадский не мог читать в актовом зале школы лекцию более конкретную — о реальных требованиях к научным исследованиям

— в них он, как человек конкретной науки, все-таки не столь уж плохо разбирался. Учащихся, родителей и представителей соответствующих канцелярий вряд ли заинтересовала бы такая материя: первые еще недозрели, а для большей части остальных все это было чуждым. Что же касается коллег, то специальные вопросы можно было обсудить с ними накоротке.

И конечно же, их обсуждали. А в городе было достаточное число людей — педагоги, врачи, аптекари, инженеры, фабриканты, владельцы пригородных пасек, виноградников, садов, — которые интересовались всерьез наукой — кто из любви к познанию, а кто пусть даже из практической корысти, дабы с помощью науки извлечь прямую прибыль. И естественно, что Высшая реальная школа и Технологический институт стали в городе своего рода магнитом, таких людей притягивающим. Им нужна была профессиональная научная среда, нужна была аудитория, в которой можно было бы выговориться и наслушаться, проверить себя или быть хотя бы опровергнутым.

Нужна была трибуна, чтобы с нее можно было возвещать о себе миру, ибо нет исследователя — даже среди заведомо бездарных, — который считал бы итоги трудов своих недостаточными для всеобщего внимания.

Поэтому можно усмотреть связь между публичной лекцией о задачах благонамеренной науки, прочитанной для широкой аудитории, и состоявшимся, хотя и спустя изрядное время, преобразованием одной из секций давно уже существовавшего Моравского земледельческого общества в самостоятельный Ферейн естествоиспытателей в Брюнне, которому власти даже дозволили издавать ежегодно сборник трудов.

Именно профессор Александр Завадский считался основателем ферейна. Сразу при основании он был избран его вице-президентом. А президентом избрали графа фон Митровского. Он, правда, и на заседаниях-то бывал только по особым случаям. Но если бы в президенты избрали не чиновную титулованную особу, а какого-нибудь ученого, это ведь не придало бы научному обществу солидности.

Примечательно, что ферейн был создан именно в 1862 году — в том году в Лондоне открылась Всемирная промышленная выставка, и габсбургское правительство крайне заботилось о том, чтобы Австрийская империя выглядела на ней процветающей и просвещенной.

К всемирной выставке готовились многие месяцы. Все отобранное для экспозиции свезли сначала в Вену на выставку имперскую. Брюннское просвещение было представлено в Вене, а затем и в Лондоне наглядными пособиями — проекционными

моделями по начертательной геометрии и кристаллографическими таблицами, изготовленными учителями и учениками Оберреальшуле. В 30-х годах Освальд Рихтер упорно пытался найти доказательства участия Менделя именно в изготовлении экспонатов, но, увы, не нашел их. Независимо от этого Мендель, как уже упоминалось, совершил туристскую поездку в Париж и в Лондон и не преминул сфотографироваться в Париже у подъезда отеля в большой группе брюннских экскурсантов.

Надо заметить, что на этой фотографии облик патера Грегора совершенно не соответствует его сану — он в цивильном костюме, и не в том полуцивильном черном мундире Службы Спасения, который обычно носил, а в светлом летнем сюртуке и при галстуке-«бабочке». И на щеках у него маленькие бакенбарды. И все это прямое нарушение орденского устава и тяжкий грех. Только иезуитам, да и то лишь по специальным разрешениям старших в ордене устав в особых случаях дозволял носить мирское платье. А он был августинцем, а не иезуитом. В его ордене этого совсем не разрешалось.

Но в 1862 году экспериментальная часть главной его работы была в основном закончена, и он сформулировал уже для себя основную часть своей концепции. Он уже понимал, к чему пришел. Уже ощутил собственную ценность и истинное свое место в жизни. И потому хоть какое-то время, хоть две этих недели путешествия ему надо было дать себе ощущение свободы во всем. Даже в одежде.

Интересно, молился ли он там, в парижском «Гранд-отеле», соблюдая каноны изустных и мысленных молебствий, которые усвоил в год новициата?

Позднее нам придется еще раз вернуться к этому путешествию.

…Итак, наука и просвещение «долженствуют» демонстрировать процветание империи. И поэтому одна из брюннских газет, «Нейхкайтен» («Новости»), принимается регулярно публиковать отчеты о заседаниях Ферейна естествоиспытателей. Верстка тогдашних австрийских газет незатейлива. На страницах не видно широковещательных шапок. Заголовки набирались почти таким же шрифтом, как и текст статей и корреспонденций — чуть крупнее, чуть пожирнее. В этом тоже есть свой смысл: если вас интересует в прессе только что-то определенное, вам все равно приходится просмотреть столбец за столбцом всю газету, и хотите этого или нет, но узнаете все, что газета вам приготовила: и о дебатах в ландтаге, и о делах ужасного Гарибальди — этого вожака итальянцев, осмелившегося

восстать против имперской власти, и о том, какие коммерсанты приехали в Брюнн и где остановились, и о том, кого принял кайзер, — обо всем!

В Брюнне выходили три немецкие газеты: совсем официальная «Брюннер цайтунг», несколько менее официальный «Ежедневный Моравско-Силезский курьер» и вот эти самые «Новости» — «Нейхкайтен». Комплекты двух первых были проработаны еще Ильтисом, и каждая строка, имевшая отношение к Менделю, была взята на специальный учет. Однако в тех газетах никаких упоминаний о его труде не было… А вот за комплект «Нейхкайтен» 1865 года биографы Менделя догадались взяться совсем недавно, и неожиданно в ее номерах были обнаружены драгоценные сообщения, которые позволили нам увидеть сейчас, век спустя, как были восприняты два последовавших одно за другим весьма важных события в тогдашней научной жизни моравской столицы.

Кто были авторы корреспонденции в «Нейхкайтен», к сожалению, неизвестно, ибо газетные заметки и статьи тогда подписывать принято не было.

Итак, «Нейхкайтен» от 15 января 1865 года.

«Деятельность Ферейна естествоиспытателей.

Брюнн, 12 января. На вчерашнем заседании Ферейна, проходившем под председательством графа фон Митровского, после обычного сообщения секретаря д-ра Калмуса о весьма многочисленных печатных трудах и натуральных препаратах, полученных обществом в дар, профессор Маковский начал читать изложенный в ясной и последовательной манере доклад о теории Чарлза Дарвина касательно развития органической жизни.

Основой его лекции, которая была выслушана с напряженным интересом, послужила работа, опубликованная упомянутым англичанином в ноябре 1859 года и быстро переведенная на языки всех культурных наций, каковая направлена противу доныне всеми признаваемого принципа «Omne vivum ex ovo» («все живое — из яйца»).

Дарвинова теория опирается прежде всего на следующие утверждения: на низшем уровне Животного и Растительного Царств мы находим организмы, которые обнаруживают свою животную или растительную природу лишь при пристальном рассмотрении стадий их развития. Размножаются оные делением.

Особи же, таким путем сформировавшиеся, постепенно — по мере возрастания числа делений — меняют свою конституцию и переходят к другому способу воспроизведения. Это так называемое спорообразование, при оном особь дробится на

множество маленьких гранул, или же спор, кои развиваются в новые организмы. После множества поколений спорообразующие особи постепенно трансформируются в организмы, производящие спермин и яйца и, в конце концов, путем постоянного изменения в их признаках и их потомстве кладут начало бесконечным рядам растительных и животных видов, населяющих Землю…»

Не правда ли, как эрудиция, так и стиль неведомого популяризатора науки великолепны? Если бы Дарвину досталось увидеть свое учение в таком варианте, он не прожил бы еще двух десятков лет.

Маковский, конечно, нести такую чушь не мог. Просто репортер, записав в своем блокноте имена особ, о присутствии которых надо было обязательно так или иначе упомянуть, дабы не нажить неприятностей, в течение всего доклада хлопал ушами, а потом в поте лица пытался связать усвоенные им обрывки мыслей так, чтобы была и видимость логики и сенсационность звучания.

«…В заключение своей лекции (коя была принята со всеобщим удовлетворением) профессор Маковский подчеркнул тот факт, что Дарвинова теория, которая, как и всякая другая имеющая обоснования, открывает новое широкое поле для исследований и служит предостережением противу равнодушия, каковое в любой науке ведет к невежеству.

Весьма кстати в этой связи было приведено Гётево изречение: «Задачей научного исследования в будущем должно стать исследование, не для чего быку рога, а как они у него появились».

Однако эти литературные ухищрения не спасли автора заметки. Из-за нее последовал скандал, и дальнейшие сообщения о деятельности ученых светил Брюнна были написаны в «Нейхкайтен» уже другою рукой.

Заседания ферейна собираются регулярно, раз в месяц. Следующее посвящено знакомству с трудом Грегора Менделя.

И его доклад, звучащий много суше и специфичней, чем пересказ Маковским основных положений «Происхождения видов», изложен в газете без прежних ляпсусов. Можно предположить даже, что на этот раз автором корреспонденции был человек, более компетентный в биологии, чем тогдашний рядовой редакционный репортер. Быть может, кто-то из членов ферейна…

«Нейхкайтен» проявляет завидную оперативность. Заседание происходит вечером, а на следующий день — в номере от

9 февраля 1865 года уже напечатано:
«Б р ю н н, 8 февраля.

Заседание Ферейна естествоиспытателей.

На вчерашнем заседании Ферейна, снова привлекшем многочисленную публику, председательствовал вновь избранный вице-президент г-н Теймер.

После сообщения о сделанных Ферейну преподношениях профессор Г. Мендель прочитал продолжительную лекцию, имеющую особый интерес для ботаников, — о растительных гибридах, полученных путем искусственного опыления родственных видов, каковое осуществлялось путем переноса пыльцы с тычинок на пестики.

Он отметил, что плодовитость скрещенных или гибридных растений доказана, но что она не остается неизменной и что гибриды проявляют постоянную склонность возвращаться к родительским формам; оное возвращение может быть также ускорено повторным искусственным опылением пыльцою родительской формы. (Мендель, видимо, подробно рассказал в докладе об опытах Кельрейтера с гибридами табака. — Б. В.) Докладчик подчеркнул далее особое значение опытов, которые он проделывал в течение нескольких лет на многих видах гороха — Pisum sativum, P. saccharatum, P. quadratum, — и он продемонстрировал образцы соответствующих поколений, судя по которым признаки, общие для обоих родственных видов, передавались эквивалентно, а различающиеся признаки вели к созданию совсем новых сочетаний у следующего поколения.

Различия признаков у гибридов гороха проявились в облике растений, в цвете зрелых семян и характере кожуры семян, в расположении цветов, в окраске цветов и даже в оси цветов. Особенно достойны внимания многочисленные сравнения различающихся признаков, проявившихся у гибридов, и их отношение к родительским формам. Восторженный интерес Слушателей показал, что предмет лекции был оценен очень высоко и сама лекция была желанна».

Насчет восторженного интереса автор заметки приврал, но не могла же газета, сообщая читателям о научном событии, рассказывать, что доклад проходил при гробовом молчании зала, оглушенного статистическими выкладками и неожиданной менделевской алгеброй рецессивных и доминантных признаков.

И насчет «многочисленной публики» тоже преувеличено. На доклад Маковского публики действительно явилось больше

обычного. Книга Дарвина была сенсацией, и на доклад Маковского пришло немало далеких от науки, просто любознательных людей. Даже президент общества и тот присутствовал.

Но Менделя слушали только члены ферейна. Их было сорок человек. И ни одного вопроса не было задано, когда Мендель закончил первую часть доклада.

Вторую часть он докладывал на следующем заседании. Ровно через месяц.

«Нейхкайтен» от 10 марта 1865 года.

«Б р ю н н. 8 марта.

Заседание Ферейна естествоиспытателей.

После того как вице-президент г-н Карл Теймер открыл заседание и было сообщено о новых подношениях, полученных Обществом, профессор Г. Мендель прочитал свою вторую лекцию о гибридах. В дополнение к сообщению, которое он сделал на предыдущем заседании Ферейна 8-го числа прошлого месяца, он говорил о производстве зачатковых клеток, об оплодотворении и о формировании клеток семян в целом и, в частности, у гибридов — со ссылкой на опыты, которые он проводил на Pisutn (горохе) столь же кропотливо, как и успешно; оные эксперименты он намерен продолжить наступающим летом…»

И на этот раз изложение ведется толково. С относительной точностью перечислены вехи работы, но главная мысль — об Anlagen, о наследственных задатках, не уловлена.

«…Наконец, он сообщил, что в продолжение прошлых лет он производил также опыты по искусственному опылению многих названных им родственных видов растений с целью получения гибридов; результаты его были столь успешны, что побудили его не только продолжить изучение гибридизации еще более глубоко, но и доложить об этих результатах.

После этой лекции, принятой со всеобщим одобрением, профессор фон Ниссль прибавил, что он также наблюдал при посредстве микроскопа гибридизацию на грибах, мхах и водорослях и что дальнейшие наблюдения в этой области, несомненно, могут не только подкрепить существующие гипотезы, но и снабдить интересными объяснениями».

Полная тишина стояла в маленьком зале Высшей реальной школы на Иоганнесгассе, когда он читал свой доклад. Члены общества были очень воспитанными людьми и старались не нарушать этой тишины даже покашливанием.

Но то была тишина непонимания. Вечером 8 марта 1865 года ни одного вопроса Менделю тоже не было задано.

Он понимал, что рассказывает о сложных, никому еще не ведомых, принципиально новых в науке вещах. Тем детальнее он излагал ход своих рассуждений, тем продуманней отбирал для показа экспонаты своих гибридов, предлагая коллегам повторить пройденный им путь и убедиться в его правоте. Он знал, что

встретит недоверие, но ожидал хотя бы интереса, а вместо него было молчание.

Ниссль бросился на выручку, пытался расшевелить коллег.

Молчание.

И когда все завершилось так неожиданно, и, растерявшись несколько, он стал выспрашивать у коллег и друзей мнение о своей работе, то из осторожных ответов выудил горькое:

«Мне было небезызвестно, что полученный результат нелегко согласовать с нынешним состоянием науки и что в этих условиях опубликование одного изолированного эксперимента вдвойне рискованно как для экспериментатора, так и для вопроса, им защищаемого… Я старался организовать контрольные опыты, для чего изложил на собраниях местного Общества естествоиспытателей опыты с Pisum. Как и следовало ожидать, я столкнулся с весьма разноречивыми мнениями, однако никто не предпринял, насколько мне известно, повторения опытов…», — так он писал об этом год спустя.

Он был и монах и биолог. И знал что к чему. Знал, что вера нужна лишь религии, ибо без веры религия чахнет. Но он, ученик Доплера, Коллара, Унгера, знал еще, что наука живет по другим законам: в науке сначала проверяют точность фактов и стройность выводов, а затем отвергают или принимают.

Он рассчитывал найти поддержку. Он рассчитывал, что его результаты будут подкреплены исследованиями других люден. Но математичность его работы в смятение привела коллег, истинных сынов своего времени. Большинству из них куда ближе были словесные пассажи Львовского профессора и тщательные описания формы тычинок «Herbichia abrotanifolia». Мендель заработал себе добродушное, шутливое прозвище «наш ботанический математик». А иные коллеги между собой говорили, что, кажется, патера Грегора потянуло к мистическим числам Окена и Шеллинга и от этих «наследственных задатков» весьма сильно попахивает «зародышевыми причинами» — «rationes seminales» из сочинений святого Августина — покровителя монастыря, во дворе которого Мендель выращивал свои гибриды.

Как раз накануне, в декабре 1864 года, Пий IX издал знаменитую энциклику «Quanta cura». Как раз накануне оказался разглашенным папский «Sillabus», — меморандум, объявлявший «догматическую войну» всякому проблеску свободной мысли. И потому для известной части австрийских интеллигентов один вид вицмундира Службы Спасения, который носил этот весьма

эрудированный и трудолюбивый монах, — один вид мундира, который открыл Менделю дорогу к науке, сам по себе уже вызывал чувство недоверия.

Каким бы ни был сам Мендель приятным собеседником, как бы свободно ни рассуждал он на самые щекотливые для духовника темы, он был из черного лагеря. И быть может, наиболее радикально настроенные коллеги говорили ему комплименты: «Ваше преподобие, вы совсем не похожи на монаха», но они не забывали, что он все-таки оставался монахом и не видел нужды порывать с орденом, со Службой Спасения душ, с которой сжился, которой был обязан многолетним безбедным существованием. А право, когда монах выводит соотношение «3: 1», да еще и повторяет это «3: 1» в докладе многократно, невольно может возникнуть опасение: «А не пытается ли он под сурдинку сунуть в ботанику нечто о триединой троице?» Коллеги отлично помнили знаменитую реплику Мефистофеля:

Веками ведь, за годом год,
Из тройственности и единства
Творили глупые бесчинства
И городили огород.
А мало ль вычурных систем
Возникло на такой основе?
Глупцы довольствуются тем,
Что видят смысл во всяком слове [58]*'.*

Но все же они были достаточно деликатны, чтоб не оттолкнуть и не обидеть человека, восемь лет положившего на титанический по объему — это было всем им понятно — труд. И Брюннское общество естествоиспытателей решило опубликовать в своих «Трудах» конспект доклада Грегора Менделя.

В конце следующего года том «Трудов» с конспектом доклада «Опыты над растительными гибридами», увенчанным пометкой «Доложено на заседаниях Общества 8 февраля и 8 марта 1865 года», вышел в свет. Этот том попал в 120 библиотек университетов и обществ естествоиспытателей Вены, Праги, Берлина, Мюнхена, Лондона, Парижа, Петербурга, Филадельфии, Нью-Йорка… Кроме того, Мендель заказал типографу сорок отдельных оттисков работы. Несколько оттисков подарил друзьям, а остальные разослал крупным исследователям-ботаникам, тем, кого считал способными разобраться в его работе.

Разослал и стал ждать откликов, ждать признания, ждать хотя бы вопросов.

Ждал неделю, третью, пятую. И слышал одно — молчание.

…Когда вы оказываетесь в обществе физиков и они в вашем присутствии начинают говорить на своем профессиональном языке о вещах, ведомых только им, вам чудится, что вы слышите речь пришельцев с другой планеты.

Речь Менделя звучала для современников именно как речь пришельца с другой планеты.

Он не удосужился рассиропить на многие страницы традиционный обзор всех работ, проделанных прежде него, — работ, которые, видимо, его брюннские коллеги если и знали, то каждый по-своему: ведь читая книгу, каждый из нас сохраняет в своей памяти с должной ясностью лишь то, что ему созвучно. Остальное оказывается в дымке.

Мендель не удосужился и оснастить свой труд привычными для ботанических работ той поры многословными описаниями каждого или хотя бы некоторых из своих гибридов.

Он не удосужился сделать доклад традиционным по форме, а потому и более легко усваиваемым.

Он сразу поволок своих слушателей и читателей к своему «черному ящику», к странным для них рядам алгебраической комбинистики, всем этим «АаВВсС» и «ааВЬСс», из которых вытекала его до наглости дерзкая гипотеза наследственных задатков, то расходящихся, то невидимо сходящихся, дабы родить новое сочетание признаков.

Она действительно была до наглости дерзкой, ибо ни сам Мендель, ни кто другой не видели еще изящного «танца хромосом», а тем более «мейоза» — «редукционного деления» — материального воплощения высчитанного Менделем процесса. И потому ни в Брюнне, ни в Берлине, ни в Вене, ни в Мюнхене не оказалось людей, способных понять его. Даже сто лет спустя, открывая впервые тоненькую, словно популярная брошюра, книжку, где на сорока семи страницах конспективно изложены начала генетики, мы не без труда впитываем в себя особую систему понятий, вводящую в неведомый мир.

Страна, где говорят на этом неведомом «иноземцам» языке, — новая наука, в которой говорят на языке Менделя, — стала складываться лишь 35 лет спустя после опубликования его работы и через шестнадцать после его смерти.

В 117 библиотеках из 120, в которые был разослан том со статьей Менделя, он простоял на полках, тронутый разве одними библиотечными мышами. Лишь три из этих 120 экземпляров были развернуты.

Первым о работе Менделя упомянул «ординариус ботаники» Гофман из Гиссена, автор книги «Исследования определения

видовых закономерностей и их изменений». Ссылаясь на его работу, Гофман подтверждает собственное мнение о том, что «гибриды имеют склонность в последующих поколениях возвращаться к исходным видам», и расписывается в непонимании главного в прочитанном им труде.

Второе упоминание обнаружено в тексте магистерской диссертации молодого петербургского ботаника И.Ф. Шмальгаузена — отца замечательного советского ученого-дарвиниста Ивана Ивановича Шмальгаузена.

Работа Менделя попала в руки молодого магистра в 1874 году, когда его диссертация была уже в печати, и потому свое мнение о ней Шмальгаузену пришлось напечатать уже лишь в сноске на одной из страниц главы, посвященной истории проблемы гибридизации.

Но «сноска» превратилась у И.Ф. Шмальгаузена в подробный реферат «Опытов»:

«С работою Менделя «Опыты над растительными помесями» (в Verhandl. d. naturforschenden Vereines in Briinn. B. IV. 1865) мне случилось познакомиться только после того, как моя работа была отдана в типографию. Я считаю, однако, нужным указать на эту статью потому, что метод автора и способ выражать свои результаты в формулах заслуживают полного внимания и должны быть дальше разработаны (для вполне плодородных помесей). Задача автора: определить с математической точностью число возникающих от гибридного опыления форм и количественное соотношение индивидов этих форм. Он выбирает для скрещивания растительные формы, отличающиеся постоянными и легко отличимыми признаками, которых помеси остаются вполне плодородными в последующих генерациях. Породы гороха вполне удовлетворяют этим требованиям. Для сравнения форм выбираются определенные признаки, которые в этом случае таковы, что в получаемой помеси они не смешиваются, а всегда один признак поглощается у *3/4* индивидов, то есть делается вполне незаметным от преобладания противоположного признака, а *1/4* индивидов помеси по этому признаку переходит к типу другой формы. Последняя группа индивидов в последующей генерации остается постоянною. Первая же разделяется опять на две группы: *1/4* ее остается постоянною, *1/2*, сходная по избранному признаку с первой четвертью, остается гибридной, последняя *1/4* индивидов переходит к противоположному типу. Мендель приходит к заключению, что из семян помеси двух отличающихся признаков половина воспроизводит помесь, другая же половина дает растения, которые остаются постоянными и

наполовину воспроизводят преобладающий, наполовину исчезающий признак. Для потомства же помесей, в которых соединено несколько признаков, он получает сложный ряд, которого члены можно представить себе происходящими от комбинации (умножения) нескольких рядов, из которых каждый состоит из трех членов, получаемых при скрещивании двух противоположных признаков. Равно по наблюдениям Менделя, как и по математическим соображениям всегда получаются, между прочими, тоже постоянные члены с новыми комбинациями признаков. Опыты его и математические соображения во второй части работы (Befruchtungszellen der Hybriden [59]) приводят его к заключениям, в сущности сходным с теоретическими соображениями Нодена (в Nouv. Arch, du Mus. I). Интересны тоже наблюдения Кернике над сортами кукурузы (в Ver-handl. d. naturw. Vereines d. pr. Rheinlande und Westphalens Jahrg. 9. 1872), но, к сожалению, он не следует методу, столь превосходно примененному Менделем и не дает числовые выводы».

Это был единственный серьезный научный отклик на труд Менделя, прозвучавший при его жизни. Но Мендель не узнал о нем, ибо диссертация Шмальгаузена полностью была опубликована только на русском языке — в «Трудах Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей» [60].

Мендель не узнал об отзыве, а ученый мир Европы не узнал о том, что работа Менделя, его метод и его способ выражать свои результаты формулами заслуживают внимания и должны быть далее разработаны. Поток научной информации уже в то время был достаточно велик. Десятки журналов и ежегодников загромождали столы тех исследователей, которые могли бы оценить труд Менделя.

До провинциального ежегодника руки не доходили, а русский язык — не как ныне — в научном обмене места не имел.

В приведенном здесь реферате Шмальгаузена видно, что петербургский ботаник был восхищен менделевским гибридологическим анализом. Он справедливо подметил, что Мендель принял эстафету от Нодена. Но главного пункта гипотезы — описанного Менделем механизма наследственных «задатков» он тоже не выделил. Однако это могли сделать другие — те, кого волновала сама проблема наследственности — тот же Дарвин. Такой реферат мог привлечь внимание к первоисточнику.

В 1875 году диссертация Шмальгаузена была напечатана уже на немецком языке — в «Botanische Zeitung», журнале, который читали все крупные биологи. Но, публикуя ее, редакция исключила из текста исторический обзор проблемы, и имя

Менделя ботаники узнали из другого источника — из добросовестного, педантично составленного обзора всех трудов по проблеме гибридизации — из книги В. Фоке «Pflanzenmischlingen», которую сам автор называл не иначе как компиляцией.

«Многочисленные скрещивания Менделя, — написал Фоке в главе о гибридах гороха, — дали результаты совершенно сходные с полученными Найтом, однако Мендель полагает, что он установил постоянные численные отношения между типами помесей».

Фоке перечитал все работы по проблеме, и блуждания десятков искателей истины породили у него глубокий скепсис:

«…Ничто такие показало свою никчемность, как поспешные обобщения отдельных наблюдений, — так писал он, подводя черту под поисками целого столетия. — Несомненно, можно выдвинуть хорошо обоснованные правила поведения бастардов, но не нужно забывать, что любое из этих правил допускает большее или меньшее число исключений».

Это унылое умозаключение не было адресовано лично Менделю, но все-таки оно было адресовано и ему тоже, — в числе прочих осмелившемуся строить собственные теории.

Но так или иначе монография Фоке в 1881 году увидела свет, и как бы ни оценивал ее автор труд Менделя, он добросовестно занес его в список литературы и пятнадцать раз упомянул имя Менделя в связи с работами по скрещиванию гороха и ястребинок и других растений, которые были упомянуты на страницах «Опытов». Именно добросовестности скептического Фоке мир обязан тем, что к отцу генетики — пусть через шестнадцать лет после его смерти — пришла заслуженная слава. Ведь это из его книги о Менделе узнали Корренс, Чермак и Бейли, а от Бейли узнал де Фриз.

И датчанин Мартин Бейеринк, тот, что открыл существование вирусов, тоже сначала узнал о Менделе именно из книги Фоке — где-то еще перед 1885 годом, когда работал в Вагенингене в сельскохозяйственной школе и увлекался скрещиванием злаков. Заинтересовался, достал где-то отдельный оттиск «Опытов» и… тут он получил должность бактериолога в Дельфте и пошел другой — право, не самой худшей — дорогой. И шутил впоследствии: «Если бы я остался в Вагенингене, я бы тоже открыл законы Менделя, но это не все, что мне недоставало…»

XII. ЗВЕЗДЫ СМОТРЯТ СВЕРХУ ВНИЗ

Он заказал у типографа сорок оттисков статьи, часть из них преподнес друзьям, каждый раз снабдив первую страницу приличествующей надписью, а остальные разослал ученым, к чьему авторитету решил апеллировать.

Известны имена только двух ученых, которые получили от него оттиски. Первым был австрийский ботаник Антон Кернер фон Марилаун.

Фон Марилаун пробежал глазами вежливое письмо автора статьи, приложенное к оттиску, прочитал на первой странице работы:

«…Для постановки дальнейших опытов с целью проследить развитие помесей в их потомстве дала толчок бросающаяся в глаза закономерность, с которой гибридные формы постоянно возвращались к своим родоначальным формам».

Ха! Закономерность!

На этот счет у Антона Кернера фон Марилауна была совершенно определенная точка зрения [61]:

— Якобы открыты законы наследственности!… Единственным законом наследственности является то, что нет никакого закона наследственности!…

Оттиск остался неразрезанным. Теперь он хранится в Менделиануме.

Второй оттиск был послан знаменитейшему в ту пору биологу, профессору Мюнхенского университета Карлу-Вильгельму Нагели.

Но Мендель не отправил оттиска единственному из коллег, который более чем другие способен был понять его: Дарвину.

Сорок лет спустя Френсис Дарвин специально перерыл библиотеку и рабочие заметки отца. Не было обнаружено ни оттиска менделевской статьи, ни, конечно, четвертого тома «Трудов» брюннских естествоиспытателей, ни каких-либо следов, свидетельствующих о том, что «Опыты» отца генетики попались на глаза отцу теории эволюции.

«…Более чем кому-либо ему (Дарвину) было бы радостным известие об успехе в решении проблемы, разрешимость которой он первым во всем мире показал сам, пусть даже направление, в котором были эти успехи достигнуты, и оказалось бы для него неожиданным», — так писал в начале нашего века виднейший

английский биолог Бэтсон.

Люди, знавшие Дарвина, в один голос твердили, что проведай он о менделевских опытах, тотчас бы принялся с идеальной тщательностью воспроизводить их, чтоб убедиться во всем собственными глазами, и сам бы положил почин синтезу эволюционных и генетических представлений, с трудом начавшемуся лишь полвека спустя.

«Можно наверняка сказать, что развитие эволюционной философии пошло бы по совершенно другому, чем мы наблюдали, пути, если бы в руки Дарвина попал труд Менделя», — категорически утверждал Бэтсон, один из четырех ученых, заново открывших к 1900 году менделевские законы.

Кстати, труд Менделя мог бы попасть в руки отца теории эволюции. Дарвин непрестанно интересовался работами по гибридизации. Он читал книгу Гофмана, видел на ее страницах имя Менделя, ссылку на его статью. Но Гофман взял из нее лишь одну мысль: «гибриды имеют склонность в последующих поколениях возвращаться к исходным видам» — факт, известный из книг Кельрейтера, Сажре и Нодена. И у самого Дарвина в очерке 1844 года об этом сказано. Стоит ли смотреть статью, где повторяются «зады»?

И в «Botanische Zeitung», который Дарвин всегда читал, из диссертации Шмальгаузена был вычеркнут обзор и сноска — реферат «Опытов».

А в 1862 году Мендель был в Лондоне. Целую неделю.

Он не знал английского языка и полный текст «Происхождения видов» проштудировал лишь год спустя, когда книгу издали на немецком языке. Но содержание труда было ему известно по полемике, широко развернувшейся в журналах… Что ему стоило послать телеграфную депешу в Даун и попросить принять его для беседы по научным вопросам!

Младший сын Дарвина — Леонард по просьбе Рихтера провел специальное следствие: не был ли Мендель в их доме?

Не был. В эти дни никого из посторонних в Даун не допускали. Тяжело болел он сам — тогда еще маленький — Леонард. Считалось, что он при смерти. Дом был превращен в лазарет, и отцу было не до визитеров.

Кстати, достаточно большое число людей знало, что Дарвин не благоволил к людям в униформе Службы Спасения душ.

Мендель не посещал Дарвина и не посылал ему оттиска.

…Что остановило Менделя?

Незнание английского языка?…

Слишком яркое сияние дарвиновой славы?…

Нелюбовь Дарвина к представителям церкви?

Может быть, злобное шипение из епископской передней, где Мендель из-за своих вольных замашек был не на самом лучшем счету?… Хоть труды Чарлза Дарвина и не попали в «Индекс запрещенных книг» — там числилась лишь «Зоономия» его деда, Эразма Дарвина, но и в 1862 году, еще до издания «Силлабуса» материализм, рационализм, натурализм все равно подлежали анафеме. В епископской канцелярии наверняка узнали бы о попытке вступить в сношения с крамольным англичанином. И это сочли бы еще худшим грехом, чем светлый мирской костюм, надетый им в путешествии. А впрочем, нет свидетельств, которые говорили бы, что он действовал с оглядкой на епископат. И все же, если и сыграла здесь роль боязнь, то это, пожалуй, была боязнь не перед собственным начальством, а перед Дарвином. То была боязнь услышать строгий приговор от инстанции, столь высокой для него самого и для его друзей по Ферейну естествоиспытателей. Ведь он-то понимал, какой вопрос им затронут!…

…А вообще-то известно лишь одно: Дарвин оттиска не получал. Оттиск получил Нэгели, считавшийся среди ботаников звездою первой величины.

Молчание длилось три недели, пять, семь.

И вдруг — через два месяца — Мендель получил ответ! Сам Нэгели обратился к нему со словами: «Дорогой коллега!»

«Мюнхен, 27 февраля 1867 года

…Мне кажется, что опыты с горохом не завершены. Строго говоря, их следует начать сызнова. Ошибка всех новичков-экспериментаторов в том, что по терпеливости они далеко отстали от Кельрейтера и Гертнера, однако я с удовлетворением отмечаю, что Вы не впадаете в эту ошибку и идете по следам обоих Ваших знаменитых предшественников. Но Вы должны их превзойти, и, по моему мнению, это возможно. Однако в учении о бастардах можно сделать шаг вперед только в том случае, если опыты с объектами будут исчерпаны по всем направлениям.

Такого полного ряда опытов, который дал бы неопровержимые доказательства и возможность прийти к важнейшим заключениям, у нас вообще не имеется. И если у Вас есть в запасе семена потомков Ваших бастардов, которые Вы не собираетесь посеять, я с готовностью посадил бы их в своем саду, чтобы в иных условиях испытать, сохраняется ли константность. Я хотел бы прежде всего получить AA и aa (потомство Aa), AB, ab,

Ab, aB (потомство AaBb) и просил бы Вас, — конечно, если это представляется Вам возможным — прислать семена в ближайшее время, указав точные данные об их происхождении. Выбор их я, конечно, представляю на Ваше усмотрение и хочу заметить лишь, что у меня не слишком много свободного времени и не слишком много свободного места.

Я не берусь обсуждать прочие пункты Вашего сообщения, ибо, не зная всех подробностей постановки опытов, мог бы судить лишь абстрактно-предположительно.

Ваши намерения включить в группу Ваших опытов и другие растения — превосходны, и я убежден, что у других различающихся форм Вы получите относительно наследования признаков существенно иные результаты. Особенно желательно было, если б Вам удалось получить гибридное потомство от ястребиной, ибо их потомство через короткое время может дать наиболее демонстративные промежуточные формы…

К сожалению, искусственное опыление у них практически почти невозможно. Лучше всего было бы иметь такие растения, у которых пыльца абортировала бы (что порой имеет место) или если бы эту неудачу можно было бы вызвать искусственным путем. У Cirsium [62] происходит то же самое.

Я охотно обременил бы Вас просьбой о присылке ястребинок из Вашей местности, и однако, так как, по Вашим словам, Вы редко выходите на экскурсии, остерегаюсь затруднить Вас, С величайшим уважением

преданный Вам

К. Нэгели».

Можно ли было ожидать большего счастья? И он тотчас же ответил радостно:

«Милостивый государь! Приношу искреннюю благодарность за любезно присланные труды. Больше всего привлекли мое внимание работы: «Образование бастардов в мире растений», «О произведенных растительных бастардах», «Теория образования бастардов», «Промежуточные межвидовые формы растений», «Систематический обзор ястребиной в отношении промежуточных форм и границы v видов». Серьезная разработка учения о бастардах с современных научных позиций мне кажется в высшей степени желательной. Еще раз благодарю Вас!

Относительно статьи, которую Ваше Благородие любезно приняли, мне кажется необходимым добавить следующее. Опыты, о которых в ней говорится, проводились с 856 по 863 год. Мне было небезызвестно, что полученный результат нелегко согласовать с нынешним состоянием науки и что в этих условиях опубликование одного изолированного эксперимента вдвойне

рискованно как для экспериментатора, так и для вопроса, им защищаемого. Мои усилия были направлены прежде всего на то, чтобы сделанные на Pisum наблюдения проверить опытами на других растениях. При еще большем числе скрещиваний, предпринятых в 863 и 864 годах, я убедился, что нелегко найти растения, которые пригодны для обширного ряда опытов, и в неблагоприятном случае могут пройти годы без достижения желаемого результата. Я старался организовать контрольные опыты, для чего изложил на собраниях местного Общества естествоиспытателей опыты с Pisum. Как и следовало ожидать, я столкнулся с весьма разноречивыми мнениями, однако никто не предпринял, насколько мне известно, повторения опытов. Когда в прошлом году мне предложили опубликовать доклад в трудах Общества, я согласился после того, как еще раз просмотрел записи опытов различных лет и не обнаружил никакого источника ошибки. Посланная статья является точной копией конспекта упомянутого доклада, отсюда краткость изложения, требуемая вообще для докладов Общества.

Для меня не явилось неожиданностью, что Вы, Ваше Благородие, будете говорить о моих опытах с осторожным недоверием; в подобном случае я поступил бы не иначе…»

«В подобном случае я поступил бы не иначе» — дипломатический ход. Ведь перед этим он говорит, что не обнаружил никаких признаков ошибки. «Я поступил бы не иначе» — значит — «…я не поверил бы словам и проверил бы все повторным опытом, как проверил в своем палисадничке, действительно ли пшеницам из других краев и дикорастущим цветочкам можно продиктовать, как им следует приспособиться к климату Брюнна. И честно сказал, что поведал мне эксперимент… Проверьте и Вы, скажите и Вы. Я уверен, что Вы убедитесь в справедливости моих выводов».

Что знал Мендель о своем далеком высокочтимом корреспонденте?…

Может быть, он представлял себе по портретам облик Карла Вильгельма Нэгели, право же, весьма приятный.

Быть может, он знал, что Нэгели был учеником бога ботаников XIX века Пирама де Кандолля. Школа подчас визитная карточка ученого.

Он знал его работы, полные огромной эрудиции. Нэгели открыл сперматозоиды папоротников. Написал руководство по теории микроскопии и цикл работ по физиологии бактерий, в которых одним из первых поставил вопросы сопротивляемости организма, индивидуальной устойчивости к инфекции и о

наличии защитных приспособлений.

Но эти его работы далеки от интересов Менделя. Зато близки другие. Нэгели принадлежала книга «Индивидуальность в природе и особенно в растительном мире», изданная в 1856 году, и ряд других работ, посвященных проблемам изменчивости и видообразования. Это он ввел понятия «ненаследуемые модификации», «наследуемые вариации» и «одомашненные расы», которыми наука оперировала в течение десятилетий.

Наконец, Нэгели был одним из немногих биологов, пытавшихся в ту пору перейти в науке от описания к анализу принципиальных схем природных процессов с применением в биологии математических методов. Нэгели создал математическую теорию роста, где пытался выявить закономерности динамики развития организма, динамики клеточных процессов. Правда, его подходы сейчас кажутся упрощенными; он был склонен здесь к крайностям.

«Клетки представляют собой элементы, из которых мы согласно математическим правилам можем построить органы», — ну, не так уж прямо, господин профессор!…

Но, зная труды Нэгели, Мендель увидел в нем человека, близкого по складу ума. И право, эрудиции и остроты у Нэгели было более чем достаточно, чтобы понять, сколь серьезна работа, присланная ему в Мюнхен из провинциального моравского Брюнна.

Однако Мендель не знал Нэгели-человека. Он не знал, что мюнхенский ботаник страдает патологическим честолюбием и абсолютно нетерпим к мнению, в какой бы то ни было степени расходящемуся с его взглядами. Правда, нетерпимость Нэгели проявлялась весьма интеллигентно: он игнорировал эти не нравившиеся ему мнения. Один из учеников его говорил, что он предпочитал оставлять без ответа любое суждение, направленное против его работ. Этот же ученик говорил, кстати, что Нагели была присуща привычка «забывать» ссылаться на труды, которые он использовал, когда писал свои солидные монографии, сколь ни были знамениты авторы тех трудов — пусть Ламарк, пусть Дарвин, Кант, Лаплас, Геккель.

…Что оценил Нэгели у Менделя? Видимо, феноменальную добросовестность, и работоспособность, и самоотверженность, и остроту мышления, которую ощущает всякий мало-мальски понимающий в биологии человек, читая «Опыты». Но он увидел в Менделе лишь талантливого любителя, и ему показалось, быть может, что под его, Нэгели, руководством из этого провинциального учителишки может выйти толк и школа Нэгели увеличится еще на одного новообращенного, который будет с

почтением ссылаться в своих статьях на авторитет Наставника, указавшего ему дорогу в науке.

А главное, этот учителишка работал в области, которая, пожалуй, Нэгели привлекала более всего, ибо Нэгели понимал, что за гибридологическим анализом лежит познание основ наследственности. Но он понимал это в общей форме.

Он сам любил эксперимент ровно постольку, поскольку опыт может подтвердить интересную идею.

Нэгели сам разрабатывал теоретические проблемы наследственности. Много позднее, в 1884 году, он издал знаменитую свою книгу «Механико-физиологическая теория развития». Нам придется вспомнить еще об этом труде, который сделался краеугольным камнем течения, получившего впоследствии название неоламаркизма.

Это именно Карлу Нэгели, кстати, принадлежит знаменитое разделение организма на «идиоплазму», то есть вещество, ведающее наследственностью и размножением, и «трофоплазму», то есть на питающее «идиоплазму» тело. Нэгели строил сложные концепции о взаимодействии «идиоплазмы» с «трофоплазмой» и о том, каким образом в итоге этого взаимодействия могут наследоваться благоприобретенные под влиянием внешней среды новые признаки растений и животных.

Но в отличие от ранних ламаркистов Нэгели отбрасывал мистические построения насчет «стремлений» у животных и «флюидов» у растений, кои способствуют их совершенствованию. Он думать не думал на манер своих последователей середины XX века о «требованиях среды», которые-де организмы могут «ассимилировать». Он искал конкретные материальные причины изменчивости, и если он не нашел их, то это была не вина, а беда, ибо не было еще известно, как их искать и где.

И кстати, многие из построений Нэгели насчет благоприобретенных признаков проистекали из наблюдений за передачей признаков у ястребинок. У каждого биолога есть излюбленный объект, своего рода «hobby». «Hobby» Нэгели была ястребинка, растение с удивительно мелкими цветами, с которым так трудно работать, что даже сам Нэгели писал своему брюннскому подопечному, что, по его мнению, манипуляции по искусственному опылению ястребинок почти невыполнимы. А ястребинка была растением коварным. Ее уже тогда называли «крестом ботаников», ибо она вела себя необычно в сравнении с другими растениями.

И, как всякий человек, которому своя идея дороже чужих фактов, Нэгели не поверил в то, что на горохе удалось увидеть закономерность, общую для мира живого.

Его замечание, что всю работу следует начать сначала, было беспрецедентным. Он пропустил мимо глаз статистические выкладки Менделя, показывающие, на каком гигантском материале сделаны выводы. Он словно не заметил содержавшихся в «Опытах» указаний на такие же результаты, полученные Менделем в аналогичных экспериментах 1863 — 1864 годов с фуксиями, львиным зевом, кукурузой, тыквой, терновником.

Будь он элементарно бережен к чужому труду, не ощущай он себя светилом, с небывалой высоты озаряющим науку, он должен был поставить перед Менделем всего одну задачу: опубликовать подробные результаты всех проделанных экспериментов. Ведь текст менделевской статьи не был даже полным текстом доклада, занявшим два полных заседания. Это был конспект, из которого выжали не только всю «воду», но и значительную часть «мяса». Финансовые дела Брюннского ферейна естествоиспытателей были весьма плохи. Ферейн не мог выпускать более одного скромного томика в год. В тот томик редактор «Трудов» Густав Ниссль был обязан впихивать, втискивать конспекты всех докладов, прочитанных на заседаниях за двенадцать месяцев, протоколы дебатов и краткие статьи членов ферейна — те сообщения, на изложение которых даже не хватало времени на заседаниях. Тексты приходилось кромсать по живому. А у Менделя материала хватило бы, пожалуй, на целый самостоятельный том… И заикнись Нэгели о необходимости издать труд целиком, Мендель нашел бы денег, чтобы сделать это за собственный счет. Он не бедствовал теперь, и на худой конец ему не привыкать было делать долги.

Но светило, чье мнение он ценил еще a priori, этого не преддожило. Наоборот, Нэгели сказал, что нужно все повторить, дабы снова убедиться в реальности установленного.

Что мог возразить против этого Мендель, превыше всего ценивший в работе точность?… Тем более что Нэгели пообещал собственноручно поставить параллельно с ним контрольные эксперименты?…

Но, как всякий человек, которому своя идея дороже чужих фактов. Нэгели, хоть он и обещал это Менделю, все-таки не удосужился поставить их в должном объеме, чтобы получить реальную возможность убедиться в правильности выводов, расходившихся с его представлениями.

Он лишь распорядился высеять присланные семена нескольких вариантов гибридов, убедился, что они действительно несут признаки, закодированные Менделем индексами АВ, аВ и АЬ и так далее, и счел данное дело оконченным. Сомнений в чистоте менделевских опытов у него не было.

Серьезного отношения к сформулированным законам не было тоже, ибо Нэгели знал, что у излюбленной им ястребинки процесс передачи признаков выглядит по-другому.

И он предложил Менделю практически невыполнимую задачу, которую можно сформулировать примерно так: если вам удастся заставить гибриды ястребинки вести себя точно так же, как в ваших прежних опытах вели себя гибриды гороха, я поверю в справедливость сделанных выводов…

Это было очень заманчивым обещанием. Как же! Получить такого союзника! И всего лишь ценой работы по гибридизации ястребинок, которых сам господин профессор Нэгели согласен присылать из Мюнхена, из своей замечательной коллекции растений.

Эту приманку супплент Мендель схватил так, как хватает крючок окунь.

И началась фантасмагория.

Прежде чем ставить опыты на ястребинке, работая с львиным зевом и фуксией, с тыквой и кукурузой, с терновником и колокольчиками, Мендель видел, как проявляются те же самые закономерности, что были выведены в опытах по скрещиванию гороха. Правда, на других объектах результаты получались не столь однозначными: не все «вспомогательные средства были пригодными». Он убедился, «что нелегко найти растения, которые пригодны для обширного ряда опытов» и что «в неблагоприятном случае могут пройти годы без достижения желаемого результата».

Теперь же объект ему был навязан, и заведомо неблагоприятный. На ястребинке не получалось ничего. И Нэгели заранее знал, что ничего похожего на результаты прежних опытов получиться с ястребинкой не может. Увидев менделевское трудолюбие, он просто решил использовать его в качестве рабочей силы, в качестве помощника в деле, которое было интересно ему. На дело Менделя профессору было наплевать.

Три года занимался ястребинками Мендель, и в каждом письме мюнхенского светила он получал длинный перечень дружелюбнейших замечаний и наставлений, ибо уж ходом этого дела Нэгели был заинтересован в самой высокой степени. Но в письмах не было как раз того драгоценного указания, той ариадниной ниточки, которая могла бы помочь удачно выбраться из лабиринта наблюдений. Наоборот, в них звучало даже удовлетворение оттого, что заранее существовавшее мнение подтверждается.

Время от времени из Мюнхена приходили посылки с новыми и новыми формами, которые Нэгели рекомендовал для новых серий опытов.

Тщательно оперируя крохотные цветы ястребинки, удаляя пыльники, нанося пыльцу, взятую от растения другого подвида, Мендель столь перенапрягал свои близорукие глаза, что дело кончилось болезнью, из-за которой в конце концов он эти опыты бросил.

Впрочем, в болезни ли было дело!…

Опыты по скрещиванию ястребинок были бессмысленны. Три года работы показали это ясно. Но объяснить причину не могли тогда ни Нэгели, ни Мендель, ни кто другой еще.

Чтоб узнать ее — причину странного поведения ястребинок, — нужно было всего-навсего сделать еще одно открытие в биологии! Да! Да! Нужно было открыть, что у ястребинок и у некоторых других растений — у одуванчика, например — размножение происходит неполовым путем и при этом образуются семена, то есть внешне весь процесс выглядит так, как будто растение размножается половым путем.

Сколько бы еще ни скрещивал он ястребинки, и добытые им самим и присланные ему Нэгели, скрещивания не происходило. Пыльца не прорастала сквозь трубки крохотных пестиков. Потому-то не было ни однообразия в первом поколении, ни расщепления признаков во втором.

Мендель мог ставить новые опыты на тысячах других объектов, он мог ставить их на животных (и ставил, пока церковное начальство не потребовало, чтоб он убрал из своей кельи белых и серых мышей). Он мог — ведь смогли это сделать его последователи — на людях наблюдать за действием открытых им законов! Но он взялся за ястребинку, а она оказалась исключением из правила! [63]

Было от чего впасть в отчаяние. Прежде казалось, что он овладел законом природы. Все было ясно прежде, и вдруг его руки утратили свою волю и ловкость… Один из генетиков сказал как-то, что ощущение Менделя должно было быть похоже на ощущение скрипача, которому отрубили пальцы.

Карл Корренс так писал об этом:

«Мендель в своих опытах с растительными гибридами дал нам в руки орудие, которое мы можем сравнить с рычагом Архимеда; к сожалению, он не мог решать свою проблему с бесстрастным спокойствием великих предков».

Да, чего-чего, а эллинского бесстрастия Менделю не хватало. Но он был беспредельно честен, и в 1869-м сделал брюннским коллегам доклад об опытах с гибридами ястребинки и признал в нем, что наткнулся на существенное отличие в результатах и что

не может объяснить процесса, обусловливающего образование новых форм у растений этого вида.

…Он сделал еще одну попытку убедить Нагели в своей правоте. Это было в одном из последних писем, написанных мюнхенской звезде:

«В прошлом году из-за болезни глаз я не мог приступить к другим опытам по гибридизации. Только один эксперимент казался мне настолько важным, что я не решился отложить его на более поздний срок. Это касается мнения Нодена и Дарвина о том, что для удовлетворительного оплодотворения яйцеклетки недостаточно одного пыльцевого зерна. В качестве подопытного растения я взял, как и Ноден, Mirabilis Jalappa [64], однако результат моего опыта оказался совершенно иным. Из опыления одним-единственным пыльцевым зерном я получил 18 хорошо развитых семян и от них столько же растений, десять из которых уже зацвели. Большинство этих растений развилось так же пышно, как и растения, произошедшие от самоопыления. Всего несколько экземпляров до сих пор слегка отстают в росте, однако после того успеха, который был проявлен остальными, причину следует искать лишь в том, что не все пыльцевые зерна обладают одинаковой способностью к оплодотворению и что, помимо этого, в опытах, о которых идет речь, исключено участие других пыльцевых зерен [65]. Следует предположить, что при большой конкуренции только сильнейшему удастся осуществить оплодотворение».

Это было сказано где-то в середине письма, между детальным отчетом о поведении ястребинок и рассуждениями о том, что мысли Дарвина, высказанные им в книге «Изменение животных и растений под влиянием одомашнивания» по поводу гибридов, по мнению Менделя, вполне справедливы.

Это было сказано как бы «между прочим».

Мендель, может быть, понял, что светило упорно смотрит на него лишь сверху вниз. И стоит ему — теперь даже не учителю, пусть скромному, но все же профессионалу в биологии, а аббату, из любви к искусству не расстающемуся со своими цветочками, — произнести «я открыл», это вызовет лишь очередную снисходительную улыбку.

И потому именно «между прочим» Мендель сообщил о новом своем истинном открытии: о том, как доказал, что оплодотворение яйцеклетки осуществляется одним-единственным сперматозоидом! [66] (Но и об этом открытии, им сделанном, тоже узнали только в 1905 году!)

Мендель думал, что Нэгели поймет значение этого доказательства, ведь вся схема формирования пар наследственных задатков, расхождения этих пар — все то, что потом получило в науке название «менделирования», или «менделевского наследования признаков», было основано им в 1865-м на априорном допущении равного количества материальных «наследственных задатков», передаваемого потомкам отцом и матерью.

Теперь, в 1870-м, он подтвердил правильность допущения.

Однако Нэгели то ли не понял намека, то ли не захотел его заметить. И вообще на это письмо ответа не последовало никакого.

А Мендель ждал, потому что речь шла о главном вопросе его жизни. Он ждал. Он даже проявил несвойственное нетерпение и снова написал Нэгели.

Прошел месяц, два, четыре. Через полгода после напоминания от Нэгели пришел пакет. В нем было письмо, полное извинений и ссылок на то, что шла война (франко-прусская). Объяснений, каким образом война коснулась Мюнхена, не было. Зато был фотопортрет профессора с ласковой надписью.

Об опыте с опылением Ночной красавицы одним пыльцевым зерном не прозвучало ни слова. Недаром же один из учеников Нэгели говорил, что в привычке этого мюнхенского светила было не замечать все расходящееся с его мнением.

Светило так и не поняло поэтому, что до него дошло сияние «сверхновой» звезды.

Впрочем, так ли уж непонятлив был Карл-Вильгельм Нэгели, ученик Пирама де Кандолля и учитель Корренса?…

Правда, когда профессор еще студентом в университете слушал лекции самого Гегеля, они тоже не показались ему интересными, Нэгели не приметил, что слышит гениального философа. Впрочем, от проблем высокой логики и гносеологии он был далек — его ум был занят конкретными биологическими делами.

В 1874 году переписка Менделя с Нэгели прервалась. Перед тем они писали друг другу все реже и реже. В 1874 году Мендель на одно из писем профессора почему-то не ответил, и затем он почему-то не ответил еще раз — притом на письмо, в котором Нэгели заботливо осведомлялся, не случилось ли какой беды с неожиданно замолчавшим брюннским корреспондентом.

Однако Нэгели помнил о нем до конца своих дней. Корренс говорил, что его учитель не раз вспоминал о господине Менделе, который под его заочным руководством работал по гибридизации ястребинок. Учитель с похвалой отзывался об этих работах.

И в глаза он хвалил Менделя. В письмах, конечно.

«Мне повезло, что я нашел в Вас такого способного и удачливого сотрудника», — так писал Нэгели. И он еще занес статью Менделя о ястребинках в библиографический список, напечатанный в его труде «Ястребинки Центральной Европы», и ссылался на эту статью в тексте.

Но в 1884 году Карл Нэгели издал труд, который он считал главным трудом своей жизни, — «Механико-физиологическая теория развития» — в нем он излагал учение об «идиоплазме» и «трофоплазме». И в этом труде среди прочего он рассказывал об очень важных явлениях, выявляющихся при гибридизации — о господстве, о доминировании у бастардов одних признаков и о временном отступлении других, и о том, как отступающие признаки выявляются в последующих поколениях.

«Ангорская кошка и обычный кот (1-е поколение) производят на свет обычных кошек (2-е поколение); ежедневное наблюдение привело бы к выводу о том, что отец оказывает более сильное влияние. Однако молодые кошки, несмотря на свою обычную внешность, унаследовали много ангорской крови, ибо из осеменения двух таких кошек в 3-м поколении наряду с обычными появилась одна белая ангорская кошка… Если мы будем придерживаться наблюдаемого нами факта, то он убедительно говорит нам, что нельзя полагаться на внешние признаки, ибо как могли две обычные кошки произвести ангорскую?»

Прекрасный эксперимент, не правда ли? И результат весьма демонстративен. Все-таки время от времени ботаникам надоедают стебельки и лепестки. И явления, которые Кельрейтер зафиксировал у гибридных гвоздик, а Сажре — у дынь, они стараются высмотреть у животных. Мендель скрещивал мышек (последователи доказали, что у них доминирование и расщепление окраски хорошо получается). А Нэгели скрещивал кошек.

Впрочем, неизвестно, сам ли он скрещивал кошек. Он этого не утверждает, но и не приводит имени какого-либо другого исследователя, предоставляя читателю своим умом решать, кто получил такие данные, если маститый ученый приводит их, из скромности не говоря, кем они получены.

«Существуют растения, окраска цветов у которых варьирует между синим, красным, белым и желтым, и мне хочется предположить, что для каждого вида окраски в идиоплазме существует соответственное количество задатков».

Мы не случайно выделили слово. Нэгели писал тоже по-немецки «Anlagen» — это знакомый термин, не правда ли?

«…Обычно одна из этих красок является доминирующей и проявляется, исключая другую, у большей части индивидуумов. Анемоны (Anemone Hepatica), как правило, бывают синими и лишь в виде исключения красными или белыми. В красных и белых, безусловно, в латентном состоянии имеются задатки (снова эти «Anlagen»!) синего».

Слово «Anlagen» кажется Нэгели, по-видимому, слишком разговорным. Научный термин должен отличаться от обычных слов, он должен звучать уникально, не иметь омонимов. Для субстрата, предопределяющего признаки, Нэгели вместо «Anlagen» — «задатки» вводит термин «идиоплазмы».

«Любое воспринимаемое свойство заложено как задаток в идиоплазме, поэтому видов идиоплазм существует столь же много, сколько существует и комбинаций свойств».

Переводя на современный язык «столько же генотипов, сколько и фенотипов», мысль у неоламаркиста Нэгели работала неплохо. А для каждого отдельного задатка он выделяет в идиоплазме структурную единицу — «идант».

Почти одновременно Вейсман предложит другое слово — «детерминант».

Через пять лет, в 1889 году, де Фриз скажет: «панген».

А прежде всех Дарвин говорил о «геммулах».

Но ни Вейсман, ни де Фриз еще не знали имени Менделя. А Нэгели, столь легко оперировавший цепями фактов, крайне похожими на менделевские, и логическими системами, повторявшими менделевские рассуждения, знал. Но, видимо, вдруг забыл.

Гуго Ильтис заметил по этому поводу:

«Остается загадкой, каким образом у гениальнейшего Нэгели, в памяти которого десятилетиями сохранялись малейшие колебания в окраске ястребинок, полностью исчезло из этой памяти содержание труда Менделя?… Каким образом у него, чью основательность подчеркивали все его ученики, выпала из памяти работа, которую он изучил досконально, подверг критике и которую он сам вызвался проверить своими собственными опытами?…»

А впрочем, стоит ли уж очень Нэгели упрекать? Он ведь таким способом поставил Менделя в один ряд с Дарвином, Кантом, Лапласом, Геккелем. Ведь заимствуя у них факты и мысли, их имен в своих работах он тоже не упоминал.

XIII. «ПОКА ДЫШУ…»

Что-то у нас со дня доклада не произошло никаких событий, только том «Трудов» печатали очень долго — доклады 1865 года вышли лишь в конце декабря 1866-го. Переписка с. Нэгели развернулась уже в шестьдесят седьмом.

Том должен был выйти летом шестьдесят шестого, полугодом ранее, да из-за Шлезвига и Гольштейна разыгралась австро-прусская война, которую историки назвали игрушечной. Правда, Шлезвиг и Гольштейн были только предлогом. На самом деле велась борьба за гегемонию среди германских государств. Австрия была для Пруссии нежелательным и сильным конкурентом. Без войны спора решить было невозможно. И войну очень хитро задумал и исподволь подготовил знаменитый прусский канцлер Бисмарк. За два года до того он втравил императора Франца-Иосифа в авантюру — в войну с Данией за эти германские герцогства, в ту пору находившиеся под датской короной. Победив датчан, Бисмарк устроил столь хитрую дележку добычи, что ее сразу назвали «ребусом без разгадки». Княжества были объявлены общей австро-прусской собственностью, но управлялись они раздельно: Шлезвиг — Пруссией, Гольштейн — Австрией. Добыча эта была неудобна крайне — между Австрией и управляемым ею Гольштейном находилась Пруссия. Франц-Иосиф тотчас стал настаивать на переделе — он готов был дешево уступить Гольштейн за что-нибудь находящееся поближе, но ему было отвечено, что земли, уже бывшие под прусской короной, по конституции никому не могут быть отданы. Вся шахматная партия была рассчитана Бисмарком на много ходов вперед еще до нападения на Данию: Бисмарк создавал Германскую империю. Теперь он добился нейтралитета России и Франции, еще заключил союз с итальянским королевством, заплатив за него 120 миллионов франков, и Австрия очутилась меж двух огней.

16 июня 1866 года пруссаки начали военные действия, а итальянская армия двинулась к Венецианской области, к последним владениям Франца-Иосифа на Апеннинах. Но 24 июня итальянцы были в прах разбиты при Кустоцце. Говорят, что Бисмарк в те дни носил в кармане яд, ибо поражение было бы крахом всей его политики. Но глотать яд не пришлось: армия Мольтке выиграла сначала одно за другим три небольших сражения — 25, 26 и 29 июня, а 3 июля под Садовой разгромила наголову императорские войска — 18 тысяч австрийцев было убито и ранено, 24 тысячи очутилось в плену. (В такие вот игрушки играли в той «игрушечной войне».) Наполен III, который

за семь лет успел было превратиться из злейшего врага Австрии в ближнего союзника, заявил австрийскому послу, что он, во-первых, болен, а во-вторых, не готов воевать. Венгерский сейм отказался дать императору войска, пока Венгрии не будет возвращена автономия. Пруссаки оккупировали всю Моравию и очутились в 10 милях от Вены. Габсбургская монархия трещала по всем швам. Вспыхнула холера, и тогда был подписан мир. Договор закреплял прусскую гегемонию среди германских стран. Еще год спустя Венгрия получила автономию, и государство стало называться «двуединой монархией» — Австро-Венгрией. Через пять дней после заключения мира Грегор Мендель послал на родину очередное «письмо-газету».

«Брюнн, 31 августа

Дорогой шурин!

Красивое письмо студиозуса Иоганна [67] я получил 3 июля. Но когда 10 июля я захотел ответить, письма уже больше в доставку не принимались, так как из-за быстрого продвижения пруссаков почтовая связь работала только до Гуллейна. С того момента возможность переписываться была прервана окончательно до второй недели августа, и даже после возобновления связь была нерегулярной. Письмо, в котором ты, например, сообщаешь о появлении на свет маленькой Анны, я получил только 21-го с почтовым штемпелем «Вена, 17-го»; в Одрау оно было опущено 12-го, по всей видимости, где-то провалялось, а затем через Вену было переслано в Брюнн. Вначале я очень беспокоился о судьбе ваших мест, однако в конце июля узнал от одного жителя Нейтитшейна [68], добравшегося в Брюнн через Венгрию, что Кулендхен военные невзгоды ощутила на себе в меньшей степени, чем остальная часть Моравии и Силезии. Вы должны почитать себя весьма счастливыми, когда узнаете о несчастье, какое неприятель причинил большей части нашего отечества.

12 июля 50 тысяч пруссаков вошли в Брюнн и заняли город. Их король тоже прибыл сюда и провел здесь 5 дней. Постой был очень тяжелым; только наш дом получил на постой 94 лошади с приложенным к ним соответственным числом солдат и 16 офицерами. Правда, так продолжалось всего два дня, а на протяжении следующих 3-х недель их число колебалось между 40 и 50 человеками, и всех их монастырь должен был кормить безвозмездно [69]. Наконец в последнее время солдаты начали питаться за свой счет, и постой стал полегче, в нашем доме сейчас находится всего 10 солдат и 4 офицера. К следующему вторнику мы надеемся, наконец, полностью освободиться от этого бедствия. Оно в равной степени задело и наши имения —

Хвиздлице и Шардице. Ущерб, понесенный нашим монастырем, велик, и трудно ожидать какую-либо компенсацию за него.

Деревням в округе вообще-то пришлось еще хуже, чем городу. Лошади, коровы, овцы, птица, где бы только их ни находили, уводились стадами, фураж и зерно отбирались целиком, так что даже зажиточные хозяева стали чуть ли не нищими. Эти бедные люди должны получить какую-то поддержку, иначе зимою им суждено стать жертвами жесточайшей нужды. И по сей день продолжается в деревнях постой. Солдаты спят в постелях, а тем временем хозяйские семьи принуждены ютиться на полу или в сарае.

И холеру принесли нам пруссаки, и эта ужасная болезнь уже в течение 6-ти недель отравляет нам жизнь. К сему дню из местных жителей от нее умерло вот уже около 1000 душ, а из пруссаков только в городе более 2000. Заболевания случаются еще часто, особливо при перемене погоды; мы надеемся, однако, что с уходом пруссаков и это зло нас тоже покинет. Колокольный звон и музыка на похоронных процессиях запрещены, дабы люди, которые и без того подавлены, не испытывали бы и еще большего ужаса. Хуже всего мор свирепствует в ближних к городу деревнях, и нередки случаи, когда дом вымер полностью или в нем остался лишь дедушка либо малое дитя. Наш монастырь пока в относительном благополучии. Правда, некоторые из нас и один из слуг заболели, но быстро оправились. Умерла лишь мать патера Ансельма, квартировавшая в доме поблизости. Нет почти никого, в чью дверь не постучалась бы болезнь. Она дает о себе знать наклонностью к поносам, коим предшествует примечательное недомогание. Как только такие признаки-предвестники появились, необходима величайшая осторожность и помощь врача.

К этим двум крайне нежелательным гостям добавился еще и третий — нехватка провизии. В первые дни оккупации случалось порою так, что не было самого необходимейшего. Эту беду позднее удалось одолеть, завезя должный запас из дальних мест.

Из всего этого вы видите, что в Брюнне нам пришлось пережить дурные времена. Дай Бог, чтобы положение улучшилось поскорее.

Мне доставило радость, что у Иоганна так хорошо идут дела в школе. Надеюсь, он сообщит мне, к чему собирается приступить в следующем году.

Святому отцу в Петерсдорфе мои самые сердечные приветы.

Тебя, дорогой шурин, и шурина Алоиса, обеих сестер и все ваши семейства приветствует и целует бессчетно

твой искренне

зять Грегор».

И война кончилась. Правда, не навеки. И холера тоже кончилась.

И том «Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Briinn» — «Трудов Ферейна естествоиспытателей в Брюнне» за 1865 год, наконец, к исходу 1866-го вышел в свет. И оттиски свои Мендель получил тоже. И началась переписка с Нэгели, история которой рассказана уже до конца. И стали иссякать надежды на то, что он, Мендель, будет понят при жизни.

Он кричал в своих письмах, чтоб его выслушали, и ощущал, что кричит в вату.

Он работал с ястребинками до переписки с Нэгели и весь 1867 год тоже работал с ними. Он высаживал их в теплице, чтобы не зависеть от смены времен года, он гнал этот опыт, стараясь добиться подтверждения правильности своих законов на этом негодном объекте, но чем дальше, тем больше убеждался, что того единственно бесспорного для Нэгели доказательства он не получит, а значит, не сможет выполнить единственного — единственного! — предъявленного ему требования.

Получи он признание, кто знает, как бы он стал строить свою дальнейшую жизнь?… Вряд ли он стал бы растрачивать себя на что-то неглавное… Мы не знаем, порвал ли бы он, ради ощущения во всем полной свободы, со Службой Спасения душ, принадлежность к которой открыла ему путь, теперь уже пройденный, — как сделал это через два или три года патер Матеуш Клацел… Или, как Франц Теодор Братранек, продолжая носить униформу службы и получать (оклады выросли, цены, впрочем, тоже) свои семьсот флоринов компетенций, занял, быть может, кафедру в университете и продолжал бы свое великое дело…

Но не стоит гадать, «что было бы, если бы…».

Он не был признан.

Он оставался для всех, чье признание было ему нужно, как и был, ботанизирующим представителем чернорясной когорты Службы Спасения, школьным супплентом и членом провинциального ферейна, состоявшего из полутора десятков научных — профессионалов и трех десятков дилетантов, грамотных, а иногда полуграмотных. Что его ждало впереди?… Ничего.

А в обители тем временем назрели крайне серьезные события.

В начале 1868 года умер восьмидесятишестилетний прелат Напп. И открылась очень высокая выборная вакансия, сулившая

счастливому избраннику равный в миру баронскому сан прелата, огромный — в том обществе — почет и феноменальную сумму ежегодного жалованья — 5 тысяч флоринов!

Капитул монастыря избрал на этот пост Менделя. И немного спустя он так сообщил Нэгели о происшедшем:

«Из моего скромного положения преподавателя экспериментальной физики я вдруг перенесен в среду, где многое мне чуждо, и, очевидно, понадобятся время и усилия, чтобы я почувствовал себя свободно. Впрочем, это не помешает мне продолжать столь полюбившиеся опыты по гибридизации, и я даже надеюсь уделить им больше внимания и времени после того, как я освоюсь с новым положением».

Так он писал в Мюнхен почти тотчас после избрания.

Он врал Нэгели, ибо в глазах серьезного ученого возвышение Менделя по Службе Спасения могло быть фактом, компрометирующим его и как человека и как естествоиспытателя.

А ведь он добивался, как только мог, этого избрания. Никакими неожиданностями для него и не пахло. Его выдал племянник Алоис Шиндлер. Шестьдесят лет спустя, в 1928 году, Шиндлер в письме патеру Матоушеку, собиравшему материалы для Менделианума, сообщал о том, что предшествовало избранию. Племяннику тогда было девять лет, и каждое появление в деревне его высокопоставленного дяди было событием.

Шиндлер писал:

«Меня весьма заинтересовал ваш рассказ о прелатских выборах 1868 года.

Незадолго до них Мендель был в гостях в Хейнцендорфе. Когда он прощался с моей матерью (Терезией), она спросила, есть ли перспектива, чтобы прелатом стал он. Он ответил, что среди вероятных кандидатов идет на третьем месте. Наибольшими симпатиями пользуется приор, патер Антонин Альт, однако он из-за своего преклонного возраста не хочет избрания, но его можно и переубедить…»

Антонин Альт в юности Менделя был директором Троппауской гимназии, он действительно отказался от поста аббата, напомнив членам капитула, что за каждое избрание община должна выплачивать государству высокий налог, а учитывая его преклонные годы, нужно предполагать, что налог вскорости придется платить второй раз. Патер Альт был наделен

завидным долголетием: Менделя он пережил.

«На втором месте…» — продолжал Мендель излагать предвыборные выкладки, но дослушать их Алоису не удалось.

«…Здесь наша матушка сделала знак, что дети должны из комнаты исчезнуть. До сих пор я предполагал, что вторым кандидатом был патер Бенедикт Фоглер; быть может, однако, Мендель, зная о связях университетского профессора патера Братранека, имел в виду его — точно мне не известно…

Могу добавить к этому еще один эпизод, происшедший при прощании Менделя при отъезде из Хейнцендорфа накануне прелатских выборов. Когда мы, дети, целовали дядину руку, он сказал мне и моей сестре Терезии, которая была старше меня на два года: «Дети, молитесь! Если я стану прелатом, то смогу много больше для вас сделать».

…Голосовали трижды. Сначала — за день до назначенного дня — были проведены «пробные выборы». Правом голоса обладали только каноники — тонзурованные монахи, рукоположенные в сан. (Послушники не участвовали, конечно.) Каноников было в это время тринадцать человек, один не участвовал по болезни. Из тринадцати, имевших право избирать и быть избранными, пятеро баллотировались на аббатский пост. Мендель получил шесть голосов из двенадцати, Братранек и патер Габриель — по два, Фоглер и Клацел — по одному голосу. То не были их собственные голоса. Каждый из бюллетеней помечался личной печатью-факсимиле голосующего, при подсчете было известно, кто за кого голосовал. Мендель, например, голосовал за Клацела.

После пробных выборов, пожалуй, некоторые кандидаты имели уже возможность убедиться, что шансы на пост у них невелики. Однако назавтра, когда епископальный комиссар Хаммермюллер ввел облаченных соответственно случаю каноников в костел Вознесения Девы Марии, когда была отслужена месса к духу святому и еще одна — в память о святом Августине, — все-таки баллотировались все пятеро. Первому туру голосования, бесспорно, предшествовала сложная закулисная деятельность, ибо расстановка сил резко изменилась. Мендель получил на этот раз пять голосов, за Братранека было подано уже не два, а четыре (на его сторону переметнулся кто-то из сторонников Менделя и один из сторонников Габриеля), за каждого из трех остальных подано лишь по одному голосу. Мендель голосовал за Клацела.

Епископальные комиссары и нотариус покинули помещение

конклава, и начался новый тур закулисных событий, неведомых теперь никому, ибо прелат Хаммермюллер не имел возможности описать их в своей докладной записке на необычном для нас языке — на церковно-канцелярской латыни… Звучали какие-то увещания, какие-то обещания, быть может, попреки провинностями и гордыней, и даже легкие взаимные оскорбления, и, наконец, произошло окончательное голосование.

Осталось всего два кандидата: Мендель и Клацел. Одиннадцать голосов было подано за Менделя. Мендель голосовал за Клацела. Как писал потом Хаммермюллер, Мендель был избран «почти единодушно». И конечно же, на торжественный вопрос комиссара, приемлет ли он, преподобный и благочестивый патер Грегор Мендель, свое каноническое избрание как свершенное, патер ответил: «Приемлю, если оное будет признано и утверждено властью епископального комиссара и преосвященным генералом ордена».

Затем начался звон колоколов, молебствия, обряд вручения знаков аббатской власти. И конечно же, назидательная нотация, с которой преподобнейший прелат Хаммермюллер обратился к прелату новоиспеченному.

«Tagesbote aus Mahren und Schlesien» — «Ежедневный Моравско-Силезский курьер» — назавтра торжественно известит об избрании нового аббата, увенчав корреспонденцию традиционным изречением: «Vox populi — vox Dei!» — «Глас народа — глас Божий!»

…Мендель приносит аббатскую присягу:

«…соблюдать нерушимую верность, подчинение и послушание Святой римской церкви и нашему повелителю и господину Папе Пию IX и его преемникам в сане.

И засим…

высокочтимому и превосходному повелителю господину Антониусу Эрнсту, Епископу Врюннскому и его преемникам в каноническом сане…»

Он клянется не допускать потери добра высокоуважаемой орденской общины, не допускать в контрактах и пактах лжи, ошибки и симонии. Не поддерживать ни словом, ни делом ничего такого, что отклонено или предано анафеме высокочтимым и превосходным господином епископом или то, что может быть рассматриваемо как подлежащее этому, а также безоговорочно блюсти орденские законы и (прощай, о светлый сюртук, в котором он щеголял в Париже и Лондоне) блюсти орденское облачение — как собственное, так и всех своих подчиненных.

«…И теперь клянусь и обещаю еще, что я никогда не войду в другое общество и союз, или духовное братство, или содружество, или объединение, как бы они ни назывались, и где бы ни существовали, и ни были созданы, и ни были признаны официально государственными и церковными властями, и ни в кои веки и ни при каких обстоятельствах…

В сем и во всем упомянутом выше клянусь следовать словом и делом, и да поможет мне Господь и его святая церковь.

Грегор Мендель, аббат».

И все-таки он не мог подавить в себе тщеславия. Письмо Нэгели, в котором он лгал о неожиданности перемен, происшедших в его жизни, он подписал все-таки «Грегор Мендель, аббат и прелат монастыря святого Томаша».

Его избрание — это событие не только личного плана. По обычаю и закону настоятель святого Томаша автоматически занимает важное место в политической и финансовой жизни провинции и всей империи. Он участвует в выборах членов Моравского сейма — ландтага, и рейхсрата — имперского совета. Ему по традиции принадлежат посты члена правления множества филантропических обществ. Он, наконец, оказывается главноуправляющим хозяйства, движимость и недвижимость которого стоила почти миллион флоринов!…

Правительственные круги провинции интересовались выборами задолго до того, как зазвонили колокола костела Вознесения Девы Марии. От полиции были получены секретнейшие данные о каждом из возможных кандидатов. Было установлено, что патер Фоглер — ярый немецкий националист и его избрание может вызвать недовольство в чешских кругах духовенства и всего города. Было подчеркнуто, что патер Братранек близок к оппозиционным правительству славянским кругам: в Брюнне — к чешским, в Кракове, где он профессорствовал, к польским, и поэтому его избрание также могло иметь нежелательные для властей последствия. Что же до патера Менделя, то он был известен своей терпимостью в национальном вопросе — крайне остром для тогдашней политической жизни Моравии. Политикой он не занимался, пользовался всеобщей симпатией и поэтому был признан в чиновничьих кругах кандидатом, чье избрание вряд ли может вызвать какие-либо коллизии. Это мнение, вероятно, было сообщено и епископату…

Вряд ли Мендель знал обо всем, что происходило за кулисами выборов, прежде чем зазвонили колокола.

А когда они зазвонили — Мендель еще лишь уселся писать

присягу — тотчас на городском телеграфе затрещал аппарат Морзе:

«№ 1402 ДРОБЬ ПРЕЗ. К СВЕДЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТ ИЗБРАНИЯ ПРЕЛАТА В АЛЬТБРЮННСКОМ АВГУСТИНСКОМ МОНАСТЫРЕ

ПРЕЗИДИУМ УПРАВЛЕНИЯ ШТАТГАЛЬТЕРА — ШТАТГАЛЬТЕРУ БАРОНУ ПОХЕ ВЕНА ОТЕЛЬ МЮЛЛЕР

ГРЕГОР МЕНДЕЛЬ ИЗБРАН 11 ГОЛОСАМИ ТЧК ВИС-СЕЛЬ

Брюнн 30 марта 1868 г.».

Он писал Нэгели в 1873-м:

«В нынешнем году ястребинки снова отцвели, но я не мог уделить им больше одного-двух кратковременных посещений. Я чувствую себя поистине несчастным оттого, что я вынужден забросить мои растения и пчел…»

Став аббатом, он очень переменился. Даже племянник Алоис, который всегда пытался подчеркивать в воспоминаниях дядино монашеское смирение, писал, что Мендель-аббат всегда вел себя соответственно достоинству своего сана, можно добавить — и богатству, теперь на него свалившемуся, и монастырским капиталам, которыми он распоряжался.

Для него печатали визитные карточки «Грегор Мендель, аббат монастыря святого Томаша». Мастерам по геральдике был заказан герб. Конечно же, на этом гербе они изобразили символы его сана: монашескую шляпу, прелатскую митру, и посох, и нагрудный крест. Щит, окруженный этими предметами и полагающимися виньетками, был разбит на четыре поля — коричневое, розовое, зеленое, лиловое. На коричневом, конечно, крест, но под ним плуг (вероятно, символ происхождения нынешнего князя церкви). На розовом поле две руки в пошатни и над ними для уточнения пламенеющее от великой любви сердце. На лиловом — белый цветок, весьма напоминающий горох (!). На четвертом поле символы, смахивающие на математические «A = Q». Но это не из математики, это из Апокалипсиса: «Аз есьм Альфа и Омега…»

Он приказал отремонтировать отведенные ему покои и зал капитула. Потолок зала был расписан портретами святого Августина, и, конечно же, его матери святой Моники, и еще аллегорическими картинами — «Благочестие», «Счастливый Труд Земледельца», «Апофеоз Науки», «Пчеловодство». Старая, громоздкая — напповскях времен — мебель была вынесена, и в прелатуре отныне господствовал модный «бидермейерштиль» — гнутые легкие ножки и спинки красного дерева, инкрустированные слегка перламутром или деревом другого цвета.

Он посетил Рим и представился папе Пию. Он участвовал в выборах от курии помещиков и голосовал за либеральную партию. И отказался принять депутатский мандат от партии центра, ибо надо было бы поступиться ради мандата убеждениями. Он принимал орден из рук императора, путешествовал для отдыха по Рейну, ездил в Киль на конгресс пчеловодов (Иозеф, слуга, записал сердито в книге расходов: «одни чаевые составили милую суммочку 17 флоринов 50 крейцеров!»). Он заседал в банке и филантропических обществах, выписал в Брюнн, отдал в гимназию и поселил в доме Смекалей племянников — сыновей Терезии, купил себе пони и сцепился с имперским правительством из-за налога в Религиозный фонд. Ездил в Вену и в соседние монастыри, ревизовал собственные имения и ездил еще куда-то, регистрируя в монастырских книгах только суммы, полученные на поездки, и не указывал, хотя это и полагалось, куда он ездил и зачем.

А летними воскресеньями в «прелатском саду» у кегельбана собиралось изысканнейшее общество — сам глава провинциального правительства — господин ландесгауптман граф Фет-тер фон дер Лилли, сам президент судебной палаты Моравии, сами коллеги — церковные иерархи, сами лидеры либералов, сами советники наместника и всякие там лоттоамтсдиректора [70]. И аббату, поднявшемуся «из грязи в князи», льстило, что между партиями в кегли или в шахматы здесь обсуждаются судьбы правительственных установлений, а обсуждение дел имперского масштаба, в свою очередь, пока слуга Иозеф приготовит должным образом стол, перемежается прогулками по саду, где ему было чем похвалиться:

— Отведайте груши, господа. Это «герцогиня Ангулемская». Этот сорт еще не очень распространился в Европе, — так, во всяком случае, мне сказал представитель фирмы «Луи Рампле» из Нанси, а он специально для уточнения конъюнктуры присматривал, что и где водится в хороших садах. Их фирма, кстати, поставляет кое-что и для Шенбруннского парка…

Если среди гостей был кто-то из пришедших впервые, он бросал как бы между прочим:

— Не угодно ли посмотреть на моих детей?…

Это производило впечатление: «Дети у монаха! И о них столь беззастенчиво!…»

А он подводил компанию к палисадничку, где рос горох.

С горохом он не расстался, хоть и не ставил с ним новых экспериментов.

Он рассчитал по старым выкладкам, как вывести из привозных и одной сильной местной разновидности новый сорт

сахарного горошка с крупными, хорошо вышелушивающимися зернами. И сорт получился… Тот молодой человек из фирмы «Луи Рампле», что посетил его и хвалил «герцогиню Ангулемскую», дотошно выспрашивал именно о горохе: он прослышал что-то о тех его опытах от Беннери — «Нестора европейских растениеводов»… А может быть, наоборот, Беннери, что-то прослышав, просил коммивояжера узнать подробности. Он ничего не объяснил этому коммивояжеру. Как бы не замечая вопросов, листал роскошные фирменные каталоги — пошевели пальцем, и растения доставят с Мадагаскара!… Расспрашивал, где учился господин Эйхлинг — так, кажется, его звали, — не в Гейдельберге ли, вспоминал Венский университет, «Gaudeamus», «Edite, bebite, collegiales…». Если открытые им законы не поняли ни Маковский, ни Нэгели, то объяснять их молодому торговцу все равно что господину ландесгауптману, или президенту судебной палаты, или марсианам… Он теперь прочно на грешной земле, у него другие страсти и радости. Ему теперь ничего не стоит выдать чек на три тысячи гульденов для оснащения пожарной команды в родном Хейнцендорфе, дабы там не случилось более такого, как в 1869 году, несчастья — полдеревни дотла! Он мог послать после гимназии двух сыновей Терезии на медицинский факультет, а третьего — в технологический. Он мог ссудить сыну Вероники деньги под вексель — с детьми Штурма он обходился по-другому — только под вексель!… Он мог каждое воскресенье принимать у себя господ, столь изысканно-привередливых — ведь одними кеглями, и шахматами, и разговорами о хитрых демаршах в имперских инстанциях их не накормить.

…Он отличный шахматист, на шестидесятичетырехклеточной доске матовавший в изящных композициях любого из вельможных своих гостей, не понимал, что мысли всех этих иерархов, ландесгауптманов и лоттоамтсдиректоров заняты совсем иной игрой — игрой между церковными канцеляриями Рима и церковными организациями Австрии, игрой земельных правительств с имперским правительством, борьбой за то, что выгодно штатгальтерам и ландесгауптманам. А он, новоиспеченный церковный вельможа, — фигура, которая может, конечно, посшибать какие-то пешки противной стороны. Впрочем, однако, фигура не столь неуязвимая, как ему самому кажется…

Когда господин ландесгауптман, президент палаты, советники, лоттоамтсдиректора, бургомистр, лидеры, коллеги-прелаты и приор летними воскресными вечерами собирались в саду на партию в кегельбан, он не предполагал все-таки, что какое-то время спустя будет бояться выходить в этот сад, если рядом с ним нет двух здоровенных псов-сенбернаров.

…А в первые годы своего аббатства он, тряхнув общинной мошной, раздвинул монастырский сад, засадив южный склон Шпильберга, под предлогом всеобщего блага, конечно, и это деяние высокочтимого прелата Грегора Менделя было пропечатано в «Tagesbote» в самых идиллических тонах.

У выходящей на склон Шпильберга новой калитки по его собственному проекту был сооружен большой каменный пчельник, и он платил Марешу «тринкгельд», чтобы тот особо присматривал за этой калиткой и пчельником, где обитали пчелы местные и пчелы каринтийские, кипрские, египетские и даже «нежалящие» американские пчелы, которые вылетали на медосбор только меж девятью и десятью часами утра и еще — тремя и четырьмя пополудни.

«Экспериментировать — вот что важно для каждого пчеловода, и только таким путем можно добиться успеха», — сказал он, выступая в местном пчеловодческом ферейне.

Он придумал специальный домик для скрещиваний пчел, но скрещивания в нем не получились. Он вывозил пчел-цариц редких видов из своей коллекции в те места, где они не могли спариваться с трутнями своего вида, не залетавшими туда.

Он пытался получить гибриды пчел, но не знал — как и все в то время, — что царица спаривается со многими трутнями и хранит их сперму многие месяцы, в течение которых день за днем откладывает яйца… Поставить в таких условиях управляемый и хорошо контролируемый эксперимент пчеловодам не удавалось еще полвека (лишь в 1914-м гибриды, наконец, были получены и показали действенность менделевских законов!).

Сколько ни вкладывал он азарта и хитроумия, в этом деле ему не удалось перепрыгнуть через свое время. Но, быть может, оттого, что с отцовскими пчелами было связано его детство, у пчельника он забывал обо всем, что тяготило, и порой в нем даже просыпалось грубоватое озорство деревенского мальчишки. Он привел однажды к пчельнику послушника-горожанина, ничего не смыслящего в пчелах, но подчеркнуто показывавшего, сколь сильно нравится ему все, чем увлечен господин прелат. Была ранняя весна. Пчелы уже кружились у летки, но еще лежал снег, и им негде было приземлиться. Аббат лукаво посоветовал послушнику положить на снег шапочку-капуцинку, подвох не был понятен. Через минуту шапочку облепили пчелы, а через две минуты она превратилась из черной в желтую от пчелиного помета. Аббат хохотал до слез.

А вообще-то он действительно был очень занят, но все-таки в

письме Нагели он написал тогда полуправду.

Опыты с растениями он забросил не из-за болезни глаз и не из-за того, что был занят постройками новых скотных дворов в монастырских имениях, финансовыми операциями, поездками по Европе и политическими кеглями.

Ведь он — если не считать времени отлучек из Брюнна — не бросал ни на день исследовательской работы.

Но он ушел в садоводство, в пчел, от которых безуспешно пытался получить гибридов и расщепление у гибридного потомства. И в метеорологию.

Метеорология была последним из его научных увлечений. Точнее, первым и непреходящим. Ведь наука началась для него именно рефератом по физике и химии атмосферы на тему, предложенную знаменитым Доплером и могущественным Баумгартнером. И где-где, а в ней он был вправе считать себя абсолютным профессионалом: работа на кафедре у Доплера была своего рода аттестатом.

Тринадцать статей опубликовал он: четыре по биологии, девять по метеорологии.

Если судить по заголовкам — неточный критерий, конечно, — то в биологических своих работах он прыгал с темы на тему, как истинный дилетант: «О вредителе редиса «Botis margaritaiis», «О вредителе гороха Bruchus pisi». далее — об опытах с гибридами гороха — работа непонятная, почти сомнительная, с казавшимися мистическими «3:1» и, наконец, об опытах с ястребинкой, где он прямо заявил, что столкнулся с явлениями, которые не может понять.

В метеорологических трудах все проще, ясней и последовательнее: обычные, понятные всем, кто занимался этими проблемами, таблицы и графики колебаний температур и атмосферного давления, сводки данных по Брюнну и по всей Моравско-Силезской земле. Обычные статьи, в которых пространные ссылки на данные других исследователей в привычных пропорциях сочетаются с собственными наблюдениями. Все, конечно, исполнено с абсолютной добросовестностью и все предельно понятно, а потому эти работы, наконец, привлекают к себе внимание. И аббату Менделю не приходится испытывать ужасного ощущения, что он кричит в вату.

Его работы читает Лизнар, бывший ученик из реальной школы, а ныне университетский профессор-метеоролог. И Лизнар — представитель нового поколения, которое всегда бывает, умней предыдущего, — дает своему учителю понять, что он, старый, пока не отстает от молодых,

Мендель получает письма из Утрехта от профессора Бюи-Балло. Коллега из Голландии вступает с ним в переписку по поводу расхождения в понимании некоторых процессов, просит уточнить некоторые данные и тем самым невольно дает Менделю почувствовать, что тот участвует в большой общей работе европейских метеорологов по выяснению процессов, происходящих в атмосфере континента

Говорят, что в атмосфере есть кольцевые процессы. Автор этих строк — человек, крайне мало знакомый с физикой, — не берется объяснить конкретную их сущность. Но он считает необходимым заметить другое: во всяком случае, в жизни Менделя «кольцевые процессы» были бесспорно.

В девятом томе «Трудов Общества естествоиспытателей в Брюнне» опубликована статья Менделя «Смерч 13 октября 1870 года». Из всех метеорологических работ Грегора Менделя она — единственная! — была никем не замечена, как не были замечены «Опыты над растительными гибридами»

Но именно в ней он описал неизвестное тогда явление: смерч, противозаконно вращавшийся по часовой стрелке!

Трудно оценить, конечно, сколь велик был ущерб, понесенный тогдашней метеорологией, оттого, что редкий казус остался ей неизвестным. Так или иначе, но эта работа заслужила у Ильтиса имя младшей сестры замечательных «Опытов» с гибридами гороха («Pisumschwester»).

Пожалуй, она интересна еще одним: в отличие от всех прочих работ Мендель в этой статье не только исследователь весьма фанатичный, но еще и рассказчик, рассказчик-литератор.

Любое изложение всегда хуже подлинника. Поэтому снова подлинник:

«…Насколько импозантно это просвистевшее мимо диво выглядело в некотором отдалении, настолько неуютно и опасно было оно для всех, кто оказался в непосредственной к нему близости. В последнем я убедился на собственном опыте, поскольку 13 октября смерч пронесся над моей квартирой в прелатуре Альтбрюннского монастыря, и, право, только благодаря счастливому случаю я отделался одним лишь испугом.

В названный день за несколько минут до двух пополудни воздух внезапно потемнел столь сильно, что остался лишь слабый сумеречный свет. В ту же минуту здание — во всех частях своих — затряслось. Колебание его было столь сильным, что двери, которые были на защелках, распахнулись, тяжелые предметы обстановки сдвинулись, а штукатурка местами осыпалась с потолка и стен. При этом раздался совершенно не поддающийся

описанию шум адской симфонии с аккомпанементом из звона стекол, грохота черепицы и пластин шифера, влетавших сквозь разбитые окна и достигавших противолежащих стен.

Право, когда такие события захватывают вас врасплох, каким бы вы ни были смелым, нелегко вам одолеть охватывающий вас панический ужас. К счастью, сей адский спектакль окончился спустя всего лишь несколько мгновений. Я оцениваю его продолжительность в четыре, максимум — в пять секунд, причем полагаю, что наибольшую длительность явление имело именно в точке наблюдения…

…Как только пыль начала оседать, я обратил взгляд в окно и тотчас обнаружил врага. То был смерч — точь-в-точь такой же, каким я видел его на картинках и представлял себе по описаниям…»

Ошеломление миновало, и в человеке, только что ощущавшем один лишь испуг, проснулся наблюдатель, «наблюдатель Мендель», как всегда, трезвый и точный. И он мгновенно заметил необычное направление вращения вихря — Двух гигантских похожих на кегли конусов воздуха, поставленных один на другой:

«…Наш смерч представлял собой исключение из закона, выведенного новой метеорологией для вращающихся бурь (смерчей) в северном полушарии, в соответствии с которым вращение всегда должно происходить в направлении, противоположном часовой стрелке, как это наблюдается у тайфунов и ураганов. Когда я увидел его впервые на расстоянии в 150 клафтеров [71], направление вращения можно было определить с большой точностью…»

Но одного утверждения мало. Нужны доказательства. Вещественные доказательства. И он собрал их здесь же, в кабинете, засыпанном пылью, осколками битого стекла, кусками черепицы и обвалившейся штукатурки:

«…Все предметы, влетевшие через окно моего кабинета, смотрящее на восток, появились с SSO, SO и OSO [72], а одна плитка черепицы, пролетев над моим письменным столом, даже попала сквозь распахнутую дверь в комнату, примыкающую к кабинету с севера. Так как все снаряды проникли сквозь двойные рамы, то направление, откуда они прилетели, можно было определить по дырам, пробитым ими в наружных и внутренних стеклах. По правилам вращения «вбрасывание» должно было бы происходить с NNO, N0 и 0N0» [73].

Однако следовало описать и предысторию событий, с тем

чтобы попробовать проникнуть в механизм явления. Ему для этого достаточно обратиться к толстой книге метеорологических наблюдений, толстой, тяжелой книге — in folio, собственной его, Менделя, рукой разграфленной в точном соответствии с официальными таблицами метеорологических наблюдений, какие разработаны для государственной метеослужбы империи. В этой книге записано все, что можно было заметить в урочные, обязательные часы:

«…В 9 часов утра означенного дня были видны две гряды облаков с S и WNW [74]… Их двигали… потоки воздуха, один, направленный с WNW, и второй, двигавшийся ниже с южной стороны… В 12 часов дня… эта несогласованность в движении облачных гряд стала еще более заметной. С 12-ти и до появления смерча наблюдения не производились. Но следует еще отметить, что близ 1 часу дня к северу от города прошла гроза, сопровождавшаяся сильными порывами ветра…

…Через три четверти часа пришел смерч. Ему предшествовал продолжавшийся несколько секунд, стремительный и усиливающийся воздушный поток, очень четко отграниченный с W [75], сопровождавшийся единичными крупными каплями дождя и градинами. Градины падали и во время прохождения смерча.

Длительных изменений основных метеорологических показателей смерч не вызвал. Существенные изменения наступили лишь два часа спустя, во время сильной грозы».

И конечно же, Грегор Мендель в первую очередь должен поведать о том, что он увидел и по мере возможности исследовал, своим добрым друзьям по Ферейну естествоиспытателей. Не, проходит и месяца — 9 ноября 1870 года он занимает место докладчика на очередном заседании общества. Закончив описательную часть, он тщательно разбирает ход событий. В его время происхождение смерчей и ураганов объясняли простым перемещением нагретого воздуха. Такое объяснение Менделя не удовлетворяет: начало событий им зарегистрировано. Это встреча разнонаправленных горизонтальных потоков воздуха, сочетавшаяся с грозой, прошедшей после полудня. Он, строит гипотезы касательно происходившего при этом охлаждения воздуха и конденсации паров, пытается осмыслить гидродинамические явления. Так будут рассуждать полвека спустя…

Но притом он позволяет себе внести в этот доклад элементы отнюдь не академичные. Ведь речь о событии, пережитом на собственной спине им самим и его слушателями, а потому он заключает так:

«…Я постарался собрать возможно большее число свидетельств многочисленных очевидцев события, которые могли бы дополнить и подтвердить собственные мои наблюдения. Из полученных сообщений я хотел бы вкратце упомянуть лишь об одном, ибо оно представляется мне небезынтересным, поскольку и восприятие и изложение в отличие от прочих лишено обычной наивности.

Мой информатор, особа женского пола, в составе небольшой группы была приглашена на уборку урожая в виноградник, который находится на северном склоне Желтой горы, против остановки конки. (Хочу предупредить, что участники этой группы до сего случая никогда не имели отношения к физическим или метеорологическим занятиям.) Их внимание привлек внезапно возникший сильный шум и грохот, донесшийся от подножья горы с противоположного берега реки. Тотчас они увидели там огромную, достающую до облаков, пламенеющую колонну, которую они приняли сначала за столб густого дыма. Они подумали, что там вспыхнул лесной пожар, и это им показалось тем более достоверным, что вскоре они увидели над берегами Шварцавы и Мюльграбена струи воды, которые, по их мнению, должны были бить из брандспойтов пожарных, прибывших к месту происшествия. И вдруг они с ужасом заметили, что «столб дыма» перешагнул через Мюльграбен и со страшным грохотом двинулся к винограднику. Тогда, взывая к милости господа бога, они забились в близлежащую сторожку, но тот, кого они боялись, сумел настичь их и в этом убежище, ибо несколько мгновений спустя крыша над их головами была содрана одним рывком. Лишь благодаря их чрезвычайным усилиям они не были похищены вместе с ней… Затем мой информатор увидела Ужасного, танцующего по виноградникам и садам Шрейбвальдштрассе к Шпильбергу, и испугалась, что горящие предметы, которые нес смерч, могли упасть на город и поджечь его».

Право, он показал себя отличным рассказчиком, и — как всегда — тонким наблюдателем, и — как уж не раз — человеком, упорно стремящимся проникнуть в суть дела.

Он так закончил доклад:

«Мы не можем остановиться ни на чем ином, как на воздушной гипотезе, сотканной из воздушного материала и имеющей весьма воздушную основу».

Он достаточно твердо стоял на почве строгих фактов, чтобы позволить себе пошутить вот так.

Ниссль написал в воспоминаниях, что журнал Менделя с метеорологическими наблюдениями — размером «in folio» — был передан ферейну. Последние записи относились к ноябрю 1883 года.

…Патер Амброзиус Пойе еще летом деликатно сообщил штатгальтерству, что прелату Менделю врачами предписан абсолютный покой.

…Он уже боялся темных окон и просил проверять запоры, но при этом, несмотря ни на что, все-таки не хотел изменять привычкам. Не хотел отказаться от того, что составляло ощущение жизни. И как ни было это трудно теперь, трижды в день — близ семи утра, потом около двух пополудни и еще в девять вечера — принуждал себя подняться с кресел или постели, тепло укутывался (впрочем, простуды он остерегался всю жизнь) и, поддерживаемый Иозефом, появлялся на пороге своей приемной. Телохранители-сенбернары шли рядом.

В прежние времена, когда наступал какой-то из этих урочных часов, он даже прерывал уже разгоревшуюся беседу, сколь ни была она интересной иль важной. И кто бы ни ждал его — брат прокуратор или брат-эконом с неотложными монастырскими делами, просители или служащие ипотечного банка с бумагами на подпись или, наконец, гости, даже самые званые, — любезно просил повременить, пока освободится. Весь монастырь обедал в два, настоятелю подавали позднее.

Теперь же дела монастыря были осложнены до предела, и он, прелат Мендель, был тому причиной, и братья по общине старались без надобности к нему не заходить: проявишь излишек внимания — а что подумает патер Рамбоусек, глава оппозиции, объединявшей всех, ибо довольных аббатом в капитуле не было. Прокуратор и эконом сами вершили повседневные дела. А те дела, для разрешенья которых нужна была аббатская власть, откладывались в долгий ящик — до вступления Рамбоусека на его пост, — на пост, который, как правило, становился вакантным, либо — что реже — если лицу, его занимающему, давали епархию, либо — что чаще — при вмешательстве смерти.

И в банке тоже обходились теперь без него: бумаги подписывали новые члены директората, усаженные в доходные кресла все тем же энергичным лидером либералов Хлумецким. Завсегдатаями его монастырской квартиры были теперь одни доктора.

Он еле нес свое тяжелое, отекшее тело. В движениях и жестах

появилась теперь та парадоксально-медлительная хлопотливость, какая бывает у беспомощных людей. В речи сильнее прежнего слышался селянский говорок его родины с размазанными, превращенными в шипящие «п» и «т». И из-за всего этого казалось, что в пустой теперь приемной, заставленной модной инкрустированной перламутром и эбеновым деревом мебелью в бидермейеровском стиле, появлялся не хозяин сей обители и сей мебели, не сановный иерарх церкви, а старый немец-крестьянин из Кулендхен, проделавший в отчаянности пешее паломничество через всю Моравию из-под Нова Ичина к святому Томашу и Милосердным Сестрам Брюннским, чтоб вымолить исцеление и годик-другой еще на этом свете,

Опершись о плечо слуги, он спускался по лестнице к двери, и, прежде чем нахлобучить на голову неизменный черный цилиндр — память о крайне скромной дани, какую смог отдать когда-то цивильному щегольству, — ждал здесь, пока притихнет стук молотков в груди, висках, затылке. И в саду он тоже делал остановки.

Путь был хоженый-перехоженый. Псы шли впереди, не оглядываясь.

Сначала — к монастырской кирке. Потом — самый трудный участок — в гору, в дальний конец сада к выходящей на склон Шпильберга новой калитке и к пчельнику, построенному по собственному его проекту. Он обязательно посещал его в каждое из путешествий, повторявшихся трижды в день. Но, конечно же, к пчельнику он брел не за медом — кто собирает мед в октябре, в ноябре! — его интересовали термометры — минимальный и максимальный, укрепленные в павильоне.

И к кирке он шел не для молебствий о здравии, а снова из-за термометра, висевшего снаружи, как и полагается по науке, на северной стене.

Самым легким был последний кусок пути — под гору и к дому. Но прежде чем повернуть к дверям, он делал крюк, для здорового человека незаметный, а для него чересчур хорошо ощутимый. В «прелатском саду» — так называлась часть владений, прилегавшая к самой обители, — на специальном столбике были установлены анемометр и дождемер.

Иозеф развертывал книгу, которую нес под мышкой. Большую — in folio — тяжелую, толстую. Подставлял разграфленные страницы. Если было темно, светил фонарем на термометры, на бумагу. Ничто больше ему не доверялось. На уговоры докторов и друзей аббат отвечал непременно:

— Пока могу, все буду делать сам. Иозеф обязательно напутает в записях. В лучшем случае пойдут сплошь ошибки на

параллакс… Нужно ощущать важность каждой мелочи.

Путь проходил в молчании — оттого, что мешала одышка, и потому, что опасно говорить на холоде. Но изо дня в день путь становился все более и более долгим, и, если к концу его оба замерзали, Иозеф нарушал молчание шуткой, всегда одной и той же — насчет весенних фиалок, что не ко времени распустились на носу его преподобия.

Когда-то — в прошлом, кажется, марте — это шутка, прозвучав впервые, так понравилась преподобию, что в тот же день она была им процитирована в одном из писем, а Иозеф поставлен об этом в известность. И слуга принялся эксплуатировать шутку нещадно, но Мендель всякий раз терпеливо выслушивал ее. Он не хотел отказываться даже от малости из того, что составляло ощущение жизни.

…От шутки слуги насчет его посиневшего носа и от ломтика-другого волшебной монастырской ветчины или пусть от самого крохотного — ведь он болен все-таки! — из тех печений, что заставляли брюннских бюргеров посылать своих дочек-невест в обучение на кухню святого Томаша.

…От ежедневного десятка некрепких, но обязательно первосортных сигар, коробки которых упорно соседствовали на его столе со все разраставшейся батареей пузырьков с нахлобученными аптекарскими сигнатурками. Впрочем, тогдашние доктора считали, что табак поддерживает сердце и сгоняет отеки.

…И от метеорологии, увлечения, пронесенного через всю жизнь, — с наблюдений вместе с ольмюцким физиком Францем за солнечными пятнами и экзаменационного реферата по физике атмосферы, получившего превосходный отзыв великого Доплера и могущественного Баумгартнера.

Впрочем, у него было еще одно увлечение — новое. Где-то году в 78-м он попросил братьев записывать для него все фамилии, оканчивающиеся на «mann», «bauer» и «гпауег». Где бы фамилии ни встретились — в газете, в журнале, в личном письме, на вывеске торговца, в деловой бумаге, в церковной книге, классном журнале — где угодно. Фамилий, фамилий — как можно больше фамилий!

Теперь он сам уже не возился ни с пчелами, ни с растениями. Он и ходить толком уже не мог, и указания Марешу давал часто не в саду, а у себя в кабинете. Чертил палкой по паркету и говорил, какой куст выкопать, какой подрезать, куда подложить торфу. (Мареш потом — пьяный, конечно, — говорил на похоронах: «Я — садовник? Г… я, а не^ садовник! Вот господин прелат, это был садовник!!») Но сколько можно чертить по

паркету?… Когда теперь бывало получше, он садился за эти листочки — обрывки календарных листков, конфетные обертки — на чем только братья не писали фамилии, с усмешкой выполняя просьбу прелата, который от этой войны с правительством из-за налога, кажется, совсем впал в детство. Он раскладывал их, перекладывал, переписывал аккуратным почерком фамилии в столбики, то по алфавиту, то еще по каким-то непонятным признакам. Нумеровал, классифицировал.

Что-то высчитывал.

Рихтер нашел в монастырском архиве несколько листков со столбцами фамилий и непонятными цифровыми выкладками — один чистовой с 723 фамилиями, оканчивающимися на «mann», и черновики, где были еще фамилии на «bauer» и «mayer», с какими-то дробями и вычислениями.

Рихтер установил, что 254 фамилии были взяты из военного ежегодника за 1877 год, часть из списка транспортных служащих, откуда остальные — неизвестно.

На чистовике фамилии были разбиты по смысловому значению: «врачи» — Arztmann, Heilmann, Pillmann; «торговцы» — Kaufmann, Fleischmann (мясник), Weinmann, Bierrnann.

Потом в разбивку шли «торговцы семенами», «зерном», «зеленью», «специями», «скотом».

Новые графы: «настоящие люди»: Ganzmann (цельный человек), Immermann (постоянный человек), «толстяки»: Dickmann, Speckmann (свиное сало), «крикуны» — Ohmann (кричащий «О»), Aumann (кричащий «Ау»), «лентяи», «церковные люди» и «веселые люди» — ив каждом столбце, не так, как в пересказе, — десятки фамилий.

В других столбцах те же фамилии перегруппированы.

Рихтер споткнулся на графе «веселые люди». Он попытался найти смысл расчетов и запутался. У него мелькнула мысль: «Не было ли это попыткой докопаться до законов образования фамилий?… Может быть… А скорее всего это просто веселые и одухотворенные игры великого ученого!…»

К этим страницам вернулись в 1965-м.

В журнале «Folia Mendeliana» была опубликована статья врача Олдржиха Фердинанда. В ней впервые задан вопрос: «А не попытка ли это изучить лингвистические явления методами математики?…»

В 1968 году один из советских филологов ознакомился с фотокопиями странных менделевских черновиков. Вот что он написал автору этой книги:

«…Семантическая группировка фамилий (то есть

группировка по смысловому сходству) сразу же дала интересные результаты. Второй компонент фамилии, «mann», то есть человек, постоянен.

Биограф Менделя Освальд Рихтер предположил, что весь анализ фамилий был предпринят с единственной целью — для увеселения общества, так как в списках Менделя — множество «веселых фамилий». О. Рихтер, очевидно, не заметил, что фамилии, восходящие к прозвищам, весьма характерны для немецкого ономастикона, и Мендель, как объективный исследователь, не мог пройти мимо этого.

Стремясь обнаружить формальные законы происхождения фамильных имен, Мендель производит сложные подсчеты, в которых учитывает количество гласных и согласных в немецком языке, общее число рассматриваемых им слов, количество фамилий, начинающихся с каждой буквы алфавита, и т.п. Комментарии к этим подсчетам не сохранились, но по тому, с каким постоянством в них появляются одни и те нее цифры, можно предположить, что именно интересовало Менделя.

…Открывал ли Мендель законы комбинаторики гласных и согласных в немецких фамилиях? Ответ на этот вопрос скорее всего утвердительный.

Как и в области генетики, Мендель и в языкознании оказался пионером. В девяностые годы XIX века лишь самые смелые лингвисты заявляли о целесообразности применения математики в лингвистике (но никто ее еще не применял). Никто в то время не занимался систематизацией имен по близости их значений. Лингвистика приблизилась к методам решения задач, предложенных Менделем (таксономия лингвистических объектов и их математический анализ), лишь в самое последнее время… К сожалению, сохранились лишь черновики, лишь подготовительные материалы к работе Менделя. Но если бы сама работа была обнаружена в наши дни, она оказалась бы вполне актуальной — настолько актуальной, что читатель-специалист, не укажи вы автора, с интересом изучал бы ее как очередное и серьезное исследование из области современной лингвистической семантики и математической лингвистики».

Он был верен себе. Он подошел к анализу языковых явлений, как человек точной науки. Сначала в биологию, затем в лингвистику принес статистическо-вероятностный метод. Филологи подошли к применению этого метода только в наши дни и, кстати, стали употреблять даже термины основанной им генетики — «генотип», «фенотип» языка… Как некогда де Фриз, Корренс и Бэтсон, они шли его путем, не ведая, что тропка

однажды уже протаптывалась. Такой оказалась судьба почти всех его дел.

…Когда-то венских физиков поразила «собственноручность исполнения», которой веяло от описаний обычных опытов в его экзаменационном реферате: «Если ствол ружья набить железными опилками и соединить с ретортой, в коей…» Всю жизнь до седых волос он не умел и не хотел обуздывать своего любопытства. У него непрерывно чесались руки. Стоило Петтенкоферу опубликовать знаменитое предположение о наличии какой-то связи между эпидемиями холеры и колебаниями в режиме грунтовых вод, как Мендель включил замеры уровня грунтовых вод в число постоянных своих наблюдений на целых семнадцать лет — с 1865-го по 1882-й!… Гипотеза не оправдывалась, а он продолжал наблюдать, ибо в этой сфере были свои интереснейшие вопросы. Он не опубликовал ни строчки, итоги потом суммировал Лизнар. Точные данные его пригодились тем, кому было нужно знать водный режим брненской почвы. Втуне ничто не пропадает.

…До самого конца он не хотел отказываться от того, что составляло ощущение жизни.

Фактически он был отстранен от всех дел, но в монастыре не бывает двух настоятелей, двух прелатов. Ведь «praelatus» значит «предпочтенный», а предпочесть всем остальным можно только одного. И потому, как ни был он болен, он считал, что обязан сам вести торжественные церемонии, например церемонию пострига. Впрочем, это было еще и политикой.

1 октября 1883 года монастырь принимает нового послушника, брата Баржину. Речь аббата необычна. Он говорит не о боге, а о себе.

«Если мне и приходилось переживать горькие часы, то я должен признать с благодарностью, что прекрасных, хороших часов выпало гораздо больше. Мои научные труды доставили мне много удовлетворения, и я убежден, что не пройдет много времени — и весь мир признает результаты этих трудов».

Это итог.

Он знал, что позади уже все: и нелегкие часы, и горькие, и счастливые, и трудные. И уже совсем мало осталось до того времени, когда итоги его жизни начнут подводить другие.

Ниссль — в Ферейне естествоиспытателей, епископ — в панихиде, репортеры — в некрологах и в отчетах о похоронах.

Но он уверен еще и в том, что сколько-то лет спустя итоги будут подводить заново — Корренс и Бэтсон в научных журналах,

а Ильтис в фундаментальной монографии… И он уверен в том, что после его смерти увидят свет любовно и тщательно подготовленные им к печати, никем не читанные, новые труды…

О чем?… Быть может, о законах формирования фамильных имен в немецком языке… Быть может, о наследственности. Быть может, об эволюции. Быть может, о жизни, им прожитой. Но род людской не изменил привычке уничтожать лучшие свои ценности: никто и никогда не узнает, о чем были эти труды. Племянник Алоис, добрый католик, расскажет в 1928 году, как почти по чистой случайности был сожжен менделевский архив. Но двадцатью шестью годами ранее младший его брат сельский врач Фердинанд Шиндлер пошлет английскому генетику Бэтсону письмо на ужасном английском языке:

«…Аббат Мендель с уважением относился к английской науке и был бы счастлив, если бы узнал, что я, его племянник, изучил язык Дарвина и Шекспира (увы, прошло уже 20 лет и я забыл его в значительной степени)… Мендель был человеком либеральных принципов и ненавидел ультраклерикальную пропаганду и лицемерие… Он читал с огромным интересом дарвиновские работы в немецком переводе и восхищался его гением, хоть и был согласен не со всеми принципами его бессмертной философии природы.

Быть может, мой дядя в последние годы своей жизни отошел от научных эволюционных проблем, ибо имел много врагов среди клерикалов. Он часто говорил нам, племянникам, что мы найдем в его наследии бумаги и статьи [подготовленные] для публикации. Но мы ничего не получили от монастыря — даже ни единой вещицы на память…»

Этого он не предвидел. Если бы предвидел, додумался бы, как поступить.

…А предвидел ли он, как Рихтер и монсеньер ван Лиерде примутся рисовать иконописный облик благочестивого пастыря при науке и утверждать, что именно таким он, Мендель, и был на самом деле?

…А что будут создавать легенду об удачливом дилетанте?

…А что будут создавать миф об удивительном прозорливце?

Предвидел ли это?…

Он был человеком страстным и пристрастным — ив науке и в жизни он был таким.

За шестьдесят лет он был и студиозусом, и священником, и учителем, и исследователем, и вельможей — церковным и светским.

Даже политиком и то был.

Еще он пытался всегда быть самим собой и все-таки не раз отрекался от себя самого — то ради хлеба, то ради власти и денег.

Но когда он был самим собой, он становился гением. Потому что гений — это сосредоточенность, это умение сконцентрировать весь талант и всю энергию мысли так, чтобы последовала вспышка великого, счастливого творческого озарения, которое верующие католики считали благодатью, посланной богом…

И теперь тоже ни одной из своих привычек он не хотел изменить. В том числе и привычке добиваться четких и ясных ответов, какие требовал от своих учеников в самые счастливые годы, когда преподавал в реальной школе экспериментальную физику и биологию, и какие требовал от собственных опытов, что ставил в ту самую счастливую свою пору в крохотном палисадничке под окнами трапезной, — опытов с горохом и львиным зевом, маттиолами, фуксиями и ястребинками, от опытов с белыми и серыми мышами, которых скрещивал тайком от соглядатаев епископской канцелярии, от опытов с пчелами, принесшими монастырю доход, от непонятных монахам экспериментов с фамилиями.

Следуя этой привычке, он потребовал ясности и от медиков. И добился:

«Нефрит. Сердечная слабость. Водянка…»

— Естественная неизбежность, — так сказал он о том, что предстояло. Сказал, поднял руку и — думали, что перекрестится, — поправил очки.

Он не проявлял усердного благочестия, которое было бы к лицу, ему, высокому функционеру Службы Спасения, когда вот-вот должна была прийти пора последней молитвы: «Confiteor! Miserere, in manu…» — «Каюсь! Помилуй, в руце твои предаю дух мой!…» И даже — по словам Фердинанда — «говорил нам, племянникам, что он не стал бы оказывать нам ни малейшей поддержки, если бы мы пошли по духовной линии».

Он настолько хотел ясности, что потребовал, чтоб его вскрыли, дабы убедиться в истинности наступления смерти, а перед концом он не успел причаститься, и это все вместе вызвало толки.

И никто не узнает теперь, какие мысли о природе, о наследственности, о жизни сгорели вместе со всем его архивом.

Но бога аббат все-таки незадолго до смерти помянул — в письме Лизнару, бывшему своему ученику по реальной школе, ставшему к этому времени профессором. Лизнар прислал в подарок свою книгу по проблемам физики атмосферы — то была одна из последних книг, прочитанных Менделем, и с

наслаждением, — и он написал Лизнару:

«…И поскольку нам вряд ли придется сызнова встретиться на этой стезе, позволю себе, сердечно с Вами прощаясь, вместе с прочими благословениями призвать на Вашу голову благословение Бога Метеорологии!…»

А неделю спустя, уже в самом конце декабря — за десять дней перед тем, как «естественно неизбежное» свершилось, — «доктору своих надежд» — старшему племяннику, оканчивавшему медицинский факультет в Вене, было отправлено веселое письмо, начало которого он выдержал в классических оборотах тогдашнего судейского стиля:

«…Исходя из обстоятельств, установленных Фердинандом, отныне ты являешься таковым, против какового возбуждено преследование в порядке сокращенного судопроизводства и каковой — в соответствии с буквой Закона — должен быть подвергнут отсидке рождественских наказаний в Брюнне, на каковой случай тюрьма должна была быть за два дня извещена об ее использовании. И так как таковой по сию пору не заявил добровольно о явке для отбытия означенного наказания, сия мера будет применена к таковому принудительно, о чем ты и ставишься в известность…»

Средь шутливых пассажей затесалась фраза:

«…Мне, кстати, крайне необходимо обсудить с тобой один важный профессиональный вопрос…» А далее снова: «In der Hoffnung, Dich recht bald in dem bewupten Kerker zu sehen, zeichnet sich Dein immer treuer Vetter Qregor» — «В надежде на скорое свидание в упомянутой тюрьме подписуется всегда верный твой дядя Грегор.

Брюнн, 26 декабря 1883 года».

Так на закате — правда, единственный раз за всю жизнь — в приложении к своей обители он произнес это слово — «der Kerker», не знающее иного перевода, кроме как «тюрьма», «темница», «узилище». Он произнес его в шутку. Но в письмах — в тех в общем-то редких своих письмах, за которыми семнадцать Лет спустя кинулись охотиться ученые-биографы, — он словно умышленно старался не называть монастырь, где прожил целых сорок лет, своим домом. Он просто избегал слова «дом». Он писал «моя квартира», «мое жилище», он писал «уехал из Брюнна»,

«вернулся в Брюнн», подменяя это слово географическим понятием. И лишь в 1866 году, когда в Моравию вторглись пруссаки и холера, было написано: «…наш дом получил на постой 94 лошади с приложенным к ним соответственным числом солдат…»

Слово «дом» было сказано лишь один раз. И получилось, что именно последний раз в своей жизни эти свои комфортабельные апартаменты с навощенными паркетными полами, заставленные инкрустированной мебелью в стиле бидермейер, увешанные портретами всех настоятелей, сменивших один другого, портретами в золоченых рамах, портретами, на которых со столь великой тщательностью были выписаны кружева парадных стихарей, драгоценные каменья перстней и нагрудных крестов, шелк пелерин и завитушки посохов. — эти апартаменты в последний раз в своей жизни он письменно назвал «der Kerker» — «тюрьма».

Что это было? Случайность? Или, может быть, сделанный под занавес вывод, такой же четкий, как те, что он требовал от учеников, от своих опытов и расчетов?…

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ГРЕГОРА ИОГАННА МЕНДЕЛЯ

1822, 22 **июля** - В деревне Хинчицы (Хейнцендорфе) в Силезии, в семье крестьянина родился Иоганн Мендель.

1834 — 1840 - Учеба в Троппауекой (Опавской) гимназии.

1838 - Параллельно с учебой в гимназии Мендель оканчивает в Троппауекой главной окружной школе специальный курс «для кандидатов в учителя и частных учителей» и начинает зарабатывать на жизнь репетиторством.

1840 - Мендель поступает учиться в Философское училище при Ольмюцком (Оломоуцком) университете.

1841 - Болезнь Менделя. Продажа отцом дома и надела зятю.

1843 — Окончание Ольмюцкого философского училища. Поступление в августинский монастырь святого Томаша в Брно.

1844 - **1848** - Обучение в Брюннском богословском институте.

1848 — 1849 - Революция и контрреволюция в Австрии.

1849 — 1850 - Мендель преподает в Цнаймской (Зноймской) гимназии математику, греческий и латинский языки.

1850, август - Неудачные экзамены в Вене на право преподавания физики и биологии в гимназиях.

1851, октябрь — 1853, июль - Мендель — вольнослушатель Венского университета.

1853 - Мендель принят в члены Венского зоолого-ботанического общества. Он докладывает свою первую работу: «О вредителе редиса «Botys margarilalis».

1854 - Исследования по биологии вредителя гороха «Bruchus pisi». Публикация Колларом в «Известиях Венского зоолого-ботанического общества» письма Менделя о наблюдениях.

1854 — 1868 - Мендель преподает в Брюннской высшей реальной школе физику и естественную историю.

1854 — 1856 - Начало исследований по изменчивости пшениц и дикорастущих, испытания сортов гороха на чистоту. Мендель становится членом естественнонаучной секции Моравско-Силезского общества поощрения земледелия, природо- и краеведения.

1856 — 1863 - Классические эксперименты по гибридизации гороха.

1859 - Мендель награжден дипломом за участие в выставке

садоводов в Брно.

1862 - Основание Общества естествоиспытателей в Врюнне и вступление Менделя в члены общества. Избрание Менделя в правление Моравского земледельческого общества.

Июль — август - Поездка в Париж и Лондон на Всемирную промышленную выставку.

1863 - Поездка в Рим, Флоренцию и Венецию. Публикация в «Трудах Общества естествоиспытателей» первой работы по метеорологии.

1863 — 1864 - Работы по скрещиванию других растений.

1865, 8 февраля и 8 марта - Мендель на заседании Общества естествоиспытателей делает доклад «Опыты над растительными гибридами».

1866, июль - «Игрушечная война». Оккупация Брюнна пруссаками, эпидемия холеры.

Декабрь - Выход в свет тома «Трудов Общества естествоиспытателей в Брюнне» с работой «Опыты над растительными гибридами».

1867 — 1869 - Работы по скрещиванию ястребинок.

1869 - Избрание Менделя на пост настоятеля монастыря. Поездки в Вену и в Рим на официальные аудиенции в качестве вновь избранного прелата. Избрание Менделя в члены-учредители Австрийского метеорологического общества, Сельскохозяйственного общества Моравии и Силезии, Венского общества садоводов.

Избрание Менделя вице-президентом Общества естествоиспытателей в Брюнне. Участие в садоводческой выставке в Вене.

9 июня — Доклад о гибридах ястребиной.

1870 - Назначение Менделя членом провинциальной налоговой комиссии. Основание Общества пчеловодов и вступление Менделя в члены общества.

13 октября. Смерч в Брюнне.

9 ноября. Доклад о смерче.

1871 - Избрание вице-президентом Общества пчеловодов. Поездка на конгресс пчеловодов в Киль. Путешествие по Германии.

1874 - Избрание Менделя президентом Моравского общества пчеловодов. Утверждение закона «о регулировании расходов по содержанию католического культа» и начало борьбы против налога на монастырь.

1875 - Эксперименты по скрещиванию местных пчел с кипрскими.

1876 - Мендель избран ландтагом на пост вице-директора

ипотечного банка. Продолжение «войны» против налога. Арест доходов монастыря. Путешествие в Альпы. Эксперименты с медоносными растениями.

1877 — 1883 - Исследования колебаний уровня грунтовых вод (в связи с гипотезой Петтенкофера об их роли в происхождении эпидемий холеры). Метеорологические исследования. Исследования в области ономастики — закономерностей образования фамильных имен.

1883 - Продолжение борьбы с правительством из-за налога на монастырь.

Октябрь — Последние метеонаблюдения.

20 и 26 декабря — Последние письма Менделя.

1884, 6 января — Смерть Менделя.

БИБЛИОГРАФИЯ

ПРИЖИЗНЕННЫЕ ИЗДАНИЯ ТРУДОВ МЕНДЕЛЯ

Ober Verwfistung am Gartenretiig durch Raupen. Verhandltmgen des zoologisch-botanischen Vereines in Wien, 3, 1853, S. 116 — 118.

Beschreibung des sog. Erbsenkafers, Bruchus pis!. (Mitgeteilt von V. Kollar). Ibid. 4, 1854, S. 27-3Q.

Beraerkungf-n zu der graph)sch-tabellarischen Obersicht der meteorologischen Verhalmisse vcn Briinn. Verhandlungen des natur-forsclieiiden Vereines in Briinn (Brno), 3, 3862, S. 246 — 249.

Meteorologiscihe Beobachtungen aus Mahren und Schlesien Mr das Jahr 1863. (Vorgelegt in der Sitzung vom 14. Marz 1864). Ibid-

2, 1863. S. 99-321.

Meteorologische Beobachtungen aus Mahren und Schbsien fur das Jahr 186.4. (Vorgelegt in der Sitzung vom 8. Marz 1865). Ibid.

3, 1864, S. 209-220.

Versuche fiber Pilanzen — Hybrlden. (Vo-gelegt in den Sitzungen vom 8. Februar und 8. Marz 1865). Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Briinn (Brno), 4, 1865, S. 3 — 47.

Meteorologische Beobachtungen aus Mahren und Sclilesien fur das Jahr 1865. Ibid. 4, 1865, S. 318 — 330.

Meteorologische Beobachtungen aus Mahren und Schhsien fur das Jahr 1866. Ibid. 5, 186S, S. 160-172.

Meteorobgische Beobachtungen aus Mahren und Schbsien im Jahre 1869. Ibid. 8, 1. Heft, 1869, S. 131 — 144.

Uber elnige aus kiinstlicher Befruchtung gewonnensn Hieracium — Bastarde. (Mitgeteilt in der Sitzung vom 9. Juni 1869). Ibid. 8, Heft 1, 1839, S. 23 — 31.

Die Windhose am 13. October 1870. Ibid. 9, 1870, S. 229 — 246.

Regenfall und Gewitter zu Briinn im Juni 1879. Zeitschrifi der osterreichischen Gesellschaft fur Meteorologie (Wien), 14, 1879, S. 315-316.

Gewitter in Briinn und Blansko am 15. August 1882. Ibid. 17, 882, S. 407-408.

ИЗДАНИЯ ТРУДОВ МЕНДЕЛЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

«Опыты над растительными гибридами», сб. (в сб.: «Опыты над растительными гибридами», «О некоторых бастардах Hieracium, полученных искусственным оплодотворением», «Письма к К. Нэгели», биографические материалы.) Отв. редактор Б.Л. Астауров. Комментарий А. Е. Гайсиновича. М., 1965, изд-во «Наука». (Серия «Классики науки».)

«Опыты над растительными гибридами». Перевод с немецкого К. Фляксбергера. «Труды Бюро по прикладной ботанике», т. XI, 1910, стр. 479 — 529, и отдельный выпуск: Спб., 1910.

«Исследования над гибридами растений». Перевод О. Егуновой. Совет Спб. физиологической лаборатории П.Ф. Лесгафта. Спб., 1912.

«Опыты над растительными гибридами». Сокр. текст. В сб. статей: «Генетика. Этапы менделизма». Редакция и предисловие проф. А.А. Сапегина Одесса, 1923, стр. 7 — 35.

«Опыты над растительными гибридами». Перевод Л. Бреславец, под редакцией Н.К. Кольцова. М., 1923. (Серия «Классики естествознания».)

«Полное собрание биологических работ». Перевод и вступительный очерк К.А. Фляксбергера. Л., 1929. (Серия «Классики мировой науки». Приложение к журналу «Вестник знания», кн 6.)

«Опыты над растительными гибридами». Перевод проф. К.А. Фляксбергера. Вводная статья и общая редакция академика Н.И. Вавилова. М., 1935. (Серия «Классики естествознания».)

«Опыты над растительными гибридами». В сб.: «О. Сажре, Ш. Нодэн, Г. Мендель, «Избранные работы о растительных гибридах». Редакция, статья и комментарий А. Гайсиновича. М., 1935. (Серия «Классики биологии и медицины».)

ВАЖНЕЙШИЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Liznar J., Ober die Anderungen des G: undwasserstandes nach den vom Pralaten Gregor Mendel in den Jahren 1865 — 1880 in Brurtn ausgefuhrten Messungen. (In: Festschrift zur Eiinnerung in die Fei»r des fflnfzigjahrigen Bestandes der deutschen Staats — Obeuealschuh in Brunn.) Briinn, Druck. Wlniker, 1902, S. 225 — 233.

Correns C, Gregor Mendel's Briefe an Carl Nageli. 1886 — 1873. Leipzig, Teubner, 1905.

Gregor Johann Mendel (1882 — 1884). Texte und Quellen zu seinem Wirken_ und Leben, zusammsngestellt und kommentiert von Jaroslav Kmenenecky. Leipzig, 1965.

Fundamenta Genetica (the revised edition of Mendel's classic papers with a collection of 27 original papers published during the rediscovery era). Brno, 1965.

Bibllographia Mendeliana (aut. Milan Jakubicek, Jaromlr Kubicek). Universiini knihovna v Brng, 1965.

Folia Mendeliana Musei Moraviae № 1 — 1966, № 2 — 1967, № 3 — 1968.

Ik nographia Mendeliana, Moravske museum v Brng, 1965.

О МЕНДЕЛЕ И ЕГО НАСЛЕДИИ

Астауров В.Л., К столетию открытия основных закономерностей наследственности. (В кн.: Г. Мендель, «Опыты над растительными гибридами».) М., «Наука», 1965; то же, «Природа» № 3, 1964; то же, «Бюлл. Моск. об-ва испытателей природы», отд. биол. 70, вып. 4.

Вавилов Н.И., Менделизм и его значение в биологии и агрономии. В кн.: Г. Мендель, «Опыты над растительными гибридами». М., Сельхозгиз, 1935; то же, Г. Мендель. М., изд-во «Наука», 1965.

Володин Борис, Боги Грегора Менделя. В кн.: «На пути к невероятному». М., изд-во «Знание», 1967.

Гайсинович А., Грегор Мендель и его предшественники. (В кн.: Сажре О., Нодэн Ш., Мендель Г., «Избранные работы о растительных гибридах.) М., Биомедгиз, 1935.

Гайсинович А., Зарождение генетики. М., изд-во «Наука», 1967.

Гайсинович А., Грегор Мендель. В кн.: Г. Мендель, «Опыты над растительными гибридами». М., 1965.

Гайсинович А., Возникновение и развитие менделизма. В кн.: Г. Мендель, О. Сажре, Ш. Нодэн, «Избранные работы». М., 1967.

Дубинин Н.П., Мендель — основатель генетики. Изд. АН СССР, серия биол. 809.

Жебрак А.Р., Грегор Мендель и законы наследственности. «Генетика» № 1, 6.

Коррене К., О жизни и работе Грегора Менделя. В кн.: Г. Мендель, «Опыты над растительными гибридами». М., 1923.

Иобашев М.Е., Генетика и естествознание. (К 100-летию открытия законов Г. Менделя.) Ж. общ. биол. 26, 1965, с. 513.

Москович В.А., Лингвистические опыты Иоганна Грегора Менделя. «Вопросы языкознания», 1968, № 6.

Сахаров В.В., Грегор Мендель — основоположник науки о наследственности. «Биология в школе», 1965, 4, стр. 4.

Тимофеев-Ресовский Н. В., О Менделе. «Бюлл. Моск. об-ва испытателей природы», 1965, № 4.

Филиппченко Ю.А., Френсис Гальтон и Грегор Мендель. Л., Госиздат, 1925.

Фляксбергер К.А., Грегор Иоганн Мендель (биографический очерк. В кн.: Г. Мендель, «Опыты над растительными гибридами». М., Сельхозгиз, 1935.

de Beer, Gevin, Mendel, Darwin and Fisher (1865 — 1965). Notes and Records of Royal Society of London, \\Л 19, № 2, 1964, XII.

de Beer Gevin, Mendel, Darwin and Fisher (1865 — 1965) (addended). Ibid. vol. 21 № 21, 1966, VI.

Coleman W., Ferdinand Schindle.'s Letters to William Bateson (1902 — 1909), Folia Mendeliana, № 2, 1967, p. p. 2 — 15.

Eichling C. W., „I talked with Mendel", Journal of Heredity, 33, 1942, p. 243 — 246.

Ferdinand O., Mendel's effort to find some mathematical laws in the derivation of names, Folia M nieliana, 1, Moravian Museum in Brno, 1966.

Fisher R. A., Has Mendel's work been rediscovered? Annals of Science (London) 1, 1936, v. 2 p. 115 — 137.

Krlzenecky J., G. J. Mendel (Jeho zivot a dilo. K jeho stoletym narozeninam napsal… Chov hospodarskych zvirat (Praha) 21, 1922, t. 8, s. 89-90, c 9, s. 105 — 108.

Rilzenecky J., Mendels zweite erfolglose Letramtsprufung im Jahre 1856. Sttdhoffs Archiv fur Geschichte der Medizin und der Natu wlssenschaften (Wiesbaden), 47, 1963, H. 3, S. 305 — 310.

litis Annl, Gregor Mendel's Autobiography. Journal of Heredity №45, 1954, vol. 5, p. 231-234.

litis Hugo, Gregor Johann Mendel, Leben, Werk und Wirkung, Berlin, 1924.

Canisiovan Lierde, P., Carattere e religiosfta di Gego-rio Mendel. In: Gedda Lutgi, Novant'anni delle Leggi Mendeli-ane, Roma, Instituto Gregorio Mendel, 1956, p. 101 — 112.

Marvanova L. and Orel V., Mendel in the HistO'y of the Moravian Museum, Folia Mendeliana, №3, 1968, p. p. 9 — 11.

Marvanova L., Le centenaire de Selection abbafiale de Mendel, Folia Mendeliana, № 3, 1968, p. p. 13 — 20.

Milovidov P. F., Mendel as a rnicroscopist. Journal of Heredity № 26, 1935, p. 9, p. 337 — 348.

Olb y R. C, Franz linger and the Wiener Klrchenzeltungan Attack on one of Mendefs Teachers by Editor of a Catholi Newspaper, Folia Mendeliana, № 2, p. p. 29 — 37.

Orel V., Roztnan I., Vesely V., Mendel as a beekeeper. B:no, 1965.

Rienter O., Gregor Johann Mendel, wie er wirklich war. Neue Beitrage zur Biographie des be uhmten Biologen aus Brtinns Archiven. Vehandlungen des naturfo-schenden Verelnes in Briton etc. 74. Band fur das Jahr 1942, 2. Tell. Brunn, 1943.

Sootin H., Gregor Mendel: father of the science of genetics. N.-Y., 1959.

Vybral Vladimir, Die Leit-nde Funkfion des Abtes Gregor Mendel in der Mahrischen Hypothekenbank und ihr Politischen Hintergrund, Folia Mendeliana, № 3, 1968, S. 21-33.

Welling F., Johann Gregor Mendel's Versuche liber Pilanzen-

Hybriden und lire Wiirdlgung in der Zeit bis zu ihrer Wiederentdeckung. Der Zfichter B. 36, H. 6, 1966.

Welling F., Hat J. G. Mendel bei seinen Versuchen „zu genau" gearbeitet? — De- *y* — test und seine Bedeutung fur die Beu teilung genetischer Spaltungsverhaltnisse. Der Zflchter, B. 36, H. 8, 1966.

ОТ АВТОРА

Выполнение этой работы стало возможным только благодаря помощи большого числа очень занятых людей.

Переводы документальных текстов, прежде на русском языке не публиковавшихся, были сделаны специально для настоящей книги Д.И. Бенеславским. Одно из писем Менделя переведено С.А. Тархановой, а текст статьи «Смерч 13 октября 1870 года» — А.Д. Меламедом.

Текст из «Veni, Creator» переведен С.С. Аверинцевым, стихи Менделя — Л.З. Яковенко

Большую помощь в отыскании материалов о Менделе в зарубежной периодике оказал автору его друг В.Н. Орлов.

Сотрудники Моравского музея — директор генетического отделения Грегора Менделя д-р Витезслав Орел и д-р Людмила Марванова предоставили автору уникальные литературные материалы и иконографию и помогли уточнить многие важные факты, трактовка которых в настоящей книге поэтому существенно отличается от той, что была в предыдущей работе автора — повести «Боги Грегора Менделя», изданной два года назад. Ряд уточнений сделан также в связи с исправлением переводов документальных текстов, которые были цитированы в повести.

Имевшиеся в их распоряжении материалы автору предоставили доктора биологических наук А.Е. Гайсинович и В.П. Эфроимсон. Консультации по специальным вопросам были даны докторами биологических наук Р.Л. Берг и И.А. Раппопортом, доктором исторических наук В.М. Туроком, кандидатом филологических наук С.С. Аверинцевым, кандидатами исторических наук Э.Л. Гейликман и Я.Б. Шмералем, кандидатом филологических наук В.А. Московичем, а консультации по вопросам, связанным с католическими обрядами, — В.А. Керницким.

Автор приносит всем им самую глубокую признательность.

notes

[1] Австрийская миля — 7,58 километра.

[2] Иох — старинная мера площади, в данном случае *1/4* гектара.

[3] То есть более 600 километров.

[4] После поражения Австрийской империи в войне с Пруссией (1866) и утраты ею былого влияния среди германских государств центральному правительству пришлось пойти на ряд уступок и внутри страны — расширить функции парламента (рейхсрата) и земельных сеймов, несколько демократизировать избирательное право, урезать позиции церкви, а главное — согласиться на политическую автономию Венгрии — на признание ее равноправной частью «двуединого государства». Принцип государственного «дуализма» и был закреплен в конституционном акте 1867 года. Причем изъятие из названия государства слова «империя» подчеркивало признание этого принципа.

[5] Так в подлиннике.

[6] В книге O. Richter, „Gregor Johann Mendel, wie er wirklich war. цитируемый текст, к сожалению, приведен в виде весьма произвольно разорванных кусков. Возможные неточности, содержащиеся в источнике, взяты в скобки (стр. 53-56 указанного источника).

[7] Флорин, или гульден, — позднее две австрийские кроны

[8] То есть собрание всей общины: и монахов — членов капитула и послушников.

[9] Ландесгауптман — глава земельного правительства, гофрат — надворный советник.

[10] Новиций — монастырский послушник. Конновиций — «однокашник», послушник, одновременно с данным лицом принявший постриг и проходивший «искус».

[11] Христе, помилуй! (г р е ч.).

[12] «Отечество» — реакционнейшая черносотенная газета клерикальной партии.

[13] Вместе с Я. Кржиженецким эту работу вели нынешний директор генетического отделения Моравского музея д-р В. Орел, д-р Л. Марванова, д-р М. Хеланова и д-р Рудольф Цауник из

университета в Галле.

[14] Утешитель (г р е ч.).

[15] Grundonnerstag — «зеленый четверг», или «чистый четверг», — Католический церковный праздник, канун страстной пятницы.

[16] Курс обучения в тогдашней шестиклассной австрийской гимназии делился на две ступени, первая — «грамматические классы» — с 1 по IV, вторая — двухгодичная — «гуманитарные классы».

[17] То есть до 1-й опиумной войны 1839-1842 годов. После поражения в ней китайское правительство по Нанкинскому договору впервые в истории вынуждено было открыть пять портов для иностранных кораблей. До этого общение с внешним миром всячески пресекалось.

[18] «Революция и контрреволюция в Германии». Маркс и Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 8, стр. 30.

[19] Маркс и Энгельс, Соч., изд. 2-е, т. 8, стр. 30-34.

[20] Австрийская (так называемая венская) мера — „die Metze" — 61,5 литра. В письмах Менделя родным приведены рыночные цены, правда, несколько более позднего времени. В 1857 году цена пшеницы доходила до 11 флоринов за «Metze», ржи — около 6,5 флорина. В 1859 году она упала соответственно до 4 1/2 и 3 1/2 флоринов. 1841 году цены, видимо, были несколько ниже, чем в 50-х годах.

[21] «Журнал физики и родственных наук».

[22] I.H. Newman, Arians of the Fourth Century, pp. 257 — 258. Цит. по В. Данэм, Герои и еретики. М., «Прогресс», 1967, стр. 142. Перевод с англ И. С. Тихомировой.

[23] Об этом Мендель писал в 1870 году в прошении о смягчении налогов, упомянутом в главе «Мирская слава».

[24] Этим саном, более высоким, чем сан «отец церкви», были наделены впоследствии епископы Амвросий, Евеевий Иероним, Августин и Григорий Великий.

[25] «Правила Августина» — монашеский устав.

[26] F.Th. Bratranek, Zwei PoJen in Weimar. Eiit Beiirag zur Goethelite-ratur aus poltiisches Briefen. Leipzig, 1871.

[27] Ныне Зноймо.

[28] Жена причетника монастыря святого Томаша, судя по письмам, помогавшая Менделю и другим монахам в разного рода хозяйственных делах.

[29] Так в подлиннике. Видимо, Мендель говорит о книге Я. Коллара и П. Шафарика «Из словацкой народной поэзии».

[30] От „supplieren" — «дополнять» (н е м.), «дополнительный профессор».

[31] Эмеритальный — отставной.

[32] Буквально: «самонаставления», «самопедагогики», «самообучения».

[33] В данном контексте — «национальных гвардейцев» — буржуазной революционной милиции.

[34] Разрядка моя. — Б. В.

[35] И этот текст О. Рихтер также приводит почему-то разорванным на две части, соединяя их этой взятой нами в скобки фразой (стр. 65 упомянутой ранее книги „Gregor Iohann Mendel, wie er wirklich war *)*

[36] Разрядка моя. — Б. В.

[37] В письмах Мендель обычно обозначал год тремя последними цифрами.

[38] В подлиннике — самый крепкий из синонимов этого слова.

[39] К. Маркс, Покушение на Франца-Иосифа. — Миланское восстание. — Британская политика. — Речь Дизраэли. — Завещание Наполеона. Маркс и Энгельс, Соч., изд. 2-е, т. 8, стр.

[40] Импровизированные революции (ф р а н ц.).

[41] То есть буржуазных революционеров Кошута и Мадзини.

[42] Безрассудная выходка: смелый, но неудачный поступок (франц.).

[43] То есть во Львове. Галиция входила тогда в состав Австрийской империи. Как и везде, мы вынуждены употреблять это название города соответственно документальным текстам того времени.

[44] К сожалению, в фондах канцелярии штатгальтерства документы по делу Завадского отыскать пока не удалось. — Б.В.

[45] К пониманию законов жизни популяций биология подошла в 20-х годах нашего столетия. Путь к их осознанию проходил именно через развитие основных положений менделизма.

[46] 1,27 миллиметра.

[47] В обиходной речи бобы гороха неверно называются стручками. Околоплодник боба образуется из одного плодолистика, стручка из двух (например, у акаций).

[48] Сам термин встречается еще у Дарвина. Де Фриз четко сформулировал суть нового понятия.

[49] Разрядка Корренса.

[50] Ниссль забыл точную дату. Общество было основано годом позже, в 1862-м.

[51] Текст «Опытов» цитируется по изданию 1935 года (Сельхозгиз). "еревод К. Фляксбергера.

[52] Разрядка моя. — Б.В.

[53] Переводчик «Опытов» проявил здесь осторожность. У Менделя сказано сильнее: «Es gehort allerdings elniger Muth dazu…», то есть (Muth) требуется мужество, смелость, отвага,

упорство, доблесть.

[54] Следующий абзац статьи таков:

«Настоящая работа, являясь попыткой такого детального исследования (подчеркнуто мной. — В. В.), ограничивается, в сущности, маленькой группой растений и в главных чертах заканчивается 8-летними опытами. Насколько же соответствует поставленной задаче план, по которому велись отдельные опыты, пусть судит благосклонная критика».

[55] О том, что Мендель экспериментировал не только над дикорастущими, но и над пшеницей, Ниссль сообщил Ильтису.

[56] Разрядка моя. — Б. В.

[57] То есть, по терминологии Менделя, яйцеклетки. — Б. В.

[58] Перевод Б.Л. Пастернака.

[59] Зачатковые клетки гибридов.

[60] Реферат И. Ф. Шмальгаузена стал известен благодаря разысканиям А.Е. Гайсиновича. Первое сообщение опубликовано в 1935 году.

[61] Эту фразу фон Марилауна приводит в своей книге О. Рихтер (стр. 172). В других источниках цитируется сходная мысль, высказанная фон Марилауном в книге «Жизнь растений» (1891 г.), но не о законах наследственности вообще, а о законах наследования гибридами признаков исходных форм.

[62] Бадяк

[63] Кстати, именно эта неудача Менделя после того, как его работы стали известны, послужила толчком к открытию в 1903 году бесполо-семенного размножения у ястребиной и некоторых других растений.

[64] Ночная красавица.

[65] Разрядка моя. — Б. В.

[66] Значение этого открытия не следует преувеличивать. Мендель доказал, что для оплодотворения достаточно одного

пыльцевого зерна. Позднее было установлено, что из пыльцевого зерна образуется два сперматозоида, из которых в оплодотворении участвует только один. Описанные эксперименты были лишь первым шагом в изучении процесса оплодотворения у растений.

[67] Старший из племянников Менделя, сын Терезии и Леопольда Щиндлера.

[68] Новый Ичин

[69] В монастырских кассовых книгах были тщательно записаны все расходы: «Комнаты для офицеров и постельное белье…», «Сигары для офицеров» и дазке «Особые расходы на содержание прусских оккупантов — 240 флоринов 34 крейцера».

[70] Лоттоамтсдиректор — высший налоговый чиновник в Австро-Венгрии, ведавший постоянными лотереями.

[71] Клафтер (сажень) — около 1,8 метра.

[72] Зюйд-зюйд-ост, зюйд-ост, ост-зюйд-ост.

[73] Норд-норд-ост, норд-ост, ост-норд-ост

[74] Вест-норд-вест

[75] Вест